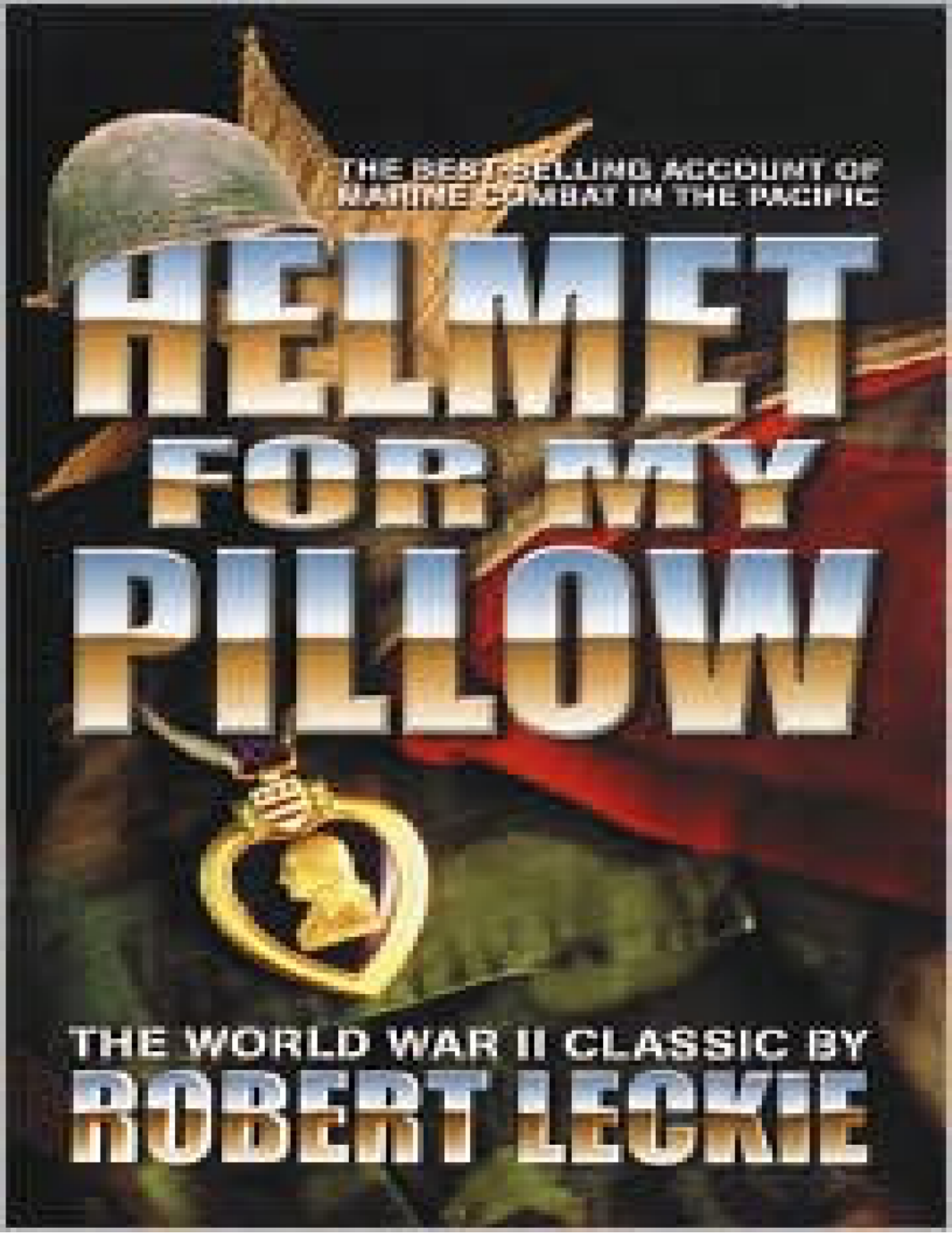
THE BEST-SELLING ACCOUNT OF MARINE COMBAT IN THE PACIFIC
HELMET FOR MY PILLOW
THE WORLD WAR II CLASSIC BY
ROBERT LECKIE

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Роберт Леки, один из самых известных американских военных историков, в январе 1942 года вступил в Корпус Морской пехоты добровольцем. Он вспоминает, как вместе с другими новобранцами они защищали интересы США в Тихом океане. Гвадалканал, Соломоновы острова, Новая Британия, Пелилиу - что вы знаете об этих забытых богом местах?

- Роберт Леки. КАСКА ВМЕСТО ПОДУШКИ
  - Глава 1. Новичок
  - Глава 2. Морская пехота
  - Глава 3. Воин
  - Глава 4. Праздный мечтатель
  - Глава 5. Корабельная крыса
  - Глава 6. Ветеран
  - Глава 7. Жертва
  - Эпилог
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

Роберт Леки. КАСКА ВМЕСТО ПОДУШКИ

Посвящается павшим.

Глава 1. Новичок

1

Утро 5 января 1942 года было холодным и безрадостным. По пустынной Черч-стрит гулял пронзительный ветер. В тот день я отбыл на службу в морскую пехоту США.

Война с Японией шла меньше четырех недель. Остров Уэйк пал. Пёрл-Харбор стал настоящей трагедией, горьким, жгучим унижением. Поспешно сочиненные военные песни пели все от мала до велика, однако патриотический настрой нисколько не компенсировал художественные недостатки этих произведений. Казалось, в глазах у каждого притаился огонек истерии.

Но все это ровным счетом ничего для меня не значило. Со мной рядом шел отец, так же как и я отворачиваясь от ударов холодного ветра. Я чувствовал боль внизу живота — рана была еще свежая и сильно саднила. Швы сияли всего несколько дней назад.

Я хотел поступить на военную службу на следующий день после Пёрл-Харбора, но в медицинской комиссии настояли, чтобы я совершил обрезание.

Это стоило сотню долларов, хотя я до сих пор не уверен, платил я доктору или нет. Но я точно знаю, что немногие молодые люди в то судьбоносное время отправлялись на войну отмеченные таким образом.

Мы перешли луга Джерси и добрались до парома, который перевез нас через Гудзон в деловую часть Нью-Йорка. Завтрак дома был забыт. Мама была на ногах еще затемно — она не проронила ни слезинки. Наше прощание нельзя было назвать душераздирающим, не было в нем и намека на мужество, отвагу и решительность — ни одно из этих слов не описывает в полной мере то, что происходило в действительности.

Расставание с домом, как и многое другое в этой войне, являлось истоком героизма. Мама проводила меня до двери, взглянула грустными, тоскливыми глазами и молвила: «Храни тебя Господь, сыпок».

А затем было молчаливое путешествие по лугам и столь же безмолвное прощание перед массивной дверью дома номер 90 по Черч-стрит. Отец быстро обнял меня, затем так же поспешно отвернулся, пряча от меня лицо, и ушел. Швейцар-ирландец окинул меня взглядом и улыбнулся.

Я вошел в здание и стал морским пехотинцем. Капитан,

принимавший присягу, чрезвычайно упростил и укоротил церемонию. Мы все подняли руки, затем опустили, когда он опустил свою. Когда было разрешено расходиться, мы догадались, что стали морскими пехотинцами.

Сержаит-ганни[1], ставший нашим «пастухом», быстро расставил все на свои места. Сочные ругательства, к которым мне еще предстояло привыкнуть, срывались с его губ и текли непрерывным потоком, словно он всю жизнь только и практиковался в этом занятии. Позже мне еще доведется узнать истинных виртуозов этого дела. Но тогда он, подгонявший нас в Хобокен, к поезду, казался мне неподражаемым. Тем не менее он был достаточно добр и ласков, чтобы буркнуть нам слова прощания, посадив в поезд. Он стоял в конце вагона — человек средних лет, подтянутый и пока еще довольно изящный, впрочем, его изящество грозило вот-вот исчезнуть благодаря быстро отрастающему животу. Он носил голубую форму морских пехотинцев, а поверх нее — зеленую шинель установленного образца. Сочетание голубого и зеленого всегда казалось мне несколько странным, но в тот момент оно как-то особенно резало глаза — яркие, веселые сине-голубые краски формы морпехов в обрамлении блеклой зелени.

— Там, куда вы направляетесь, будет нелегко, — сказал сержант. — Когда вы попадете на остров Пэрис, то сразу поймете, насколько это непохоже на гражданскую жизнь. Вам это не понравится. Вы решите, что ваши командиры хотят слишком многого. Вы подумаете, что все они идиоты. Вы уверитесь, что попали к самым грубым и жестоким людям в мире. Я собираюсь сказать вам одну вещь. Вы будете не правы! Если вы хотите облегчить себе жизнь, прислушайтесь к моим словам сейчас. Делайте все, что вам говорят, и держите рот на замке.

В конце он все-таки не удержался и усмехнулся. Он знал, что говорит правильные, разумные вещи, однако не мог не ухмыльнуться, поскольку не сомневался: мы проигнорируем каждое его слово.

— Да, серж! — крикнул кто-то. — Спасибо, серж!

Он развернулся и быстро ушел.

Мы назвали его «серж». Через двадцать четыре часа мы даже к рядовому 1-го класса не осмелились бы обратиться без непременного добавления «сэр». Но сегодня мы еще не расстались с гражданской жизнью. На нас была гражданская одежда, а вокруг — торговые ряды Хобокена. Каждый из нас скромно, молча не соглашался с участью рядового, уверенный, что чины и звания для него не за горами.

Поездка в Вашингтон прошла спокойно и без приключений.

Но когда мы добрались до столицы и сделали пересадку, стало оживленнее. Туда уже подтянулись другие новобранцы, мы оказались последними и последними загрузились в древний деревянный поезд, который ожидал своих пассажиров, попыхивая клубами черного дыма и распространяя далеко вокруг запах угля. Ему предстояло доставить нас в Южную Каролину. Пожалуй, именно допотопное транспортное средство привело нас в хорошее настроение. Оказаться в настоящем музейном экспонате, который плюс ко всему еще и едет, — вот восторг-то! Кто-то сделал вид, что нашел под сиденьем медную табличку, и все мы долго покатывались со смеху, услышав: «Этот вагон является собственностью Филадельфийского музея американской истории». Свет нам давала керосиновая лампа, а тепло — пузатая печка. Из каждого угла дуло, со всех сторон раздавался треск и скрежет дерева, а стук колес звучал как причитания. Мне очень понравился этот странный поезд.

Комфорт остался позади — в Вашингтоне. Некоторые из нас даже начали наслаждаться трудностями поездки. И здесь, должно быть, сказалась некая неуловимая таинственность, неосязаемая загадочность, связанная с морской пехотой. Мы уже начали терпеть лишения, именно этого мы и ждали, на это шли. Вот в чем штука — терпеть лишения! Человеком, который преодолевает трудности, всегда восхищаются. А тот, кому легко, менее всего достоин похвалы.

Желающие поспать могли устроиться на полу, пока поезд, постукивая колесами, вез нас по Вирджинии и Северной Каролине. Но таких было немного — все были слишком взволнованы. Пение и разговоры не прекращались ни на минуту.

Парень, сидевший рядом со мной — симпатичный блондин с юга Джерси, — оказался обладателем прекрасного голоса. Несколько песен он спел один. А под влиянием находившихся среди нас нью-йоркских ирландцев он вскоре запел протяжные ирландские баллады.

Через проход сидел еще один парень, которого я буду называть Армадилло из-за его худого тонкого лица. Он был из Нью-Йорка и посещал там колледж. Поскольку мало кто из собравшихся ходил в колледж, вокруг него довольно быстро образовался небольшой литературный салон.

Группа Армадилло не шла ни в какое сравнение с другим кружком, собравшимся немного дальше в вагоне. Его центром стал высокий улыбчивый рыжеволосый юноша. Рыжий был бейсболистом-кетчером у «Кардиналов» Септ-Луиса — и как-то здорово отличился на Поло-Граундз в противоборстве с великим Карлом Хаббелом.

В нашей группе знаменитостей не было, она состояла из заурядных людей вроде меня, поэтому мы тоже поддались влиянию Рыжего. А разве могло быть иначе? Ведь он был так не похож на нас. У него была замечательная жизнь, он запросто общался с людьми, которые всегда были идолами его новых товарищей. Поэтому к Рыжему обращались по любому поводу, начиная от формы питчера и кончая японским Генеральным штабом.

— Как думаешь, Рыжий, что будет на острове Пэрис?

— Как считаешь, Рыжий, японцы действительно такие крутые, как пишут в газетах?

Это слабая черта американцев. Успех в их глазах становится знаком мудрости. И они слушают, как ученые разглагольствуют по поводу гражданских свобод, комедианты и актрисы ведут политические дебаты, а спортсмены учат, какой сорт сигарет следует курить. Но Рыжий соответствовал своему положению. Было ясно, что в его случае дело сделали многочисленные путешествия и газетные заголовки. Он определенно умел держаться лучше, чем все мы.

Но даже находчивость Рыжего дала сбой, когда мы прибыли на остров Пэрис. С железнодорожной станции нас везли на грузовике. Выбравшись из кузова и кое-как построившись перед приземистым зданием из красного кирпича, мы выслушали классическое приветствие.

— Парни, — сказал сержант, который должен был стать нашим инструктором, — я хочу вам кое-что сказать. Отдайте ваши сердца Иисусу, поскольку ваши задницы принадлежат мне.

Затем он выдал несколько язвительных замечаний по поводу нашей жалкой гражданской одежды, после чего повел нас в столовую. Там нам дали колбасу и лимскую фасоль. Раньше я никогда не пробовал лимскую фасоль, а тут съел. Она была холодной.

Группа, приехавшая из Нью-Йорка, распалась в первый же день на острове Пэрис. Я больше никогда не видел блондина с красивым голосом, да и многих других тоже. Шестьдесят человек, извлеченные из нескольких сотен, приехавших на доисторическом поезде, стали одним из тренировочных взводов. Мы получили номер и попали под начало того самого сержанта, который встречал нас приветственной речью.

Сержант Ревун был южанином и презирал северян. Впрочем, нельзя сказать, что он отдавал предпочтение южанам. Просто на них он изливал меньше сарказма. Он был очень большой, ростом эдак сто девяносто с небольшим, а весом не менее ста килограммов.

Но сверх того он обладал голосом.

Его голос пульсировал сдержанной силой, когда он отсчитывал ритм, гоняя нас от административного здания к жилому и обратно, — он хлестал нас почище прута, заставляя замирать от страха. Только в Корпусе Морской пехоты традиционное «три-четыре — нале-во», удлиненное южной манерой растягивать слова, может звучать как магическое заклинание. Никто и никогда не произносил этот набор звуков лучше, чем наш сержант. Потому-то, а также из-за необычайной любви сержанта к бесконечной шагистике, я могу вспомнить его только марширующим рядом с нами — спина прямая, руки энергично двигаются, кулаки сжаты, голова откинута назад, а громовой голос выговаривает: «Три-четыре — иале-во».

Сержант Ревун привел нас строем к интенданту. Именно там мы избавились от всех остатков собственной индивидуальности. Именно интенданты создают солдат, матросов и морских пехотинцев. В их присутствии приходится раздеваться. Избавляясь от каждого предмета одежды, теряешь какую-нибудь характерную черту. Утрата одежды знаменует тихую смерть всех особенностей твоей личности. Я снимаю носки — и уходит склонность к полоскам, и часам, и чекам, и даже к твердой пище; последней уйдет привычка сочетать фиолетовые носки и коричневый галстук. Мои носки отныне всегда будут коричневыми. Они не будут ни перекрученными, ни короткими, ни дырявыми. Они будут коричневыми. И еще одно — они будут чистыми.

То же самое произойдет со всей остальной одеждой: пока ты не окажешься голым в полумраке интендантского склада, из последних сил стараясь справиться со смущением.

Где-то глубоко внутри нас — психиатры называют это подсознанием — все еще жила человеческая искра. Она никогда не исчезает совсем. Ее сила или степень выхода из употребления пропорциональна числу километров, отделяющих человека от лагеря.

Голый и дрожащий, человек беззащитен перед интендантом. Характер липнет к одежде, его оторвали вместе с ней. Потом интендант обходит тебя с сантиметром, после чего обрушивается водопад незнакомой одежды, завершая процесс смывания с тебя индивидуальности. Словно где-то высоко над тобой перевернулся гигантский рог изобилия и на твою несчастную голову падает дождь шапок, перчаток, носков, ботинок, нижнего белья, рубашек, ремней, штанов и мундиров. Когда ты появляешься из-под всего этого, оказывается, что теперь ты всего лишь номер — 351391 USMCR. Двадцатью минутами ранее на твоем месте стояло

человеческое существо в окружении еще шести десятков живых существ. Но теперь вместо этого появился номер в окружении пятидесяти девяти других номеров. В сумме они составляют тренировочный взвод, а в отдельности не имеют ни величины, ни значения.

Мы стали все одинаковыми. Именно так все китайцы кажутся европейцам на одно лицо, и это, как я подозреваю, взаимно. Пока нас еще спасал цвет волос и стрижка. Но вскоре и этого не будет.

Когда мы маршировали к парикмахеру, раздался насмешливый крик: «Вы еще пожалеете-е-е!» Его эхо еще не успело стихнуть, а парикмахер уже остриг меня. По-моему, он сделал всего четыре или пять движений машинкой для стрижки волос. То был последний штрих — и я стал номером, упакованным в хаки и окруженным сумасбродством.

Так началось наше пребывание на острове Пэрис. За шесть недель обучения здесь не было ничего логичного, стержневого, кроме разве что кормежки. Все казалось паранойей: строевая подготовка, тренировки в обращении с оружием, лекции по военному этикету — «Отдавая честь, правая рука должна коснуться головы под углом сорок пять градусов между правым ухом и глазом», — лекции по морскому жаргону — «Отныне и впредь: пол, улица, площадка — все это палуба. Следует чистить и полировать оружие, пока оно не засверкает, и бриться каждый день». Все было смешано, свалено в кучу.

Что мы будем делать, отдавать честь японцам до смерти?

Нет, наверное, мы ослепим их полировкой.

Или побреем ублюдков.

Логика, казалось, была на нашей стороне, а морская пехота представлялась большим сумасшедшим домом.

* * *

Нас поселили на втором этаже большого деревянного барака и держали там. Если не считать недели или около того на стрельбище и похода к воскресным мессам, я выходил из барака только по сигналу сержанта Ревуна. У нас не было никаких прав. Мы были некими полуфабрикатами: уже не гражданские лица, но еще и не морские пехотинцы. Мы чувствовали себя в точности как в определении времени святого Августина: «Из будущего, которое еще не наступило, в настоящее, которое только начинается, назад к прошлому, которого уже нет».

И всегда и везде — строем.

Мы маршировали в столовую и в госпиталь, маршировали чистить оружие и на хозяйственные работы, маршировали на площадку для строевой подготовки. Ноги чеканили шаг по цементному покрытию, топали по утрамбованной земле, останавливались под аккомпанемент стуканья сталкивающихся прикладов. «Кругом, марш!.. Нале-во!.. *стук, стук, стук...* Вперед!.. Правое плечо вперед, марш!., *топ, топ, топ...* Взвод, стой!»

— Черт бы вас побрал, парни! Сказать вам, чем надо стучать, или сами догадаетесь? Вы создаете слишком много шума. Хотите шума? Хотите крови? Пусть шумит кровь! Вперед, марш!

От этого можно было сойти с ума.

Так нас приучали к дисциплине.

Кроме нас, новобранцев, никто на острове Пэрис, казалось, ни о чем не беспокоился, кроме дисциплины. О войне здесь не говорили, мы не слышали жутких рассказов об убивающих всех на своем пути японцах — это нам предстояло позже, в Нью-Ривер. Над всем, кроме дисциплины, здесь насмехались, будь то благочестие или финансовая политика. Инструкторы — все как на подбор убежденные солдафоны. Их мировоззрение было в чем-то сродни сенсуалистам, которые считают, что, если вещь нельзя съесть, выпить или положить в постель, значит, она не существует.

Дисциплина была всем.

Такое отношение невозможно сделать естественным для пришедших с гражданки людей, но его нельзя игнорировать, чтобы сделать этих гражданских менее уязвимыми.

Сержант Ревун был чрезвычайно строг. Он приучал нас к дисциплине традиционными способами: одному приказывал вычистить сортир зубной щеткой, другому — спать с ружьем, которое несчастный перед этим уронил, или выдумывал еще более изощренные наказания. Но превыше всего он ценил строевую подготовку.

Однажды, когда я сбился с шага, он схватил меня за ухо. Признаюсь, я, конечно, не высок, но все же далеко не легок, тем не менее сержант почти что приподнял меня за ухо над землей.

— Счастливчик, — сказал он, — если ты будешь продолжать идти не в ногу, мы оба попадем в госпиталь, где придется хирургическим путем отделять мою ногу от твоей задницы.

Ревун гордился тем, что, хотя он мог загнать своих подопечных до полного изнеможения под жарким солнцем Южной Каролины, все же никогда не заставлял их маршировать под дождем. Великолепная уступка! Но были инструкторы, которые не только заставляли своих людей заниматься строевой

подготовкой под рушащимися с неба водопадами, а получали искреннее удовольствие от превратностей, которым могли подвергнуть несчастных.

Один, к примеру, заставлял свой взвод строем шагать к берегу океана. Его громовой голос, отсчитывающий такт, звучал при этом как-то особенно внушительно. Если у кромки воды возникало замешательство, люди сбивались с шага и нарушали строй, он приходил в ярость.

— Да кем вы себя возомнили? Не забывайте, вы всего лишь кучка жалких, ни на что не годных новобранцев! Кто велел вам останавливаться? Здесь я отдаю приказы, и никто не смеет останавливаться, пока я не скажу!

Если же люди, не останавливаясь, входили в воду, он позволял им зайти по колено или на чуть большую глубину, но так, чтобы вода не добралась до висевших за плечами винтовок. Затем он довольно ухмылялся и, притворяясь разъяренным, орал:

— А ну, возвращайтесь, вы, ошибки ваших матерей! Немедленно вытаскивайте свои глупые задницы из воды! — Развернувшись, он, сердито дымя, изрекал, обращаясь к острову Пэрис: — Кому достался самый тупой взвод на этом острове? Как всегда, мне! Это же просто сборище кретинов!

В большинстве сержанты не были жестокими и уж ни в коем случае не были садистами. Они свято верили, что поступают правильно, обращаясь с нами жестко, но только для того, чтобы сделать жесткими нас.

Только однажды я столкнулся с проявлением именно жестокости. Один из новобранцев никак не мог научиться маршировать, не опуская глаз. Сержант Ревун орал так, что едва не сорвал голос, но все было бесполезно. И тогда он придумал довольно-таки изуверское средство. Он закрепил штык так, что рукоятка находилось за поясом несчастного, а острый кончик упирался ему в горло, не давая опустить голову. После этого парню было приказано маршировать. Мы смотрели на все это округлившимися, испуганными глазами.

Парнишка сделал несколько шагов, потом споткнулся, и сержант прекратил пытку. Дикий, первобытный ужас, должно быть, передался от новобранца сержанту, и Ревун поспешил отвязать штык. Я уверен, что сам сержант запомнил этот случай на всю жизнь — в отличие от его жертвы.

2

Это было не то время, чтобы завязывать длительные

дружеские взаимоотношения. Все понимали, что наш взвод будет расформирован, как только период обучения завершится. Одни отправятся в море, другие — их будет большинство — пополнят ряды морских пехотинцев в Нью-Ривер, кое-кто останется на острове Пэрис. Да и условия, в которых мы жили, были довольно своеобразными: барак есть барак и между нами установились добрососедские отношения, но все же не дружба.

У меня было много друзей в морской пехоте, но об этом я расскажу позже. Сейчас речь о том, как делают морских пехотинцев.

Это процесс капитуляции, сдачи. Каждый час, каждую минуту нам приходилось отказываться от очередной привычки, каких-то предпочтений, производить корректировку своего «я». Даже в столовой мы продолжали учиться: здесь мы поняли, что личные вкусы одного конкретного человека ровным счетом ничего не значат.

Я всегда подозревал, что мне не поправится каша из дробленой кукурузы. Однажды ее попробовав, я убедился, что был прав. И до сей поры я на нее смотреть не могу. Но довольно часто по утрам мне приходилось ее есть или — оставаться голодным до полудня. Как часто мой живот раздраженно урчал, не получив завтрака!

Многие из нас имели некоторое представление о хороших манерах за столом. В это понятие никак не вписывалась потная рука соседа, неожиданно оказавшаяся перед носом, так же как и способ раздачи, при котором тарелки ставились на один конец стола и передавались на другой. При этом сидевшие в голове стола наедались до отвала, игнорируя возмущенные крики сидящих в середине и в конце.

Кое-кого могли раздражать ножи, лежавшие на столе, когда нам давали фасоль, или звериное чавканье, издаваемое отдельными членами нашего коллектива. Но мы довольно быстро становились все менее и менее чувствительными. Вскоре я перестал реагировать на внешние раздражители, просто некий «кишечный радар» регулярно предупреждал меня, что близится время еды, да и мысли о правилах приличия покинули нас до лучших времен.

Тяжелее всего в этом процессе капитуляции была полная невозможность уединиться. Все делалось открыто. Подъем, чтение писем, написание писем, заправка коек, умывание, бритье, расчесывание волос, опорожнение кишечника — все это делалось на виду у всех и так, как велел сержант.

Даже посылками с продуктами из дома завладевал инструктор. Нас информировали о прибытии посылок, о том, что

инструктор апробировал их и нашел вполне подходящими.

Что, вас это удивляет? Вы считаете, что это слишком и затрагивает репутацию почты Соединенных Штатов? Ах, дорогой, позвольте мне задать вам один вопрос: как вы считаете, кто победит в противоборстве американской почты и американской морской пехоты?..

Если вы растерялись в первые несколько недель на острове Пэрис, на стрельбище вам придется собраться.

Ревун гнал нас большую часть пути до стрельбища — а это около восьми километров — сомкнутым строем. (Существует движение сомкнутым строем и движение походным порядком. Уверяю вас, разница между ними весьма значительная.) За спиной у нас висели тяжеленные ранцы. Наше морское снаряжение было в палатках, когда мы прибыли. Мы горько жаловались на тяжесть ноши, уверенные, что обошлись бы без неподъемных ранцев, даже не подозревая, что настанет день, когда мы будем мечтать о них, как о недоступной роскоши.

Тогда более чем когда-либо Ревун казался высеченным из камня. Прямой как копье, без устали отдающий команды мощным, зычным голосом. Только в конце марша он самую малость охрип, тем самым продемонстрировав, что ничто человеческое ему не чуждо.

На стрельбище мы жили в палатках — по шесть человек в каждой. В моей оказался деревянный пол — в большинстве палаток такого удобства не было, поэтому и я, и мои товарищи высоко ценили это неожиданное благо. Кроме того, мы усмотрели Божий промысел в том, что нас, шестерых ньюйоркцев и бостонцев, поселили вместе: северная пшеница была таким образом отделена от южной соломы. Но утро, холодное приморское утро положило конец кажущейся идиллии. Хваленое самообладание янки оказалось изрядно поколеблено мятежными ликующими криками, которые приветствовали вид наших синих, дрожащих губ и звук громко клацающих зубов.

— Эй, янки, а мы-то думали, что на севере холодно и вы к этому привыкли! Оказывается, нет? Ух ты, глянь! У больших крутых парней губы трясутся!

Ревуну все это настолько понравилось, что он даже ненадолго утратил свою обычную сдержанность.

— Это уж точно, — авторитетно заявил он. — Как только вы высовываете носы на улицу, у вас тут же начинают стучать зубы. Черт побери, даже не знаю, что делать.

Через полчаса солнце уже ярко сияло, и мы быстро поняли, каким адом может стать резкая смена температуры.

Нас, новичков, только что прибывших на стрельбище, ожидал

не слишком приятный сюрприз. Здесь имелись своеобразные мостки, на которых люди обычно сидели, причем нижние части их тел нависали над ржавым наклонным желобом, по которому стекала пресная вода, В самом начале этого желоба — в том месте, где качали воду, собралась небольшая группа парней. К счастью, я не был среди тех, кто в это время сидел на мостках, поэтому наблюдал за развитием событий со стороны. Один из «старожилов» поджег кипу смятых, свернутых в ком старых газет и бросил его в воду. Пылающий факел поплыл по течению.

Удивленные и возмущенные вопли приветствовали горящий корабль, неспешно проплывающий под весьма чувствительными к резкому нагреву задницами моих товарищей. Потом было еще много чего, но первое впечатление оказалось самым сильным, и все время, пока оставались на стрельбище, к злополучному желобу мы приближались не без опасений.

На стрельбище нам сделали прививки. Сержант Ревун, как всегда строем, привел нас в амбулаторию, перед дверью которой мы увидели полдюжины представителей пришедшего перед нами взвода, стоящих или лежащих на траве — в зависимости от степени одолевавшей их тошноты. Так мы получили представление о том, чего следует ждать.

Прививка в армии — процесс абсолютно негуманный. Это похоже на пропуск человека сквозь мясорубку. Военные санитары стояли двумя шеренгами друг напротив друга, но с небольшим смещением, так, чтобы два медработника не смотрели в лицо друг другу. А мы шли по этому живому коридору. В процессе движения каждый санитар протирал тампоном голую руку стоящего перед ним пехотинца, не глядя протягивал руку назад, брал полный шприц у ассистента и затем безжалостно вонзал иглу в мягкую плоть. Это была машина движущихся тел, тянущихся рук, стремительных толчков злодейки-иглы. Мы двигались по этапу, застревали на мгновение, потом начинали двигаться снова. Машина обладала производительностью сборочного конвейера, и так же, как конвейер, чужда человеческой природе.

Один из моих соседей по палатке, прозванный Борцом из-за недюжинной силы, массивных габаритов и недолгой карьеры на ринге, не понимал, что происходит. Он стоял передо мной, но был таким крупным, что оказался одновременно перед двумя санитарами — справа и слева от него.

Пока санитар справа протирал тампоном и колол его правую руку, санитар слева делал то же самое с левой рукой несчастного.

Борец перенес два укола, даже не вздрогнув. Но затем, прямо у меня на глазах, причем так быстро, что я не успел сказать ни

слова, оба санитара выполнили привычные движения руками и не глядя вкатили Борцу, не успевшему сделать шаг, еще два укола.

Это оказалось слишком даже для Борца.

— Эй, сколько вы мне вкололи?

— Одну дозу, кретин, двигайся вперед!

— Одну? Да я получил четыре!

— Ну да, конечно, и еще ты командир базы. Я же сказал, продвигайся вперед, ты всех задерживаешь.

— Он говорит правду, — вмешался я. — Он действительно получил четыре дозы. Вы оба сделали ему по два укола.

Санитары несколько растерялись. Туповатая физиономия Борца выражала явную досаду, а я был слишком уж возбужден. Они подхватили Борца под руки и повели к доктору, который, впрочем, не выразил беспокойства. Окинув взглядом стоящую перед ним гору мышц и мускулов, он поинтересовался:

— Как самочувствие?

— Нормально, только они меня разозлили.

— Ладно. Думаю, с тобой все будет в порядке. Если почувствуешь головокружение или тошноту, дай мне знать.

Спешу сообщить, что никакого головокружения Борец так и не почувствовал, что же касается тошноты, то с ней пришлось бороться наиболее впечатлительным из нас, кому довелось наблюдать, как пятнадцатью минутами позже Борец расправлялся с куском мяса.

На стрельбище я впервые получил возможность в полной мере оценить способность морских пехотинцев к ругани. Отдельные проявления этого самобытного, виртуозного мастерства проявлялись и в бараке, но это было ничто по сравнению с всеобъемлющим богохульством и вопиющей непристойностью, которые мы наблюдали на стрельбище. Здесь были сержанты, которые не могли произнести и двух фраз, не вставив между ними ругательства или не призвав на чью-нибудь голову проклятия. Слушая их, мы не могли не содрогаться, а самые религиозные из нас начинали пылать от гнева, мечтая вцепиться в глотки богохульникам.

Очень скоро нам предстояло к этому привыкнуть, да и самим начать грешить тем же. Позже мы поняли, что все это — показная бравада, а вовсе не наступательное оружие. Но вначале мы были шокированы.

Как можно было из обычных проклятий, пусть даже самых свирепых, создать целое искусство? Это не была злобная хула, стремление очернить, облить грязью. Обычная ругань, сквернословие, богохульство, не слишком грозное, зато удивительно разнообразное.

Первым всегда было слово. Уродливое слово, состоящее всего лишь из четырех букв, которое люди в форме трансформировали в самостоятельную часть мира лингвистики. Это был предлог, дефис, гипербола, глагол, существительное, прилагательное, даже, пожалуй, союз. Оно было применимо к еде, усталости и метафизике. Оно использовалось везде и не значило ничего, по сути своей оскорбительное, оно никогда не применялось по прямому назначению. Оно грубо описывало половой акт и никогда не использовалось, чтобы описать его в действительности. Низкое, оно означало возвышенное, уродливое — характеризовало красоту. Это слово входило в терминологию бессодержательного, но его можно было услышать от священников и капитанов, рядовых 1-го класса и докторов философии. В конце концов, имелись все основания предположить, что, если нашу беседу услышит посторонний человек, не слишком хорошо знающий английский язык, он легко докажет путем несложных подсчетов, что это короткое слово — определенно то, за что мы сражаемся.

На линии огня озлобленные сержанты, пытаясь за донельзя сокращенный срок обучения сделать из нас более или менее метких стрелков, наполняли воздух руганью и проклятиями. Морские пехотинцы должны уметь стрелять из положения стоя, лежа и сидя. Вероятно, потому, что из положения сидя стрелять труднее всего, эта позиция была наиболее популярна на стрельбище острова Пэрис.

Нам внушали всю необходимую науку в течение двух дней на проклятых, пузырящихся дюнами песках острова. Мы сидели на солнце, а песок покрывал наши волосы, забивался в глаза, нос, рот. Сержантам было наплевать на песок, пока он не попадал на смазанные металлические части наших винтовок. Не было прощения тому несчастному, кто позволял этому случиться. Наказание следовало незамедлительно: неслабый удар и череда отборных ругательств, выкрикиваемых прямо в ухо провинившемуся.

Чтобы принять правильное положение сидя, следовало подвергнуть себя пытке растяжением на дыбе.

Винтовку следовало держать в левой руке в ее «центре равновесия». Но левая рука, продетая в петлю ружейного ремня, идет вверх по руке к бицепсу, где он затянут невероятно туго. А когда при этом сидишь со скрещенными ногами в позе Будды, приклад ружья располагается в нескольких сантиметрах от правого плеча. Загвоздка в том, чтобы удобно расположить приклад у правого плеча — так, чтобы к правой руке можно было прижаться щекой, посмотреть вдоль дула и выстрелить.

Попробовав выполнить такой трюк в первый раз, я пришел к выводу, что это невозможно, если только в средней части спины не поместить шарнир, который позволил бы каждой стороне моего торса поворачиваться и наклоняться вперед. Иначе никак. В противном случае ремень перережет мою левую руку пополам, или же голова с треском отвалится, не выдержав напряжения от поворота и вытягивания шеи. Хотя, конечно, можно попробовать рискнуть и прицелиться с помощью одной руки, представив, что в руке не винтовка, а пистолет. К счастью, если здесь уместно *это* слово, решение принимал не я.

— Проблемы? — милостиво поинтересовался сержант.

Его приторно-сладкий тон должен был насторожить меня, но я принял его за неожиданный проблеск человечности.

— Да, сэр.

— Ничего, поможем.

Я опомнился, но было уже слишком поздно. Я попался. Оставалось только взирать на сержанта отчаянными, молящими глазами.

— Так, парень, ты крепко держишь винтовку левой рукой. Прекрасно. Теперь действуем правой. Так... так... Это тяжело, не так ли?

А тем временем сержант Ревун просто-напросто сел на мое правое плечо. Могу поклясться, я слышал, как оно хрустнуло. Я решил, что со мной все кончено, но на самом деле ничего не произошло, разве что мое многострадальное плечо чуть-чуть вытянулось. Пытка сработала. Мое правое плечо все-таки встретилось с прикладом, а левая рука осталась неповрежденной. Вот как я осваивал невыгодную позицию для стрельбы.

Я видел только одного японца, убитого выстрелом, произведенным из такого положения, причем когда противник не вел огонь.

И все же оставалось только удивляться, как нас сумели-таки научить стрелять за те несколько дней, что мы находились на стрельбище, вернее, научить тех немногих, кому это было необходимо. Большинство из нас умели стрелять, даже, что самое удивительное, мальчишки из больших городов. Я не знаю, как и где на необъятных бетонно-стальных просторах наших современных городов эти парни сумели достичь столь высокого мастерства, но стрелять они действительно умели, причем неплохо.

Все южане умели стрелять. А парни, прибывшие из Джорджии и Кентукки, были лучшими.

Они молча сносили унижение от ружейного ремня, сидя в песчаных дюнах. Но когда нам выдали боевое снаряжение, они с

презрением отнеслись к столь ненадежной поддержке. Они крепко зажимали приклад под подбородком и производили выстрел. Инструкторы закрывали на это глаза. В конце концов, нет смысла спорить со стрелком, всегда попадающим в яблочко.

Я оказался одним из тех, кто не нюхал пороха. Раньше я ни разу не стрелял из винтовки, если не считать случайно выбитых мною двадцати двух очков в тире на ярмарке. «Спрингфилд» 30-го калибра казался мне настоящей пушкой.

Впервые на стрельбище я прибыл с двумя обоймами на пять патронов каждая и строгим предупреждением «Заряжай и закрывай», полученным от сержанта. Я почувствовал себя маленьким зверьком, на которого вот-вот наедет автомобиль. Затем до меня донеслись страшные слова:

— Все готовы на линии?.. Огонь!..

Трах-тарарах!

Это выстрелил мой сосед справа. Грохот, казалось, разорвал мои барабанные перепонки. От неожиданности я даже подпрыгнул. И через мгновение вокруг меня все смешалось, слилось в единую грохочущую на все лады какофонию. Еще секунда — и в нее вплелся голос моего «спрингфилда». Выстрел, выброс гильзы, перезарядка. На десять выстрелов потребовалось несколько секунд. Затем наступила тишина, и с ней появился странный звон в ушах. В них звенит до сих пор.

Мне потребовалось немного времени, чтобы преодолеть робость и начать получать удовольствие от стрельбы. Конечно, не обошлось без ошибок, характерных для всех новичков. Я палил по другой мишени, не попадал в яблочко, не учитывал сноса ветром. Но я быстро учился, и, когда подошел день зачетной стрельбы, я не сомневался, что получу значок инструктора. Этот знак вполне может быть приравнен к медали за храбрость. К тому же его получение означало дополнительную ежемесячную сумму в пять долларов, что немаловажно, когда получаешь двадцать один доллар.

День нашей зачетной стрельбы, иными словами, день, когда результаты, которые мы покажем, станут официальными и по ним будет определяться квалификация, был очень ветреным и зверски холодным. Я помню зловещую, гнетущую обстановку и то, как я отчаянно мечтал оказаться поближе к костру, вокруг которого собрались сержанты, курившие сигареты и изображавшие веселость, которую, я уверен, никто чувствовать не мог. Весь день у меня ужасно слезились глаза. Когда мы вели огонь на 500 метров, я почти не видел мишени.

Результаты оказались, прямо скажем, жалкими. Я не получил вообще никакой квалификации. Несколько человек получили

знаки меткого стрелка, были выявлены двое или трое снайперов. Значок инструктора не получил никто. Зато, «отстрелявшись», мы стали морскими пехотинцами. Нам следовало обучиться еще некоторым приемам, в частности обращению со штыком и стрельбе из пистолета, но эти навыки занимали более низкое место по шкале ценностей, принятой в морской пехоте. Оружие морского пехотинца — винтовка. Поэтому, отбивая шаг по мостовой по дороге в барак, мы чрезвычайно гордились тем, что освоили «спрингфилд». Ну, по крайней мере, попытались это сделать.

Теперь мы стали ветеранами. Подходя к бараку, мы столкнулись с группой только что прибывших новобранцев. Они еще были одеты в гражданскую одежду и показались нам какими-то неопрятными, взъерошенными, жалкими, как птицы, промокшие под дождем. Словно повинуясь некоему инстинкту, мы хором выкрикнули: «Вы еще пожалеете!» Ревун довольно ухмыльнулся.

3

За пять недель с нами сделали все, что могли. Оставалась еще неделя обучения, но долгожданные и желанные перемены уже произошли. Самым важным в происшедшей с нами трансформации было вовсе не то, что наша плоть стала мускулистее, рука тверже, а глаза зорче. Мы изменились духовно.

Я стал морским пехотинцем. Это автоматически возвышало меня над бредущими стадами других солдат. Теперь я с пренебрежением говорил о солдатах («собачьи морды») и матросах («наездники на швабрах»), Я грубо хохотал, когда сержант едко отзывался о Вест-Пойнте[2] как о «школе для мальчиков на Гудзоне». Я принимал как истину, которую невозможно проверить, рассказы об армейских и морских офицерах, которые отказывались от присвоения офицерского звания и шли в морскую пехоту рядовыми. Я приобрел обширный запас знаний об истории Корпуса и с удовольствием рассказывал анекдоты о непобедимости прошедших огонь и воду морских пехотинцев. Я стал невыносимым для всех, кроме других морских пехотинцев.

Всю следующую неделю мы почти ничего не делали, ожидая назначения. Мы вели разговоры исключительно о морских вахтах и нарядах. Это были грезы наяву. В них все мы носили голубую форму, безудержно пили, танцевали, совокуплялись и играли в доблесть. Иногда в разговоре проскальзывало название «Нью-

Ривер» — случайно, как временами в беседе ненароком всплывает имя «паршивой овцы» в семье. Так называлась база, где велось формирование 1-й дивизии морской пехоты. В Нью-Ривер не носили голубую форму, там не было девочек и танцев до упаду. Там было только много пива и бесконечные болота вокруг. Упоминание о Нью-Ривер всегда вызывало болезненную, неловкую паузу в разговоре, которая длилась до тех пор, пока неприятное впечатление не забывалось, погребенное под волной новых радостных предположений.

* * *

Наступил день отъезда. Мы побросали свое морское снаряжение в грузовики, оделись и собрались на площадке за бараком. Мы стояли в тени балкона — это место, откровенно говоря, не вызывало приятных ассоциаций. Как-то раз Ревун наказал здесь неловкого новичка, умудрившегося на марше уронить свою винтовку. Несчастный стоял здесь в строевой стойке с винтовкой в руках от рассвета до заката и беспрерывно повторял: «Я плохой мальчик. Я уронил винтовку».

Теперь мы стояли на том же месте, ожидая приказа. Пришел Ревун, приказал нам встать в строй и повторить приемы строевой подготовки с оружием. Мы их проделали весьма уверенно.

— Вольно, разойдись. Вон ваши грузовики.

Мы забрались в кузов. Кто-то даже набрался достаточно смелости и спросил:

— Куда мы едем, сержант?

— В Нью-Ривер.

Грузовики тронулись. Все молчали. Я помню, как Ревун, провожавший нас, долго стоял и смотрел вслед уезжающим машинам. Я был потрясен, увидев грусть в его глазах.

В Нью-Ривер мы прибыли глубокой и очень темной ночью. Из Южной Каролины мы ехали по железной дороге. В пути нас, как всегда в поезде, хорошо покормили. Мы спали на своих местах, а вещи были уложены на верхних полках. Только винтовки мы держали при себе.

По прибытии было много шума, криков, кругом мелькали лучи фонариков. Мы вылезли из вагона и построились на платформе. Было довольно темно, и мечущиеся вокруг нас орущие фигуры принимавших пополнение сержантов и офицеров казались бесплотными тенями. Они были чем-то потусторонним и не имели никакого отношения к реальности до тех самых пор, пока очередной луч не выхватывал одну из теней из темноты. В

свете фонаря тень сразу обретала плоть. Несмотря на темноту, у меня создалось стойкое впечатление огромности окружающего пространства. Где-то над головой темнел гигантский небесный свод, а вокруг раскинулась бескрайняя и абсолютно ровная равнина, на которой лишь изредка темнели какие-то постройки.

Нас строем погнали к продолговатому ярко освещенному домику с дверью в другом торце. Мы стояли у входа, а сержант выкрикивал наши имена.

— Леки!

Я сделал шаг, и это движение разом отделило меня от людей, бывших моими товарищами на протяжении шести недель.

Я быстро вошел в освещенный дом. Сидевший за столом человек, не глядя на меня, кивнул, указывая на стул. В помещении находилось еще трое или четверо таких же офицеров, принимающих пополнение. Он быстро задавал вопрос за вопросом, интересуясь только ответами и полностью игнорируя меня. Имя, номер, номер винтовки и так далее — иначе говоря, сухие подробности, нисколько не характеризующие человека как личность.

— Чем вы занимались на гражданке?

— Работал в газете спортивным обозревателем.

— Хорошо. Первая дивизия. Идите прямо и скажите сержанту.

Вот как нас классифицировали в морской пехоте. Поверхностный опрос. Краткие вопросы без особого внимания к ответам. Школьник, фермер, будущий светило науки — все они были лишь зерном, сыплющимся на приемную мельницу, из которой следовали дальше, получив одинаковые аккуратные ярлыки: 1-я дивизия. Никакой тебе проверки способностей, никаких тестов на профессиональную пригодность. В 1-й дивизии морской пехоты исходили из единственной предпосылки: человек пришел сражаться. И никого не интересовала его профессиональная компетентность на гражданке.

Это могло явиться оскорблением для тех остатков гражданского самоуважения, уничтожить которые на острове Пэрис просто не хватило времени. Ну ничего, о них позаботится Нью-Ривер. Здесь ценился только один талант — солдата-пехотинца, а единственным инструментом была винтовка. Все тонкое и изящное здесь быстро погибало, как нежные гардении в сухой пустыне.

Я чувствовал силу такого отношения и впервые в жизни ощутил абсолютное подчинение власти. Выбравшись из хижины, я пробормотал: «Первая дивизия», обращаясь к кучке сержантов, стоящих неподалеку. Один из них указал фонариком в сторону

группы людей, топчущихся в некотором отдалении. Я занял место среди них. Рядом формировались и другие группы.

Затем по команде я забрался в грузовик. Меня окружали мои новые товарищи. Водитель завел мотор, и мы покатили по разбитой дороге в неизвестность. Мимо проплывали темные хижины. Неожиданно грузовик остановился. Мы были дома.

Теперь моим домом стала рота H 2-го батальона 1-го полка морской пехоты. Домом было скопище пулеметов и тяжелых минометов. Кто-то в этой жизнерадостной компании решил, что я буду пулеметчиком.

Процесс внесения в списки в роте H ничем не отличался от получения нами «назначений» накануне ночью. Единственная разница заключалась в том, что все мы прошли через барак, занятый капитаном Большое Ура. Он смерил каждого из нас военным взглядом, в задумчивости потрогал пальцем свои очень военные усы и задал каждому несколько коротких вопросов. Затем, скептически ухмыляясь, он разделил нас по отделениям и отправил в распоряжение сержантов, как раз прибывающих из других полков.

Они приезжали из 5-го и 7-го полков, в рядах которых сражались почти все старослужащие 1-й дивизии. Мой полк, 1-й, был расформирован, но после Пёрл-Харбора был воссоздан. В 1-м срочно требовались военнослужащие сержантского состава, и большинство из прибывших, судя по некоторой нервозности, свое звание получили не так давно, как хотели это показать. Их шевроны были слишком уж новенькими, а некоторые даже не успели их пришить и наспех прикололи на рукава булавками.

Несколькими неделями ранее все эти капралы и рядовые 1-го класса были обычными рядовыми. Но в такое тяжелое время опыт, даже небольшой, это все-таки лучше, чем никакого. Все вакансии должны были быть заполнены. Они и заполнялись.

Но в 1-м были и ветераны сержантского состава. Именно им предстояло обучить нас, сделать боевым подразделением. От них мы учились обращаться с оружием. От них мы учились выдержке и хладнокровию. Они были старой гвардией.

А мы были новичками, юнцами добровольцами, которые сменили спокойное тепло дома на трудности войны.

В течение следующих трех лет это были мои товарищи — солдаты 1-й дивизии морской пехоты.

Глава 2. Морская пехота

1

Бараки, горючее, пиво.

Вокруг этих трех вещей, как вокруг Святой Троицы, сосредоточилась наша жизнь на Нью-Ривер. Бараки предназначались для того, чтобы защитить нас от осадков, горючее — от холода, а пиво — от скуки. И нет никакого греха в том, чтобы называть их священными: они несли в себе святость земли. Думая о Нью-Ривер, я прежде всего вспоминаю длинные бараки с низкими крышами, я помню массивные печи и как мы под покровом ночи, с ведрами в руках, крадучись, выскальзывали из дверей, чтобы стащить немного горючего из бочек других рот, стараясь не замечать тени других людей, таких же, как и мы, воришек. Я никогда не забуду ящики с пивными банками, стоящие в середине одного из бараков, как мы выуживали из карманов все до последнего цента, чтобы собрать необходимую сумму для покупки этого необходимого продукта, а потом волокли тяжелую ношу на плечах, шумные и веселые, потому что впереди нас ждало натопленное жилье, а когда пиво попадет в наши желудки, мир будет принадлежать только нам одним.

Мы были рядовыми, а значит, не знали забот.

Кроме того, у меня было трое друзей: Здоровяк, Хохотун и Бегун.

Со Здоровяком я познакомился на второй день своего пребывания на Нью-Ривер. Он прибыл двумя днями раньше, и капитан Большое Ура сделал его своим посыльным. Всю первую неделю, пока шли организационные работы, его одежда постоянно была заляпана грязью из-за бесчисленных перемещений по болоту между офисом капитана и нашими бараками.

Сначала он мне не понравился. Мне показалось, что, став в своем роде приближенным капитана, он смотрит на нас свысока. К тому же он вел себя, по моему мнению, слишком грубо. Этот широкоплечий и какой-то очень массивный молодой человек с голубыми глазами и светлыми, мягкими, как пакля, волосами в основном угрюмо молчал и открывал рот, только чтобы выплюнуть короткую фразу вроде: «Кэп хочет, чтобы два человека принесли вещи лейтенанта».

Тогда я еще был слишком неопытным, чтобы заметить под внешней угрюмой грубостью испуганного, как и все мы, парня.

Неподвижное лицо было всего-навсего фасадом, а презрительно опущенные уголки рта — поспешно воздвигнутой обороной против неизвестности. Пройдет время, дружба согреет его испуганное сердце, и тогда его губы начнут изгибаться совсем иначе — они растянутся в радостной улыбке.

С Хохотуном было проще. Мы подружились в первый день занятий по стрелковой подготовке, когда нас начали посвящать в тайны тяжелого, охлаждаемого водой пулемета калибра 7,62 мм. Наш инструктор капрал Гладколицый — юноша из Джорджии с приятным голосом и грустными глазами — превратил занятие в соревнование между расчетами, чтобы увидеть, которое из них сможет быстрее привести свое орудие в действие. Пулеметчик Хохотун нес треногу. Я, второй номер, тащил сам пулемет, металлический кошмар весом около десяти килограммов. По команде Хохотун протрусил вперед в указанную точку и быстро установил треногу. Я, задыхаясь, тащился за ним, чтобы вставить штырь оружия в гнездо треноги. Мы обогнали другие расчеты, чем Хохотун был чрезвычайно доволен.

— Ты классный парень, Джерси, — фыркнул он, когда я проскользнул рядом с ним и установил коробку для подачи боеприпасов. — Давай покажем этим ублюдкам.

В этом был он весь — дьявольски, яростно азартный человек. И еще он был отчаянным сквернословом. Постоянно насмехался над всем и всеми, но хорошее чувство юмора лишало его агрессивности и смягчало впечатление от грубости. Он был коренастым, как Здоровяк и я, блондином, как Здоровяк, но, несомненно, симпатичнее Здоровяка с его резкими, даже грубоватыми чертами лица.

Мы трое — а позже в нашей компании появился и четвертый, Бегун, он присоединился к нам на Онслоу-Бич — были не слишком высокими, ниже метра восьмидесяти, и крепко сбитыми. При таком сложении удобно носить треноги и орудия, так же как стволы и опорные плиты, выпавшие на долю минометчиков. По-моему, основная часть нашей подготовки заключалась именно в переноске этих тяжестей.

Стрелковая подготовка и заучивание наименований. Знайте свое оружие, знайте его до мельчайших деталей, так же хорошо, как его создателя; научитесь вслепую или в темноте разобрать и собрать его и без запинки перечислить все действия его механизма. А кроме того, знайте роль каждого бойца расчета, начиная с наводчика и кончая теми несчастными, которые таскают канистры с водой и коробки с патронами в дополнение к своим винтовкам.

Все это было скучным и гнетущим, и война казалась очень от

нас далекой. И так трудно сконцентрировать внимание и не заснуть под теплым солнцем Каролины, когда голос сержанта монотонно бубнит:

— Противник приближается... пятьсот пятьдесят метров... готовность на двести, нет, триста... огонь!

Каждый час делали десятиминутный перерыв, в течение которого мы могли курить, болтать или просто глазеть вокруг. Здоровяк и я по натуре были клоунами. Он очень любил изображать нашего начальника штаба — майора с жеманной походкой и чопорными, почти карикатурными манерами.

— Итак, парни, — говорил Здоровяк, расхаживая взад-вперед перед нами, как это обычно делал майор, — давайте усвоим следующее. Думать вам не придется. Солдатам думать не разрешено. Думая, вы ослабляете боеспособность вашего подразделения. Любой, кто будет застигнут за этим занятием, пойдет под военный трибунал. Солдаты роты Н, имеющие мозги, обязаны немедленно сдать их интенданту. Их нехватка ощущается в офицерском корпусе.

В те времена мы часто пели. Голоса не было ни у Здоровяка, ни у меня, кстати, и слуха тоже, но сам процесс пения нам очень нравился. К сожалению, у нас не было возможности пополнить свой репертуар хорошими песнями: военные шлягеры, которыми нас усердно потчевали, были абсолютно безликими и незапоминающимися — ни слов, ни мелодии.

Припевы вроде «Покажем япошкам, что янки далеко не так просты» или «Я послал поцелуй океану» вряд ли могли наполнить наши сердца стремлением кого-нибудь убивать или что-нибудь завоевывать. Мы пели их несколько дней, после чего перешли к блатной лирике, посчитав ее по крайней мере бесшабашной.

Грустно идти на войну, не имея собственной, берущей за душу песни. Нечто военно-патриотическое вроде «Горниста» или же что-нибудь игривое и язвительное, как, например, «Шесть пенсов» у англичан, могли дать нам понять, что на войне все-таки стоит воевать. Но у нас ничего подобного не было. Мы жили в продвинутое время и были слишком изощренными для такой несовременной мишуры. Военные призывы и военные песни казались наивными и лишними в нашем рациональном мире. Нас исправно снабжали пищей для размышлений — абстракциями вроде четырех свобод. Если же этого мало, пойте военные марши.

Если человек должен жить в грязи, ходить голодным и рисковать своей задницей, ему необходима причина, по которой он должен все это делать. Результат — это не причина.

Без понимания причины мы становимся язвительными. Достаточно взглянуть на рисунки Билла Молдина, чтобы понять,

насколько язвительными стали люди, участвовавшие во Второй мировой войне. Нам приходилось смеяться над собой, иначе, оказавшись в самом центре безумной механической бойни, можно было сойти с ума.

Вероятно, нам, морпехам, повезло больше других, потому что в дополнение к спасительному смеху мы имели культ морской пехоты.

Никто и никогда не забывал о своей принадлежности к морской пехоте. Это выражалось в изумрудной зелени форменной одежды, остервенелой чистке темно-коричневых ботинок, в лихо заломленных головных уборах сержантов и многом другом. Мы помнили об этом на каждой лекции, на каждом занятии. Иногда артиллерийский сержант-ганни мог прервать занятия и пуститься в воспоминания:

— Китай, парни, это да. Верните мне мой добрый старый Шанхай! Ничего похожего на эту дыру! Казармы, хорошая жратва — у нас были даже тарелки! — свобода, голубая форма. А как китаянки любят морских пехотинцев! Больше всего они любят американцев! Причем они не обращают внимания ни на пехотинцев, ни на моряков, если где-нибудь поблизости есть морпех. Вот это была служба, парни!

А поскольку морской пехотинец является добровольцем, его корысти всегда есть предел. Он может ныть и жаловаться, пока не дождется ответа: «Ты же сам этого хотел, не так ли?»

Лишь однажды я услышал о возможности встретить равных нам. На тренировке со штыками друг напротив друга стояли две шеренги людей. Мы держали винтовки с примкнутыми штыками, но — в ножнах. По команде обе шеренги сошлись...

Сержант, однако, не был удовлетворен. Вероятно, причиной тому явилось наше очевидное нежелание выпустить друг другу кишки. Он приказал прекратить тренировку и схватил чью-то винтовку.

— Выпад! Парируем! Выпад! — выкрикивал он, показывая, как надо выполнять движения. — Выпад! Отпарировали? Снова выпад! Удар! Штык попал в живот!.. Черт побери, парни! Вам предстоит встретиться с виртуозами штыковой атаки! Вы будете сражаться с противником, который любит холодную сталь. Вспомните, что они сделали на Филиппинах! А что они натворили в Гонконге? Вам, парни, следует научиться пользоваться штыком, если, конечно, вы не хотите, чтобы какой-нибудь желтолицый ублюдок выпустил вам кишки.

Это обескураживало.

Даже другие сержанты краснели за него. Я не мог не сравнивать этого сержанта и его нарочитую ярость с методами

наших инструкторов на острове Пэрис: они приказывали идти на себя со штыком наперевес и играючи нас обезоруживали.

Бедняга! Он думал, что учить — значит пугать. Он и сейчас стоит перед моими глазами таким, каким был на Гуадалканале: глубоко запавшие глаза, полные страха, провалившиеся щеки, дрожащие жилки. К счастью, все же кто-то проявил милосердие и его эвакуировали — больше я о нем никогда не слышал.

Никто другой не говорил о нашем несовершенстве и превосходстве противника.

Закончив тренировки, мы строились и шагали домой. До того момента, когда до бараков оставалось полкилометра, мы шли походной колонной. Винтовки за плечами, можно даже ссутулиться, если хочется. Не надо идти в ногу. Мы шли домой, смеясь и болтая, весело перекликаясь друг с другом в быстро сгущающейся тьме.

Но за полкилометра до базы звучал зычный голос командира: «Р-р-р-ота, внимание!» — и дальше мы шли строевым шагом. Так мы подходили, сопровождаемые быстро удлиняющимися тенями, к баракам, где размещалась рота Н. Грязные и мечтающие о глотке воды, мы проходили по нашей улочке, печатая шаг, как гарнизон на параде.

Через полчаса, после душа и горячей пищи, мы оживали. Кто-то проверял наличие горючего.

— Эй, Леки, у нас мало топлива.

Я брал ведро и шел на промысел.

Здоровяк и Хохотун отправлялись за пивом. Возвращались они довольно скоро. Джентльмен или кто-то другой подметал пол в хижине. Пень, вероятно, помогал. Пень — невысокий, чем-то напоминающий быка деревенский парень из Пенсильвании — не пил и не курил, по крайней мере тогда, но любил развалиться на полу и бросить кости, или разложить карты, или просто тщательно намазать волосы специальным маслом. Для Пня жизнь заключалась именно в этом: кости, карты, масло для волос.

О чем мы говорили вечерами?

Было много «базарных сплетен» — слухов о снабжении, о будущем назначении, ругали еду, перемывали кости сержантам и офицерам. И конечно, не обходилось без бесед о сексе. Все как один многократно преувеличивали свои успехи с женщинами, в особенности самые молодые из нас.

Полагаю, наши беседы были по большей части скучны. Во всяком случае, так мне кажется сегодня. Они, без сомнения, были скучны, но от них веяло домом. Мы становились одной семьей.

Рота Н была неким кланом, племенем, составными частями которой были отделения, семьи. Как и настоящие семьи, каждое

отделение отличалось друг от друга, поскольку его члены были совершенно разными. Они ничем не напоминали те отделения, которые описывают во многих книгах, в «поперечном разрезе» состоящие из католика, протестанта и иудея, богатого парня, середнячка и бедняка, гения и тупицы — того невероятного коктейля, столь же приятного американскому вкусу, как национальная футбольная команда.

В моем отделении не существовало расовой или религиозной розни. У нас не было, что называется, внутренних конфликтов. Это обычно плод воображения людей, никогда не воевавших. Только заплывшие жиром тыловики могут позволить себе такой геморрой в порядке роскоши.

Понятно, что не могло обойтись совсем без разногласий. Но мы переводили все, что нас не устраивало, в общую нелюбовь к офицерам и дисциплине, а позже к двум врагам, противостоящим нам на Тихом океане, — джунглям и японцам.

Отделение как социологическая единица, рассматриваемая под микроскопом современным романистом, как правило, нереальна. Она холодна и лишена духа. И не имеет отношения к отделениям, которые я знал и которые были неповторимыми и непохожими друг на друга, как люди.

2

Наш взвод принял сержант Узколицый. Лейтенанта Плюща[3], нашего командира, ожидали только через несколько дней. А пока командовал Узколицый. Он если и был старше меня, то разве что на несколько месяцев, но служил в морской пехоте уже три года, поэтому был старше на века.

— Значит, так, — сказал он и быстро провел рукой по своим длинным светлым волосам, которые гладко зачесывал назад. Его худая физиономия была гладко выбрита, как всегда, когда он стоял перед строем. — Мы выдвигаемся к берегу. Военнослужащие рядового состава, — как сержанты любят эту фразу! — выходят завтра утром с полной походной выкладкой. Морское снаряжение останется здесь под замком. Проверьте наличие у вас столовых приборов. Убедитесь, что взяли все необходимое для установки палаток. Вам лучше иметь достаточное количество колышков для натягивания палаток, иначе существенно пострадают ваши задницы. Все увольнения отменяются.

Выразив недовольным ропотом свое отношение к происходящему, мы разошлись по баракам. Надо было

собираться. А затем впервые за прошедшее время офицеры начали развлекаться, играя с солдатами. Каждый час в барак врывался Узколицый и объявлял новый приказ, иногда идущий в развитие предыдущего, но чаще противоречащий ему.

— Ротный сказал: никаких колышков для палаток!

— Начштаба батальона сказал: брать морское снаряжение!

— Колышки все взяли?

Только Здоровяк, обладавший, казалось, прирожденным спокойным презрением рядового к офицерам, отказался принимать участие во всеобщей бестолковой суматохе. Всякий раз, когда взмыленный Узколицый появлялся на пороге с новым приказом, он поднимался со своей койки, с мрачным интересом выслушивал его, после чего недоуменно пожимал плечами и спокойно усаживался обратно, с превосходством глядя на суету вокруг.

— Здоровяк, — спросил я, — ты что, не собираешься паковать вещи?

— Я уже все приготовил, — сказал он, указан на кучу, состоящую из носков, трусов, крема для бритья и прочих необходимых вещей.

— Но их же надо упаковать.

— Совершенно незачем, Леки. Я упакую все утром, когда они там наконец успокоятся.

Вмешался Хохотун. Отчетливо прозвучавшие в его голосе радостные нотки смягчили упрек:

— Тебе следует поторопиться. Они устроят проверку, и ты огребешь кучу неприятностей на свою задницу. Попадешь на губу, причем так далеко, что пищу тебе придется забрасывать рогаткой.

Здоровяк демонстративно зевнул и растянул рот в широкой ухмылке. Весь вечер он наблюдал за нашей суетой и потягивал теплое пиво, две банки которого заначил накануне, не сомневаясь, что в конце концов окажется прав.

Так и получилось. Мы упаковывали свои вещмешки только для того, чтобы сразу же вытряхнуть все обратно и выложить что-то, подчиняясь очередному приказу. Мы крутились, как флюгеры, дергающиеся под порывистым ветром приказов, дующих из офицерской страны. Но Здоровяк был прав. Утром поступил окончательный приказ командира батальона. Он воздержался от шуток с солдатами. И его приказ отличался от всех остальных тем, что был официальным.

Мы в очередной раз вывернули свои вещмешки, снова сложили их и навьючили на свою спину.

Теперь я уже точно не помню, сколько весили наши вещмешки. Кажется, около десяти килограммов. Но даже в этом

проявлялись различия между людьми. Лично я взял с собой самый минимум, иными словами, только то, что приказал полковник. Но люди, помешанные на чистоте, вполне могли спрятать в мешке пару лишних кусков мыла или флакон с маслом для волос. Другие предпочли припрятать под вещами пару банок фасоли, а третьи просто не могли никуда двинуться без увесистой связки писем из дома.

Солдатский вещмешок — как дамская сумочка, его содержимое отражает личность хозяина. Мне было очень грустно видеть памятные мелочи в вещмешках у мертвых японцев. У этих гладколицых маленьких людей очень сильны родственные связи, и их вещмешки полны милых вещиц, напоминающих о семьях и родственниках.

Мы построились перед бараками. Вещмешки за спинами приятно оттягивали плечи.

— Вперед — марш!

И мы выступили к берегу.

По-видимому, мы прошли километров пятнадцать — не слишком много для ветеранов, но для нас тогда это было огромное расстояние. Мы шагали через сосновый лес по пыльной дороге, такой узкой, что даже джип по ней вряд ли мог проехать. На марш вышел весь батальон, и мое отделение оказалось зажатым в самом центре колонны. Над нами поднимались облака красной пыли. Каска, безумно раздражая меня, болталась сзади и колотилась об оттягивающий плечо пулемет. Если же его повесить вперед, он начнет отплясывать сумасшедшую пляску прямо перед глазами. Пройдя километра два, я поклялся больше не отхлебывать из фляжки. Я не имел ни малейшего представления, как далеко придется топать, а мои брюки уже промокли от пота — пропитавшись влагой, они сменили изумрудно-зеленый цвет на значительно более темный. На первом километре мы еще оживленно переговаривались друг с другом, шутили, кто-то даже пел. Теперь пели только птицы, а с нашей стороны доносилась только тяжелая поступь шагов, звяканье фляжек, скрип кожаных ремней и иногда хриплая ругань.

Каждый час мы получали десятиминутную передышку. По команде мы валились на обочине дороги и в течение этих драгоценных минут отдыхали, тяжело привалившись к вещмешкам. Всякий раз я протискивал руки под впившиеся в тело лямки и пытался помассировать ноющие плечи. Почти все курили. Мой рот отчаянно пересох, в нем уже не помещался распухший язык, и я слегка смачивал его глотком восхитительной влаги из фляжки, после чего — вот идиот! — снова высушивал

его, затянувшись вонючим дымом. Но это было сущее наслаждение — лежать на обочине дороги, на десять минут расставшись с напряжением и болью, вдыхая табачный дым. Последнее было сомнительным удовольствием, но это я понимаю только сейчас.

А затем опять звучала команда:

— Становись!

Это означало, что надо быстро собрать себя воедино и подняться на ноги. Ругаясь и отплевываясь, проклиная всех и все, мы вставали. И пытка ходьбой начиналась снова.

Так мы добрались до того места, где нас ждали катера типа «Хиггипс». Здесь дорога упиралась в один из каналов, которые перерезали эту часть Северной Каролины, являясь частью внутренней водной системы. Он казался живым, этот водный лабиринт, извивающийся и выписывающий кренделя по дороге к морю.

Мы забрались в катера и молча расселись — головы чуть высовываются над планширами, каски на коленях.

Не успел катер начать движение, как парня, сидящего слева от меня, выбросило со своего места. Это был Юниор — маленький, тщедушный паренек, явно слишком застенчивый и робкий для морского пехотинца. Он приехал из Нью-Йорка и, судя по всему, моряком не был. Ему было все равно, наветренная сторона или подветренная. И он принялся блевать с наветренной стороны. Все, что изверг его желудок, полетело на нас вязкими, вонючими брызгами. Проклятия, обрушившиеся на голову Юниора, не могли заглушить пронзительные крики чаек, мечущихся над нашей головой.

— Ты что, не мог использовать свою каску? — ухмыльнулся Здоровяк. — Вот те на, Юниор, а зачем же, ты думаешь, она нужна?

Но к этому времени уже многих тошнило — люди использовали каски по прямому назначению. Бедняга Юниор робко улыбнулся, явно очень довольный, что является не единственным преступником. Когда мы вышли в море и начали ритмично взлетать на гребни воли, а потом проваливаться в глубокие впадины, уже половина личного состава, к радости боцмана, отдала морю содержимое своих желудков.

Бесконечные взлеты и падения становились невыносимыми — океан то подбрасывал нас, то снова ронял. И все это время у штурвала стоял боцман, бесстрастный и хладнокровный, как змея, наверняка предвкушая, как он будет рассказывать другим мастерам швабры, как новоиспеченные морпехи пережили свою первую встречу с великим соленым

морем.

Мы кружили по морю. Теперь я знаю, что ждали приказа двигаться к берегу и к тому, что должно было стать нашей первой амфибийной операцией. Когда приказ поступил, двигатели взревели в полный голос. Носы наших плавсредств зарылись в воду, а сами они, казалось, перешли в горизонтальный полет. Слава богу, хоть качка прекратилась.

— На высадку!

Катера образовали линию для атаки. В мое разгоряченное лицо полетели прохладные брызги. Сначала не было слышно ничего, кроме рева двигателей. Потом мы почувствовали резкий толчок, и послышался резкий скрежет, издаваемый килем, движущимся по песку. Мы прибыли.

— Встать и за борт!

Я высоко поднял винтовку, ухватился за планшир и спрыгнул в воду, которой оказалось примерно по колено. Но под тяжестью оружия и снаряжения я не устоял на ногах и едва не опустился на четвереньки. В результате я весь промок. Теперь к весу снаряжения добавился вес воды.

— Ложись!

Мы выполнили приказ. Когда мы поднялись на ноги, поработав оружием против воображаемого противника, то были обвалены песком, как филе в муке.

Пропотев на переходе, мы уже натерли движущиеся части плоти. Потом в ранки попала соль морской воды, добавив нам острых ощущений. И довершил картину вездесущий песок. Поступил приказ строиться и двигаться к нашему новому лагерю, до которого было около мили. Лишь только мы тронулись в путь, боль стала невыносимой, каждый шаг, каждое резкое движение руки создавало эффект острой бритвы, рассекающей плоть под мышками и между йогами.

Преодолев указанное расстояние, мы подошли к довольно густому сосновому лесу. С одной стороны дороги растительность была вырублена и образовалась поляна. На ней стояли три пирамидальные палатки: одна для камбуза, другая для лазарета и третья для командира роты. Здесь, как нам объяснили, и находился наш новый лагерь.

Пока шло деление территории на участки для взводов и отделений, пошел холодный дождь. Начали появляться первые палатки — не аккуратными ровными рядами, как было принято раньше, а вразброс — по новой моде, для маскировки.

Мы были измучены до крайности, страдали от боли, голода и холода. В таком состоянии процесс разбивки лагеря должен был стать тяжелым и безрадостным делом и затянуться до

бесконечности. Но все оказалось по-иному. Никто из нас даже не сказал ни одного дурного слова в адрес офицеров. Неожиданно мы почувствовали возбуждение, которое согрело нас, заставив на время позабыть о холоде, пустых желудках и поющих костях.

Очень скоро мы уже, прихрамывая, разбрелись по сторонам, собирая сосновые иголки, чтобы расстелить их вниз под одеяла.

Что за постель! Темно-зеленое одеяло сверху, еще одно внизу, а под ним россыпь сосновых иголок на земле.

Как я уже говорил, мы трудились очень споро и весело, добродушно поругивая недотеп, которые никак не могли поставить палатку. А дождь, этот мокрый незваный гость, вероятно сконфузившись, что является единственным мрачным плакальщиком в нашей веселой компании, быстро усилился и превратился в ливень.

Когда мы окопались, иными словами, выкопали глубокие траншеи вокруг палаток, чтобы земля внутри оставалась сухой, раздался сигнал к ужину. Пища была горячей, кофе тоже. А что еще нужно бездомному бродяге? Было уже поздно. В полной темноте мы закончили ужин и вымыли свои металлические столовые приборы.

По дороге к своим палаткам мы прошли через территорию роты F. Здесь солдаты бродили вокруг палаток, спотыкаясь о колышки, вызывая справедливый гнев старожилов.

Особыми любителями сквернословия были пулеметчики, от них можно было услышать весьма изысканные изречения с упоминанием родственников всех и каждого. Но они, хотя приходилось сталкиваться и с более грязными ругательствами, все-таки являются непечатными.

Так — в дожде, темноте и потоке ругани — закончился наш первый день в поле. Мы влились в ряды морских пехотинцев.

* * *

На следующий день я впервые встретил Бегуна. Он был в отделении Здоровяка всего несколько дней — прибыл позже других, — но я его ни разу не встречал. Он как раз выходил из палатки Хохотуна, смеясь какой-то шутке, и мы столкнулись. Он едва не сбил меня с ног. У него, Бегуна, были очень сильные, хорошо развитые ноги, и, когда он целеустремленно двигался вперед, на его пути попадаться не стоило. Он еще в школе, как я позже узнал, бегал на длинные дистанции, и довольно-таки неплохо. Отсюда и мощная походка.

Бегун идеально подошел нашей компании — как перчатка

натягивается на руку. Его восхищение Хохотуном граничило с благоговением, но Хохотун сумел с этим справиться, не обижая товарища. Полагаю, ему в глубине души нравилось обожание темноволосого парнишки из Буффало, который так толково говорил о танцах и автомобилях, что было совсем необычно для беспорядочного луиевилльского мира Хохотуна.

Наша дружба крепла, и вскоре стало ясно, что слово Хохотуна обладает самым большим весом хотя бы потому, что он всегда мог рассчитывать на поддержку Бегуна.

Итак, Хохотун стал лидером в нашей четверке, чего ни Здоровяк, ни я никогда не признавали, и лишь Бегун подчеркивал это своим почтительным отношением.

Разве не странно, что в такой ситуации была необходимость в лидере? Но она действительно существовала. Двум парням, я полагаю, лидер не нужен, троим уже нужен, а четверым — так просто необходим. Иначе кто будет улаживать разногласия, планировать важные мероприятия, предлагать место и время для развлечений и вообще соблюдать гармонию?

* * *

Это было начало нашей прекрасной жизни здесь, на берегу. Мы спали на земле, а дом нам заменял кусок брезента, но теперь мы начали гордиться тем, что смогли с этим справиться. При таких условиях прекрасная жизнь просто обязана была стать шумной, а зачастую и дикой.

Дневные тренировки не могли полностью лишить бодрости тела и духа таких молодых ребят, как мы. Если не было ночных заданий или дежурства по роте, мы были свободны после ужина до самого утреннего подъема. Иногда мы собирались у костра, жгли сосновые сучья и по очереди отхлебывали из бутылки маисовой водки, купленной у местных самогонщиков. Сосновые сучки горели с благоуханной яркостью, а проглоченное пойло согревало изнутри.

Мы часто пели или боролись у костра. Неподалеку другие парни зажигали другие костры, возле которых звучали иные песни, и результатом нередко являлось соревнование певцов, обычно завершавшееся упрямыми попытками перекричать друг друга. Иногда в освещенный костром круг случайно забредал несчастный опоссум, при виде которого немедленно поднималась суета, в несчастного зверька летело все, что попадалось под руку, и в конце концов жизнь покидала беднягу. После этого всегда находился кто-то, желавший

продемонстрировать остроту своего штыка и сдиравший с животного шкурку. Маленькая тушка обычно сгорала в пламени костра, и лишь немногие могли похвастать тем, что имели возможность попробовать его мясо.

Бывали вечера, когда Здоровяк, Хохотун, Бегун и я после еды отправлялись на прогулку в сторону шоссе, расположенного в трех километрах от нашего лагеря. Звук наших бодрых шагов заглушал толстый слой грязи под ногами. Иногда мы шли молча, зачарованные фиолетовой красотой ночи. А иногда дурачились, танцевали в вязкой земле, наскакивая друг на друга, и что-то орали — с одной лишь целью: услышать звуки собственных голосов, которые нам возвращала темнота. Бывало, что мы шли тихо, молча, только изредка тихо перебрасываясь парой слов, вспоминая дом или стараясь представить себе, куда нас отправят после завершения подготовки.

Шоссе находилось на полпути к другим развлечениям. Оно было сплошь усеяно кабачками, стоявшими вплотную друг к другу. Добраться сюда — значило перейти в другой мир. Только что ты был окружен мягкой темнотой, запахами леса и топал, меся ботинками грязь, по проселочной дороге, а в следующий момент ты уже стоишь на обочине бетонки, по которой ездят машины и военная техника. По обеим сторонам стоят грубо сколоченные лачуги, бесстыдно выставляя напоказ голые электрические лампочки и прикрывая самые неприглядные свои части рекламой кока-колы и сигарет.

Девушек здесь не было. Секс был дальше по дороге — в Морид-Сити и Нью-Берне. А здесь были другие забавы — выпивка и драки. Еще можно было пойти в Гринвилл, но морпехи с берега туда ходили редко, слишком велик был риск нарваться на патруль за нарушение форменной одежды. Хохотун и я однажды рискнули и были вознаграждены восхитительными гамбургерами.

Своеобразным символом и традиционным местом встречи парней нашего батальона стал зеленый фонарь. Он стоял на дороге недалеко от места нашего расположения — как раз в том месте, где проселочная дорога встречалась с бетонкой, словно проскальзывая под нее.

Здесь обычно устраивались драки. Когда бы ты ни подошел к зеленому фонарю, драка или закапчивалась, или начиналась, или ожидалась. Результаты можно было видеть на следующее утро на лицах (и других частях тела) парней, выстроившихся перед амбулаторией.

Я расскажу, как состоялось наше первое приключение. Это был конец недели. Мы только что вернулись в свои хижины, получили увольнительные и отправились на встречу с

цивилизацией в полной форме. Наша четверка бодро шагала в Морид-Сити. По дороге мы подбадривали себя изрядными дозами спиртного. Мы шли пешком, поскольку не могли позволить себе заоблачные цены на такси, а остановить попутку почти никогда не удавалось. Устав от бесполезного размахивания руками на обочине дороги, мы стали чаще заходить в стоящие у дороги кабаки, и в очередном из них обнаружили, что денег у нас уже почти не осталось. И я предложил украсть ящик пива. Они были сложены на виду у всех в задней части комнаты.

— Идиоты, — фыркнул Хохотун. — Все равно вы никогда на это не пойдете. Хозяин видит каждое наше движение.

— Нет, — уперся я. — Мы зайдем в сортир — он как раз рядом со штабелем. Дверь открывается внутрь. Мы выползем оттуда и вытащим один из ящиков. Он ничего не заметит, прилавок помешает. Мы пронесем его прямо у него под носом, а добравшись до двери, вскочим и убежим.

— Ладно, — хмыкнул Хохотун.

Все прошло гладко. Мы вытащили один из ящиков и, пробираясь ползком, тихо доставили его к двери, незамеченные хозяином. Мы были похожи на двух гусениц, соединенных между собой ящиком пива. Весьма своеобразная связка. Только физическая подготовка, полученная нами за последнее время, помогла удержать тяжеленный ящик в нескольких дециметрах от пола — так не было опасности, что хозяин услышит скрежет толкаемого по полу ящика.

Добравшись до двери, мы вскочили на ноги и, надежно ухватив ящик, выскочили на улицу, снова связанные между собой общей ношей, как сиамские близнецы.

Мы были возбуждены и опьянены успехом. Ночной воздух приятно обдувал разгоряченные лица, пока мы неслись к шоссе, а потом через него, не обращая внимания на напряженное движение. На другой стороне мы поставили ящик, чуть удалившись от обочины, и повалились рядом, захлебываясь от радостного смеха, — с нами случилось нечто вроде истерики. Теперь каждый из нас стал богаче на шесть бутылок пива, и благодатная ночь казалась бесконечной.

Хохотун направился обратно к дороге, а я остался, чтобы отлить. Вернувшись, я заметил, что мой товарищ не один. Стоявший рядом с ним человек, заметив меня, сказал:

— Несите этот чертов ящик обратно! — Это был хозяин.

— Сам неси. — Я вымученно рассмеялся. А потом увидел, что он сжимает в руке винтовку.

— Я сказал, несите его обратно, — повторил он и угрожающе взмахнул оружием.

Я подумал, что он собирается нас пристрелить, и тут же распростился с бравадой.

Я позвал на помощь Хохотуна, мы взяли ящик и потащили его обратно через дорогу. Хозяин шел следом, подбадривая нас оружием.

Моя физиономия горела огнем от стыда. Мы шагали обратно в кабачок, как люди идут навстречу гибели. В конце концов ящик был водворен на место.

Сострадание — это свойство, данное далеко не каждому. Я бы даже сказал, что это скрытый талант. Повернувшись, мы увидели, что хозяин идет к стойке бара, где сидели Здоровяк и Бегун. Оружия видно не было. Он каким-то образом убедил всех посетителей, что неудавшееся ограбление — это всего лишь веселая шутка. Он открыл четыре бутылки пива и подвинул к нам.

— Вот, парни, выпейте за мой счет.

Мы сказали, что сожалеем о своем поступке. Он ухмыльнулся:

— Вам повезло, у меня сердце доброе. Когда я увидел, как вы припустились с ящиком наутек, у меня в глазах потемнело. Мне больше всего хотелось выстрелить прямо в ваши улепетывающие задницы. Черт возьми, вам повезло, что я передумал.

Мы рассмеялись и выпили. Он снова ухмыльнулся, страшно довольный, что справился *с* нами и может вести себя милостиво, как подобает победителю.

В этих кабачках всегда можно было нарваться на неприятности, так же как и в многочисленных кафе Нью-Берпа, Морид-Сити и Вилмингтона. Я говорю «кафе», поскольку именно так их назвали хозяева. Но они едва ли сильно отличались от более привычных нам кабачков, разве только располагались на городских улицах, а не на шоссе, и стены их были покрашены.

Но была другая, очень существенная разница — здесь были девушки. Они приходили из города и не были служащими кафе. Возможно, владельцы как-то поощряли их присутствие, предоставляли какие-то льготы, но официального статуса они не имели.

В морских городах Нью-Бери и Морид-Сити кафе располагались на каждом углу — дешевые, тесные, воздух насыщен сигаретным дымом, а музыкальный автомат выдавал такую зажигательную музыку, что, казалось, вот-вот сам пустится в пляс.

И обязательно девушки.

Они сидели за столами с мраморными столешницами, покрытыми круглыми отпечатками от стаканов с содовой, на которые накладывались более свежие, имеющие немного

меньший радиус, но тоже круглые отпечатки пивных бутылок. Пиво явно было крепче содовой.

Они сидели за столами, потягивали пиво, курили, хихикали. Казалось, их молодые тела стремятся освободиться от тесной одежды. Их губы постоянно находились в движении: одни жевали резинку, другие болтали, а глаза работали — шарили по сторонам, внимательно осматривали сидящих за столами и гуляющих по проходам... Они охотились — искали, высматривали откровенно ответный взгляд. Встретив такой взгляд, девушка решительно гасила сигарету, лениво вставала, поправляла юбку и, покачивая бедрами, направлялась к нужному столу. Дальше, думаю, все понятно.

В Нью-Берн с его симпатичными кафе мы обычно ходили с капралом Гладколицым. Он переиначил мою фамилию в Потаскун.

— Пойдем-ка мы, Потаскун, с тобой в Нью-Берн, — объявлял он, причем не делал пауз между словами и вся фраза казалась одним длинным словом.

Капрал Гладколицый женился на девушке, которую встретил в кафе. Через час после момента встречи он отправился в Южную Каролину на машине, нанятую за деньги, которые я выручил, заложив часы. Он не мог жениться в Нью-Берне в субботу вечером, но знал судью в Южной Каролине, который выполнит церемонию. После свадьбы он поспешил обратно, провел в Нью-Берне медовый месяц, продлившийся ровно один день, и в понедельник утром, еще до побудки, был в Нью-Ривер.

Гладколицый так и не вернул мне деньги за часы. Думаю, он счел их свадебным подарком.

Что ж, да будет так.

3

Интенсивность тренировок заметно увеличилась, а увольнения стали реже. Мы больше не возвращались на базу. Дни проходили скучно, поскольку были как две капли воды похожи друг на друга. Суббота и воскресенье тоже не отличались от будней с той лишь разницей, что теперь каждое воскресное утро нас будил лесной пожар.

Мы, конечно, не могли утверждать, что их устраивает именно майор, но, тем не менее, не сомневались в этом. Мы понимали, что в душе он не был злостным поджигателем, просто не мог перенести вида спокойно отдыхающих солдат. Я говорю: доказательств тому не было, если не считать таковыми, что

пожары регулярно случались именно в воскресное утро примерно в одном районе и в тех частях леса, где не было опасности их распространения.

Мы поспешно загружались в грузовики, призывая все мыслимые кары на голову майора, и отправлялись к месту возгорания.

Пожар мы тушили встречным огнем, рытьем траншей, а иногда, если успевали, растаптывали маленькие очаги возгорания и сбивали огонь ветками, не давая ему набрать силу. Во время одной из таких операций на мне загорелась одежда.

Я стоял в самом центре тлеющего, отчаянно дымящего луга. Было так горячо, что я чувствовал обжигающий жар даже через толстые подошвы моих ботинок, плотные носки и внушительные мозоли. Я взглянул вниз и с ужасом заметил, что по левой штанине вверх медленно ползет тлеющая дорожка, которая вот-вот разгорится.

Не скажу, что я сильно испугался, но все-таки задерживаться не стоило, и я со всех ног помчался к бревенчатому забору, за которым росла высокая трава и земля была прохладной. Я знал, что не смогу затушить мириады тлеющих молекул моих штанов, похлопывая по ним ладонями: мне следовало покататься по земле, вываляться в грязи. Там, где я стоял, это было невозможно.

Как я бежал! Я несся к забору, а мои приятели, решив, что я обезумел от страха, устремились следом, на разные голоса призывая меня остановиться. Догнать меня было невозможно, побив все мыслимые рекорды, я первым пришел к финишу, то есть к забору, ласточкой перелетел через него, приземлившись на плечо, и принялся кататься по земле, хватая пригоршни грязи и обмазывая мои тлеющие штаны и носки.

Когда парни сверху посыпались на меня, я уже не горел. Первым на меня спикировал Бегун. Слава богу, я стартовал раньше, иначе мне ни за что не удалось бы достичь вожделенного забора первым. Не хочется думать, что бы было, перехвати меня друзья в центре горячего, пышущего жаром луга.

У меня оказался неприятный ожог внутренней поверхности голени — там, где загорелся носок. Он болел несколько дней, а шрам остался на всю жизнь.

* * *

Обучение подходило к концу. Дни, дни, бесконечные тягучие дни, наполненные потом, бесцельной беготней — почему-то мне при этом вспоминалась бессмысленная суета французской

революции, — занятиями на тренажерах, ползанием вверх-вниз по грубым, отвратительно воняющим сетям, свисающим с высокой деревянной конструкции. Эта замысловатая конструкция — наш троянский конь — была устроена, чтобы изображать борт корабля. А еще мы все время копали окопы — эти дыры в земле на Филиппинах прозвали лисьими порами. Копали, перелопачивали, выгребали, так, чтобы, спрятавшись, оказаться ниже уровня поверхности, ныряли в свежую рану на теле земли и зарывались лицом в мягкий грунт. А вокруг ползали перепуганные черви, словно встревоженные поспешностью копания могил. Да вот и тела, наполнившие их, вроде бы еще живые...

Если мы не копали, то уж точно маршировали — весь день на марше, солнце накаляло каску, из-под нее вытекал пот, ненадолго задерживаясь в густых бровях. Оттуда, заливая глаза, он продолжал свою путь, покрывая верхнюю губу мелкими капельками влаги, стекал на подбородок и уже оттуда срывался на одежду. А тело тем временем продолжало движение — покрытый смазкой-потом механизм. Струйки пота раздражающе щекотно стекали по спине. А коснувшись языком верхней губы, можно было ощутить его соленый вкус. Дни бывали всякие — скучные и жестокие, утомительные и изнуряющие. Дни лекций, стрельб, проверок, уборки палаток, чистки оружия, обучения вежливости на войне, дружбы и вражды... И все это среди разливающихся на разные голоса птиц... Мы учились относиться безразлично к боли, дождю, мокрым одеялам, безбожию. Наши глаза становились зорче, а тела крепче. И вот все это подошло к концу. Подготовка завершилась.

В последний день на нас прибыл посмотреть из Вашингтона военно-морской министр. Нас построили в тени на берегу капала.

Сейчас я уже не помню, как долго мы ждали Кнокса — может быть, час или два. Но мы чувствовали себя вполне комфортно, стоя без всякого дела. Мы отдыхали. Неожиданно со стороны канала раздался резкий сигнал. Мы приготовились. По каналу шел сверкающий катер: флаги развеваются, нос надменно задран высоко вверх, корма низкая и подвижная — ни дать ни взять норовистая лошадь. Это и было долгожданное начальство.

Командир роты подошел к группе официальных лиц, когда она приблизилась к нашему строю, чтобы отдать честь лично — до этого он уже дослужился. Его оставили позади. Он стоял перед нами — коренастый и немолодой морской пехотинец, рукава в нашивках, множество прав, в общем, серьезная фигура для любого офицера ниже полковника. Высокие гости прошли мимо. Непопулярный среди нас майор прикрывал тыл. Как раз когда он

проходил мимо нас, раздался чистый голос нашего Старины Ганни, такой мощный, что его могли слышать все: «Вольно!»

Мы с облегчением сбросили с плеч винтовки. Физиономия майора побагровела, приобретя цвет восхода в море. По рядам пробежала дрожь веселья. Ее нельзя было услышать, зато легко можно было почувствовать. Майор прибавил шагу, словно спешил покинуть проклятое место.

Когда Старина Ганни посмотрел ему вслед, его физиономия выражала явное удовлетворение. Удивительно, но он улыбался, как Чеширский Кот, — он весь был улыбкой.

Прибывший высокий гость нас не инспектировал — во всяком случае, если и инспектировал, то не мою роту. Я всегда считал, что в те отчаянные дни он прибыл в Нью-Ривер только для того, чтобы удостовериться, что здесь действительно есть люди, словно он втайне подозревал, что 1-я дивизия морской пехоты, как многие наши военные подразделения в то время, существует только на бумаге.

В тот день завершился период наших тренировок на берегу. Как только прибывшие гости вернулись на свой катер, мы покинули лагерь. Мы возвращались к относительному комфорту — домам, столовым, торговым лавкам. Этому нельзя было не радоваться. Война все еще была от нас далеко. Война была от нас очень далеко, и мы даже не подозревали, насколько важен был визит высокого лица.

* * *

На базе жизнь шла намного легче. Офицеры заметно подобрели. Нам даже давали увольнения на *62* часа — с четырех часов пятницы до утра понедельника. Окрестные городки моментально лишились своей привлекательности — мы стали ездить домой. Шоссе, начинающееся сразу за пределами расположения нашей части, было забито таксомоторами. В пятницу вечером они подъезжали друг за другом, грузили морских пехотинцев и, рыча, отбывали. Обычно мы впятером брали такси до Вашингтона, расположенного примерно в 500 километрах. Оттуда в Нью-Йорк можно было попасть на поезде. Удовольствие получалось довольно дорогое: по 20 долларов с каждого для водителя, который довозил нас до вокзала и в воскресенье вечером возвращал обратно в расположение части. Понятно, что деньги на это давали родители. Рядовой, получающий 21 доллар в месяц, не может позволить себе такой роскоши, так же как и рядовой 1-го класса, получающий чуть

больше — 26 долларов в месяц. Именно до этого звания я не так давно дорос. Такси было дорогим, но самым быстрым и надежным способом путешествовать. Железнодорожная служба работала намного медленнее и не слишком регулярно. Малейший сбой — и в понедельник утром тебя наверняка объявят НВСО[4].

Иногда за руль садился кто-нибудь из нас — когда водителю надоедало выслушивать наши приказы «поднажать». Тогда мы почти летели — 145, а то и 150 километров в час — в общем, с той скоростью, которую можно достичь, вжав педаль газа в пол.

На вокзал Юнион в Вашингтоне мы обычно прибывали около полуночи, выехав из Нью-Ривер около шести часов вечера. Поезда в Нью-Йорк всегда были переполнены. Каждый вагон непременно имел техасца или бедняка южанина с банджо и насморочным голосом, а также свою квоту пьяных, отсыпающихся на сиденьях или прямо на полу, бесчувственных, как половые тряпки. Мы переступали через них, прокладывая себе путь в салон-вагон, где собирались пересидеть ночь и отделяющее нас от Нью-Йорка расстояние, пока над лугами Джерси не проползет зеленовато-серый рассвет.

Всю ночь нас сжигало нетерпение, залить которое удавалось только виски.

Мы и есть не могли. В один из таких коротких «залетных» визитов отец отвел меня в известный английский ресторан, расположенный в деловой части города, где подавали рыбу и дичь. Я долго возил по тарелке половинку жареного фазана, но проглотить сумел только маленький кусочек, причем так и не понял, вкусно это или нет. Зато пиво хлебал стакан за стаканом. Этот недоеденный фазан часто вспоминался мне ДВА мя месяцами позже на Гуадалканале, когда живот громко урчал от голода.

Все мы находились в состоянии нетерпеливого ожидания. Мы были взбудоражены и уже не могли расслабиться. Думать, а тем более заниматься самоанализом в те дни было невозможно. Мы редко говорили о войне. Только если это касалось лично нас, но никогда абстрактно. Этика Гитлера, уничтожение евреев, желтая гибель — все это было для обсуждения на страницах газет.

Мы жили ради острых ощущений — но только не ради ощущений, связанных с войной. Нам были жизненно необходимы несущиеся с бешеной скоростью машины, тускло освещенные кафе, выпивка, ускоряющая ток крови по жилам, мягкость щеки и гладкая, шелковая кожа женской ножки.

Ничему не позволялось длиться долго. Все должно было моментально меняться. Нам нужна была действительность, а не возможность в перспективе. Мы не могли оставаться в покое —

только в движении, только в переменах. Мы были как спасающиеся бегством тени, все время куда-то летящие, лишенные телесной оболочки фантомы, обреченные люди, души в аду.

Вскоре 62-часовые увольнения закончились. В середине мая 1942 года я побывал дома в последний раз. Мне предстояло уйти от семьи более чем на три года.

5-й полк морской пехоты отбыл раньше, чем мы. Он ушел ночью. Проснувшись, мы обнаружили пустую площадь, причем чисто убранную, словно там никогда никого и не было (только 35 сотен молодых парней). На месте, где еще вчера было многолюдно, не осталось даже сигаретного окурка или пустой банки из-под пива.

Чисто.

Мой 1-й полк последовал за 5-м через несколько недель. Мы тщательно упаковали личные вещи. Все вещмешки были промаркированы и погружены на грузовики. Свой я увидел, только уже вернувшись после войны в Штаты. С тех пор — за исключением краткой паузы в Австралии — нам предстояло жить совсем другой жизнью и обходиться минимумом, вмещавшимся в ранец размером с футляр для портативной пишущей машинки.

У нас был приказ иметь при себе только оружие и строго ограниченное число личных вещей. Особенно подчеркивалось: никакого спиртного. А днем раньше я сумел выбраться в Джэксонвилл, где опустошил свои карманы, приобретя две пинты виски.

Две плоские бутылки лежали в моем ранце — они приятно подталкивали меня в спину, когда я забирался в поезд. Мы их прикончили той же ночью, когда проводник, приготовив постели, ушел и пульмановский вагон погрузился в темноту. Да-да, мы ехали в пульмановском вагоне и у нас был проводник. Обедали мы в вагоне-ресторане, а ночью проводник снабдил нас сэндвичами с индейкой. Это был замечательный способ ехать на войну, совсем как у русского аристократа в «Воине и мире», который прибыл на фронт в изящной карете, а пока он наблюдал за ходом Бородинского сражения с вершины холма, слуга потчевал его чаем из серебряного самовара.

У нас был забавный проводник. Ему очень нравилось дразнить техасца, недавно прибывшего в наш взвод. Однажды он услышал, как техасец в очередной раз начал хвастаться, и вмешался.

— Эй, — радостно сообщил он, — в вашем Техасе так сухо, что даже кроликам там приходится носить с собой коробочку с ленчем и питьем!

Техасец сразу замолчал, парни, сидящие рядом, засмеялись, и довольный проводник убрался восвояси.

Поезд шел по просторам Америки. Настроение у всех было превосходное, сердца пели от радости. Мы с воодушевлением обсуждали сражение у Мидуэя, которое как раз только что завершилось, и искренне восхищались морскими пехотинцами и летчиками, сумевшими остановить японцев.

Когда же нам надоедали разговоры о войне, мы играли в покер или просто смотрели в окно, следя за проплывающими мимо мирными пейзажами. Для меня, никогда не выезжавшего западнее Питсбурга, все, что я видел за окном, было новым, волнующим и интересным. Это была моя страна, которую я видел впервые. Я очень старался запомнить, пропитаться ею: величественной красотой гор, бескрайностью равнин, богатством полей. Теперь я уже не помню всех чувств, которые тогда мною владели, и очень жалею, что не делал никаких записей. В памяти остались только некоторые детали, так... тени воспоминаний. Помню, я был страшно разочарован, что Миссисипи мы пересекли ночью и я не смог ее как следует разглядеть. Осталось лишь смутное ощущение большого скопления воды. А еще запомнилась нежная красота Озарка, величественные леса, зеленеющие на фойе ярко-голубого неба, Уайт-Ривер, чистая и прямая, как стрела, холм с крестом на вершине... А вот Скалистые горы не произвели впечатления. Куда делось величие? Наверное, мы были слишком близко. Они казались конусами ванильного мороженого, залитыми шоколадом. Зато когда мы оказались выше и смогли оглянуться... вот же он, великолепный запад! И река Колорадо, рвущаяся по ущелью... Поезд упорно карабкался вверх. Мы даже не заметили, как покинули Неваду и начали плавный спуск вниз — в Калифорнию, навстречу морю и солнцу.

Сан-Франциско был окутан туманом, скрывшим теплое солнце. Мы были на берегу, окруженном коричневыми холмами Беркли. Перед нами простиралась огромная бухта, напоминающая водный амфитеатр. В ней играли тюлени.

Мне был двадцать один год. Я видел Золотые Ворота, а вскоре мне предстояло узнать, что там за ними.

Но не очень скоро. Только через десять дней мы вышли за Золотые Ворота. Нас отвели на борт «Джорджа Ф. Элиота». Теперь это был наш корабль. Это было африканское невольничье судно. Мы его ненавидели.

Каждый день нам разрешалось сходить на берег. Мирное путешествие подошло к концу. Оставались только последние дни... часы... Мы отчаянно старались наверстать упущенное. В Сан-Франциско я не видел ничего, кроме кафе и баров. На мою

последнюю просьбу о деньгах отец выслал мне сотню долларов. Поэтому у меня была возможность посещать не только грязные забегаловки, но и приличные заведения. Хотя... какая разница?

Они все слились в памяти в одно, и я помню только музыкальный автомат, снова и снова игравший «Дюжину роз». Как-то раз в китайском квартале меня вышвырнули из кафе — не стоило мне прыгать на сцену к поющим девочкам и тем более орать: «Бу-у-у!»

В ту же ночь я отогнал двух китайцев от морского пехотинца. Ножей я не видел, но они наверняка у них были, потому что рубашка парня покраснела от крови. Он лежал прямо в дверях, загораживая вход в кафе. Я заорал на хозяина, который невозмутимо наблюдал за происходящим, но после моего вмешательства все-таки переместился к телефону и вызвал полицию. Убедившись в этом, я ушел.

В общем, последние десять дней были похожи друг на друга и могли бы быть описаны всего двумя словами — похоть и аппетит.

В конце концов я насытился. Я чувствовал себя заезженной клячей. Сан-Франциско кончился для меня той ночью, когда я ехал в такси с Челюстью — веснушчатым «крекером»[5] из Джорджии, имя которого характеризовало также его привычку бесконечно и до крайности нудно рассуждать о гражданской войне. Челюсть-Зануда выбрался из машины, охранник распахнул ворота, я уставился в глаза водителю, положил в протянутую ладонь три цента — последние деньги, которые у нас оставались, — и сказал:

— Купи себе самую лучшую газету, какая только есть в этом городишке. — С этими словами я проскользнул за ворота и, развив максимально возможную скорость, понесся к своему кораблю. Одна из монет, брошенных таксистом мне вслед, попала в плечо.

* * *

Наш корабль вышел в море пасмурным июньским утром 1942 года. Его неповоротливая серая туша прошла под Золотыми Воротами. Я стоял на корме и смотрел на берег. Эмигрант берет с собой горсть родной земли. Я хотел увезти с собой память.

Высоко над нами, на мосту, стоял охранник. Он долго махал нам вслед. Как же я любил его за это!

Глава 3. Воин

1

На берегах острова Гуадалканал виднелись огни.

Это не были зарева гигантских пожаров, и мы почувствовали себя изрядно разочарованными. Выбравшись из трюмов, мы ожидали увидеть весь мир в огне. Ведь обстрел был воистину яростным. Наша армада, во всяком случае мы так считали, была способна разнести Гуадалканал на куски.

Но хмурым серым утром 7 августа 1942 года на берегу только в нескольких местах виднелось пламя. Издалека казалось, что горят городские свалки, освещая наш путь в историю.

Мы чувствовали тревогу, но испуганными не были. Я все еще был зол из-за своей стычки с персоналом матросской столовой. Я слишком долго ел выданные на завтрак бобы, а когда наконец закончил, обнаружил, что моряки с ожесточением моют камбуз. Там можно было организовать операционную для раненых на берегу. А старшина как раз закрывал ящик с апельсинами, которые раздавались как своеобразный подарок солдатам. идущим в бой. И тут я вошел и потребовал свою долю. Он отказался снова открывать ящик. И мы принялись орать друг на друга. Я хотел получить этот апельсин сильнее, чем генерал Вандергрифт Гуадалканал. Моряк отказался подчиниться и пригрозил, вот уж глупость так глупость, доложит), о моем поведении командованию. Доложить обо мне! Обо мне, готовящемся пролить кровь среди этих проклятых кокосовых пальм! Сначала я хотел проткнуть его штыком, но передумал. Я просто отшвырнул его в сторону, сорвал с ящика крышку, схватил свой вожделенный апельсин и, преисполненный ощущения победы, побежал к товарищам, не обращая внимания на возмущенные крики за спиной.

Я все еще полыхал от злости, как береговая часть Гуадалканала, когда Старина Гаппи крикнул:

— Первый взвод, к борту! Сбросить сети!

«Джордж Ф. Элиот» плавно переваливался на волнах. Сети раскачивались, постукивая по металлической обшивке борта. Дуло моей винтовки задело шлем и сбило его мне на глаза. А далеко внизу виднелись «хиггинсы», то взлетавшие на гребень волны, то проваливающиеся во впадины. Они поджидали нас.

Цепляясь за сеть, я все же успевал оглядываться по сторонам. Пролив Силарк был забит нашими кораблями. Слева, то есть к

западу от меня, возвышался остров Саво. Передо мной, к северу, частично скрытые громадой «Элиота», располагались остров Флорида и малыш Тулаги. Я слышал звуки орудийного огня. За мной, иными словами южнее, находился Гуадалканал.

Не доходя метра до болтающихся на воде «хиггинсов», сеть закончилась. Далее следовало прыгать. Мы все были чувствительно утяжелены двадцатью с лишним килограммами груза. Времени на нерешительность не было, потому что спускающиеся следом за нами уже наступали на пальцы. Итак — прыжок, надеясь, что в этот самый момент очередная волна не отбросит «хиггинс» в сторону, оставив нам для приземления лишь бурлящую водную поверхность. Но все обошлось.

Теперь я хорошо видел волны, бьющиеся о борта кораблей по соседству. Катера приближались, заполнялись солдатами и снова отходили от большого «материнского» корабля, чтобы присоединиться к бесчисленному множеству своих сородичей, которые кружили по воде, словно гигантские резвящиеся водяные жуки.

— Все на высадку!

Теперь я видел, что в кажущемся на первый взгляд беспорядочном движении катеров имеется смысл: они выстраиваются в линию для атаки. Я скорчился под планширом и почувствовал, как катер постепенно поворачивает. Теперь его нос был направлен в сторону берега. Палуба подо мной слегка вибрировала.

Атака началась.

И я снова начал молиться. Я долго молился накануне ночью, прося Господа и Пресвятую Деву позаботиться о моей семье и товарищах, если меня убьют. В тщеславии юности я был уверен, что умру, и спешил переложить свои дела на Всевышнего, как старший брат, который похлопывает по спине младшего и говорит: «Ну, Джон, теперь ты главный мужчина в доме».

Правда, мои молитвы были довольно-таки беспорядочными. Я не мог отдаться им всей душой, поскольку думал только о береге, на котором нам предстояло высадиться. Перед нами шли другие катера с морскими пехотинцами. Я представил, как веду огонь под прикрытием их мертвых тел, как выстраиваю защитную стену из разорванной, кровоточащей плоти. Я вполне наглядно представил себе кровавую бойню среди кокосовых пальм и больше не молился. Теперь я был больше похож на зверька: ушки на макушке, чтобы вовремя услышать опасный шум, тело напряжено в готовности немедленно отпрыгнуть в сторону.

Катер уткнулся в берег, качнулся и остановился. Мгновение — и я уже выпрыгнул на берег. Ярко-голубое небо

выгнулось в гигантскую арку. Огромные пальмовые ветви плавно качались на ветру. Ничего более красивого мне еще не приходилось видеть.

Дальше все слилось, как в тумане. Последовал некий калейдоскоп из формы, цвета и движения. Я обнаружил себя лежащим на песке среди высоких кокосовых пальм и понял, что частично промок. Я продвинулся в глубь острова на 20 метров.

Боя пока не было.

Японцы бежали. Мы лежали, готовые ринуться в сражение, но у нас не было противника. Прошло несколько мгновений, и напряжение ослабло. Мы стали оглядываться по сторонам, обозревать экзотическую окружающую обстановку, вскоре послышались голоса, смешки.

— Эй, лейтенант, — крикнул Здоровяк, — здесь можно неплохо подкрепиться. Я согласен так воевать.

А в это время сержант Узколицый рявкнул на кого-то, открывшего кокосовый орех:

— Смотри не отравись! Ты разве не знаешь, что здесь все может быть отравлено!

Все засмеялись. Узколицый все без исключения понимал до глупости буквально. Его проинструктировали, что японцы имеют обыкновение устраивать ловушки и могут отравлять запасы воды, поэтому у него сразу же и кокосы стали отравленными. Никто даже не потрудился указать тугодуму на очевидную сложность отравления миллионов кокосов на Гуадалканале. Мы просто расхохотались и продолжали уничтожать кокосы — раскалывать скорлупу и выпивать сладкое кокосовое молочко. Узколицый мог только бросать на всех сердитые взгляды — в этом он был мастер.

Откуда-то издалека донеслась команда:

— Выступаем!

Мы построились по отделениям и пошли.

Мы оставили свою невинность на Ред-Бич. Отныне мы стали другими. Еще минут десять мы были охвачены блаженным чувством радости бытия, невыразимым облегчением. Как же — мы высадились на берег и не встретили никакого противника! Когда же мы покинули белую бескрайность пляжа и вступили под сень кокосовой рощи, сзади загрохотали орудия противовоздушной обороны. Японцы были здесь. Шла война. И мы уже были не такими, как прежде.

* * *

Мы тащились по купающимся в солнечном тепле полянам,

заросшим травой купай. Мы форсировали реки. Потом мы снова пересекали их в обратном направлении. Мы взбирались на холмы. Мы продирались сквозь джунгли, прорубая себе путь с помощью мачете или следуя по узким, петляющим тропинкам. Мы уже давно не понимали, куда идем.

На привалах мы видели склонившихся над картой офицеров. Ах, что это была за карта! На ней был виден Ред-Бич — это было правильно, река Тииару — в действительности ее не было, и бесконечные просторы кокосовых зарослей, помеченные на карте значком, больше похожим на ирис, чем на кокосовую пальму.

Карта была неправильная карта, и она с самого начала вела нас к беде.

Офицеры тревожились.

Они знали, что мы заблудились.

— Эй, лейтенант, куда мы направляемся?

— К Грасси-Нолл.

— А где это?

— Впереди, там, где японцы.

Этот разговор вели самые наивные из нас. Грасси-Нолл... впереди... там японцы.. Индейцы и ковбои, полицейские и воры, прятки — мы играли в игру. Даже командир дивизии спокойно объявил, что ужинать будет на вершине Грасси-Нолл.

— Сверим часы, джентльмены, — наступление началось.

Грасси-Нолл так Грасси-Нолл.

Нам надо было многому научиться, у нас было пять месяцев, чтобы постичь всю эту науку, но до Грасси-Нолл доберутся лишь немногие.

Самый первый день начался с разочарования. И с чувства одиночества. Звуки боя, доносившиеся сзади, были зловещими, лица офицеров — встревоженными. Японцы замыкали кольцо, а мы, дураки несчастные, думали, что преследуем их.

Наша одежда промокла от пота. Движение по заросшим кунаи участкам довело до полного изнеможения. Теперь же, когда мы вошли во влажную прохладу тропического леса, пропитавшаяся потом одежда облепила разгоряченные тела, ухватила их прохладной цепкостью.

— Эй; Счастливчик, — позвал Здоровяк, — может, облегчишь свою ношу на кварту «Калверта»? Остановись и дай нам по глотку.

Но все мы хотели вовсе не виски. Впервые в жизни я испытывал настоящую жажду. Жара, а вслед за ней напитанная влагой, расслабляющая атмосфера леса, казалось, полностью иссушили мое тело. У меня была вода в фляжке, но я боялся ее трогать. Никто же не знает, когда появится возможность снова ее

наполнить. Мы шли уже три часа, а источников пресной воды пока не видели.

Еще несколько шагов — и перед нами совершенно неожиданно появилась река, спокойно несущая свои воды к морю.

Не обращая внимания на предостерегающие окрики, мы бросились к воде. Она растворила нас в себе, эта река. Мы все стали одной вопящей, плещущейся, фыркающей массой, и даже лейтенант Плющ принял участие в этом вопиющем нарушении воинской дисциплины. Должно быть, мы являли собой зрелище, исключительно приятное глазу любого японца. Узкоглазые явно упустили свой шанс организовать массовую бойню.

Кое-кто ложился на спину прямо в струящийся поток, носящий лирическое имя Илу, открывал рот, позволяя влаге течь внутрь себя, как в водосток. Лейтенант Плющ жадно глотал воду, зачерпывая ее каской, периодически бормоча:

— Не пить! Она может быть отравлена. Не пейте, пока вы не растворили очищающие таблетки.

С ним никто не спорил, продолжая предаваться разгульной оргии утоления жажды: пить, нить, пить! Мы стонали в томлении, как любовники, когда вода, эта мягкая, прохладная, восхитительная вода, слизывала соленый пот с наших тел.

Освежившись и вобрав в себя максимальное количество влаги, мы возобновили движение.

Наша одежда была влажной, но теперь это была чистая влажность воды. В тропическом лесу не влажным быть нельзя, но вода все-таки лучше, чем соленый пот.

Ночь подкралась незаметно и застала нас еще на марше. Мы стали поспешно организовывать оборону. Первый день прошел без особых происшествий, хотя одного человека мы потеряли. Он шел крайним с фланга и просто исчез.

Пока мы устанавливали пулеметы на вершине холма, пошел дождь. Он продолжал идти и когда мы сидели, молча и скучно пережевывая сухой паек, извлеченный каждым из вещмешка. Каждый был сам по себе, но все вместе совершали опасное плавание сквозь черноту ночи.

Эта ночь могла — должна была стать ночью ужаса. Мы были озадачены, сбиты с толку. Нам было холодно и мокро. Мы не знали, что нас окружает, и боялись этого. Мы ничего не знали о противнике и боялись его. Мы были одни, а вокруг были только джунгли, которые жили неведомой нам жизнью, наполненной звуками и движением, которые вполне могли означать, что враг подкрадывается все ближе и ближе.

Но мы относились ко всему этому без эмоций, как ошеломленный боксер с безразличием ожидает нокаутирующего

удара, слишком утомленный предыдущей схваткой, чтобы двигаться, слишком отрешенный, чтобы беспокоиться. Мы чувствовали себя примерно так же. Для первого дня нам уже было всего достаточно.

Один раз мы услышали пальбу. Треск выстрелов разорвал тишину ночи. Мы принялись напряженно всматриваться в темноту. Но выстрелы прекратились, и темнота стала такой же, какой была раньше, — тихой. С деревьев капало. Что-то шептали джунгли.

Никого.

Утром мы узнали, чем закончилась ночная стрельба. Был убит один санитар. Причем его застрелил свой же солдат.

Когда часовой потребовал пароль у санитара, который, справив нужду, возвращался обратно, тот от страха слегка переврал слово «Лилипутия» и был убит. Несчастный малый встретился с вечностью из-за нескольких переставленных согласных.

Никогда не забуду лица хоронивших его друзей. В предрассветной тишине звуки, издаваемые их лопатами, напоминали мышиную возню.

Рассвет еще не наступил. Лейтенант Плющ попросил у командира роты разрешения курить.

— Я не знаю, достаточно ли рассвело, — ответил капитан. — Отойдите вон туда за дерево и зажгите спичку, а я посмотрю.

Лейтенант так и сделал. Когда он зажег спичку, мы смогли без труда разглядеть маленький огонек.

— Ну что, капитан?

— Нет. — Капитан покачал головой. — Еще слишком темно.

Я взглянул на капитана. На его лице отчетливо читалось беспокойство. Я был крайне удивлен. Передо мной был вовсе не отважный воин, ветеран сотни сражений, передо мной был обычный гражданский человек, как я сам. И этот человек вряд ли был более уверен, чем торопыга часовой, поспешивший нажать на спуск и застреливший санитара. Капитан был намного старше меня, но лежавшая на его плечах ответственность и неведомый лик предстоящей войны, несомненно, страшили его.

Он думал, что крошечные огоньки горящих спичек могут выдать наше местонахождение противнику, словно мы собирались всю ночь жечь костры. А еще через минуту стало совсем светло, все закурили, и капитан тоже.

Мы шли весь день. Грасси-Нолл все еще оставался где-то впереди. Японцы тоже. Мы медленно взбирались по склонам холмов — осторожно, двигаясь боком, словно сухопутные крабы или лыжники, после чего бодро скатывались по

противоположным склонам. Пулеметчики уже устали ругаться, проклиная тяжеленные и неудобные треноги, так и норовившие ударить по голове. Местность на Гуадалканале, по нашим наблюдениям, состояла преимущественно из стали, на которой коварные демоны джунглей расстелили тонкий слой предательского ила. Мы, казалось уже навсегда, сбили ноги, пытаясь устоять на этих нехоженых холмистых тропах, руки сами по себе сжимались, словно хватаясь за воздух. Наше продвижение вперед с регулярностью, достойной лучшего применения, сопровождалось характерными специфическими звуками, повествующими о том, что поскользнулся и грохнулся оземь очередной пулеметчик с полным снаряжением.

Мы наступали на противника с ловкостью неумелых циркачей. Появись во влажных сумеречных джунглях враг, он расправился бы с нами без особого труда. Японцы разделались бы с нами так же легко, как наши славные предки со своими врагами.

Противника мы не видели. Тот день был скучным и не запомнился ничем. У меня нет повода вспоминать его ни с радостью, ни с сожалением.

А ночь я не забуду никогда.

Я проснулся около полуночи и увидел небо в огне. Именно так я в детстве представлял приход Судного дня. Все вокруг было залито красным светом, словно испускаемым глазами сатаны. Представьте себе бесчисленное множество красных огней светофоров, просвечивающих сквозь пелену дождя, и вы поймете, каким я увидел мир, когда проснулся.

Свет лился от осветительных бомб противника. Они висели над крышей джунглей, слегка покачиваясь на парашютах, разбрасывая вокруг красноватый свет. Над ними, невидимые в вышине, гудели моторы. Позже мы узнали, что это были самолеты японской морской авиации. Мы думали, что они охотятся за нами.

В действительности они были глазами мощной вражеской военно-морской армады, которая вошла в пролив Силарк. Вскоре мы услышали звуки канонады, земля под нашими ногами задрожала. Вдали виднелись красно-белые вспышки, доносился грохот взрывов.

Японцы добывали свою самую замечательную победу в истории войн на море. Это было сражение у острова Саво, которое также часто называют «Битвой четырех сидящих уток». Они потопили три американских крейсера — «Куинси», «Венсени» и «Астория», австралийский крейсер «Канберра» и повредили американский крейсер и эсминец.

Осветительные бомбы предназначались именно для этого сражения. В какой-то момент японцы включили прожектора. В общем, в иллюминации недостатка не было.

* * *

Выход из тропического леса занял у нас меньше суток, хотя забирались в него мы двое суток. Обратную дорогу мы знали. Мы не знали дорогу туда.

Когда мы вышли из леса и стали спускаться по скользким склонам на поляны с травой кунаи, нас ожидали транспортеры-амфибии с пищей и водой. Хохотун шел как раз передо мной. Он поскользнулся и съехал по последнему отрезку склона, причем паскудная тренога ощутимо заехала ему по голове.

Он встал и ударил ее. Потом выругался. Охваченный злобой, он ругался смачно, со вкусом.

Наклонившись, он схватил треногу, словно она была живым существом, а он держал ее за горло. Его руки напряглись, будто он старался задушить ее, тяжелую, твердую штуковину, в которой в тот момент сконцентрировались все неприятности — разочарование, голод, жажда, влажность и волнения последних двух дней. Затем он отбросил ее прочь. Тренога проплыла по воздуху и приземлилась в воинственно торчащий клок купай.

Хохотун сел и закурил. А с холма съезжали другие солдаты — перемазанные с ног до головы, измученные, из последних сил волокущие тяжелую ношу и мало напоминающие бравых морских пехотинцев. Свежая вода и сухой паек живо поправили дело. Наполнив свои фляжки и животы и вдоволь накурившись, мы снова были готовы к великим свершениям.

К берегу мы вышли в сумерках. Мы увидели искореженные и дымящиеся обломки кораблей и абсолютно пустое водное пространство между Гуадалканалом и островом Флорида.

Наш флот ушел.

Ушел.

Мы остались. По берегу шли новые и новые колонны людей. Их шагов по песку почти не было слышно. Солнце уже скрылось за лесом. На землю опускалась ночь.

На фоне сгущающейся темноты были отчетливо видны силуэты людей. В полумраке они, казалось, лишились одного измерения и стали тенями. Эти уставшие люди двигались, словно скованные невидимой цепью. В них не было души, они шли автоматически, как зомби. За ними низко, над самым горизонтом виднелся скучный свет отраженного солнца. Отчаяние сменила

безысходность.

Я был рад, когда стало совсем темно. Моя рота молча шла по берегу.

Мы заняли оборонительную позицию. Наспех оборудовали огневые точки и повернули стволы в сторону моря. Выставив часовых, мы легли спать. Приятно засыпать под монотонный, убаюкивающий звук бьющегося о берег прибоя.

На следующий день нас бомбили. Но это было не страшно, и происшедшее не шло ни в какое сравнение с тем, что нас еще ожидало.

— Тревога! — крикнул кто-то, и мы услышали приближающийся звук моторов.

Они были очень высоко — около дюжины бомбардировщиков. Они проследовали над нашими головами идеальным строем в виде буквы V и сбросили свой груз над Хендерсои-Филд. А мы кричали и что-то отплясывали, выражая таким образом свой восторг и презрение к врагу. Мы были глупцами. Те бомбы предназначались не нам, а нашим товарищам на аэродромах. Мы слышали взрывы и чувствовали, как содрогается под ногами земля, но оставались в безопасности и не могли сдержать детскую радость.

Наша глупость была рождена ложным ощущением безопасности. Мы смеялись и грозили кулаками улетающим бомбардировщикам, как будто приняли удар на себя и заставили их отступить.

Да, нам предстояло многому научиться.

А потом мы нашли японский склад.

Он был расположен недалеко от места нашего расположения на берегу. Там были ящики с отличным японским пивом, бутылки с куда более крепкими напитками, аккуратно упакованные в соломенные «юбочки». Вскоре грязная дорога, параллельная береговой линии, стала Восточной магистралью, по которой сновали ухмыляющиеся морские пехотинцы с приятной поклажей.

На складе нашлось и продовольствие — мука, рис, а также маленькие банки с рыбьими головами — этим ужасным, на мой взгляд, японским деликатесом. Но продовольствием никто не интересовался.

Между прочим, каждое отделение само занималось своим пропитанием. У нас имелись мука, консервы, сахар и кофе — все это было взято из штабелей продовольствия, поспешно выгруженных с транспортов. Наш корабль загорелся в тот день, когда мы высадились на берег, — горящий самолет рухнул прямо на палубу. Батальонной кухни у нас не было, а маленькие кухни отделений разместились по всему берегу. Снабжение было самым

лучшим, сюда доставляли все, что удавалось где-нибудь стащить.

Учитывая изложенное выше, а также количество сакэ и пива, мы прожили восхитительную неделю. А потом спиртное подошло к концу, а майор взял под контроль все, что касалось продовольствия.

Какая это была замечательная неделя! Очень вкусный способ воевать.

Хохотун, Здоровяк, Бегун и я закопали наши запасы спиртных напитков глубоко в песок, туда, где море лизало его своим длинным, влажным языком и где было прохладно. Это был наш неприкосновенный запас, и никто кроме нас не мог к нему прикасаться. Так что мы четверо выпили почти все, не делясь ни с кем. Лишь очень редко выпитое пробуждало в нас щедрость. Тогда нашего полку прибывало.

Мы сидели и болтали обо всем на свете. Разлить сакэ из больших тяжелых бутылок по кружкам было нелегко, поэтому мы передавали бутыль друг другу, по очереди отхлебывая из нее, как индейцы, курящие трубку мира. Но такой метод употребления спиртного требовал определенной ловкости. Первым делом следовало зажать большую, неудобную бутыль между коленями, затем наклониться к ней так, чтобы обхватить губами горлышко бутылки, после чего оставалось только перекатиться на спину, позволив прохладной белой влаге течь в горло.

Как это было здорово!

Не стану утверждать, что я имел тонкий вкус, но каждый глоток сакэ сопровождался ни с чем не сравнимыми ощущениями. Я и не знал, что так приятно пить вино врага.

Напивались мы изрядно.

После одной из таких посиделок я, не слишком твердо держась на ногах, удалился в спальное помещение, иными словами, отошел на пару шагов от сидевших кружком парней и рухнул в небольшое углубление, которое заранее выкопал в земле. Высоко надо мной вяло шевелились пальмовые ветви, создавая впечатление, что теплая звездная тропическая ночь едва слышно дышит. Я уснул. А проснулся, почувствовав, что где-то рядом назойливо жужжат и свистят какие-то крупные насекомые. Через несколько минут я понял, что это пули, перевернулся на другой бок и снова заснул, весьма огорченный, что японцы все-таки нас нашли.

Такова была сила сакэ.

Утром причина стрельбы разъяснилась. Оказывается, огонь вели две роты 5-го полка, приняв друг друга за противника.

— Торопыги, — заключил рассказчик, и я ему сразу и безоговорочно поверил. Ему не требовался авторитет. Он владел

теорией — единственным авторитетом, который был нужен на Гуадалканале.

Утром очень хорошо шло пиво. Оно было полно прохладой ночи и темнотой моря под песками.

У Пня пиво не задержалось. Не то чтобы он много пил, просто он пил его слишком быстро, хотя, возможно, это одно и то же. Он с трудом поднялся на ноги, вышел из тени и рухнул в тот самый момент, когда солнце коснулось его головы. Мы заботливо укрыли его тело пальмовыми листьями, а на грудь поставили пустую бутылку от сакэ. В таком виде он очень смахивал на какую-то синтоистскую святыню.

Затем Здоровяк внезапно решил, что он одет совершенно неподобающим образом. На нем не было штанов. Недостаток столь важного предмета одежды, даже среди людей, не слишком озабоченных требованиями приличий, казалось, причинил ему самую настоящую боль. Он с трудом поднялся на ноги, отыскал штаны и, пошатываясь, побрел с ними к воде.

— Эй, Здоровяк, куда ты направился?

— Хочу надеть штаны.

— В воде, что ли?

Здоровяк глупо ухмыльнулся, продемонстрировав набор больших крепких зубов.

— Мне нравится надевать штаны в океане. Он вел себя воистину неподражаемо! Всякий раз, когда волна откатывалась с берега, он засовывал левую ногу в штанину. Затем с преувеличенной осторожностью пьяного он начинал тянуть штаны вверх. Пока он аккуратно балансировал на правой ноге, накатывала очередная волна и шлепала его по розовому заду.

Каждый раз он с большим достоинством поднимался и повторял процедуру снова. Волна весело накатывала и опять сбивала его на песок. Один или два раза ему удавалось несколько секунд пробалансировать на этой коварной правой ноге и с неуверенной улыбкой оглянуться назад, словно чтобы посмотреть, там ли его старый приятель — волна. Она всегда оказывалась на месте. Такова была сила японского пива.

* * *

После первого дня нас бомбили регулярно, минимум один, а иногда и несколько раз в день. В проливе начали появляться корабли противника. Игнорируя возможный отпор с нашей стороны, они приближались к берегу и обстреливали нас. Японцы явно были настроены серьезно.

Чтобы защитить аэродром Хеидерсоп-Филд от противника, всерьез вознамерившегося драться за Гуадалканал, нужно было организовать специальные ночные дозоры. Первый день, когда обеспечить людей для дозоров было приказано нашей роте, стал концом пьянства и лодырничества.

В тот день у нас закончилось спиртное. Я был среди тех, кто отправился в глубь острова через кокосовые рощи и заросли купай в точку, где мы должны были защищать Хеидерсоп-Филд.

Прямо передо мной шагал Беззадый. Это был высокий и шумный парень из Мичигана, который обладал непопятным свойством нестерпимо раздражать любого из роты, кто шел следом за ним. Странность заключалась в том, что зада, казалось, у него действительно не было. Его бедра были такими длинными и плоскими, что патронташ все время грозил съехать с пояса прямо на лодыжки. Там не было никакого изгиба костей или плоти, чтобы его задержать. Беззадый шествовал, не сгибая коленей своих ненормально длинных и тонких, как спички, ног, а больше всего раздражало то, что в том месте, где его штаны обязаны были оттопыриваться, обтягивая выпуклости ягодиц, они вроде бы даже вваливались внутрь. А если к этому добавить тонкий, даже, пожалуй, писклявый девичий голосок, можно себе представить, почему тот, кому повезло оказаться в строю за этим человеком, очень быстро приходил в неистовство. Лично мне с превеликим трудом удавалось сдерживаться и не потыкать Беззадого штыком в то место, где у нормального человека должен был находиться зад.

В тот день мы, примкнув штыки, шли через купай к лесу, за который только что упало круглое красное солнце. Капрал Гладколицый шагал позади Беззадого. Гладколицый был пьян — допил остатки сакэ. Он шел слегка покачиваясь и казался вполне довольным жизнью, когда неожиданно опустил винтовку, с воплем бросился на Беззадого и ткнул его штыком в ту часть, которая находится ниже спины.

В первый момент мы решили, что Гладколицый его убил, потому что Беззадый испустил крик, который может быть только криком умирающего человека. К счастью для солдата, ограниченные размеры мишени не позволили пьяному капралу попасть точно в цель. Штык проткнул штаны, даже не поцарапав плоть. Несчастный пострадал вовсе не от острой поверхности штыка, а от удара твердым дулом винтовки.

Гладколицему происшедшее показалось столь забавным, что ему пришлось даже сесть, чтобы вволю насмеяться. Когда же он снова встал, подала голос артиллерийская батарея, стоящая где-то в джунглях. Наши 75-миллиметровые гаубицы вели огонь по

неизвестной нам цели. Собственно говоря, стреляли они довольно часто, и никогда нельзя было сказать точно, просто ли они простреливают территорию или ведут огонь по врагу. Но неожиданно раздававшийся грохот полевых батарей всегда здорово действовал на нервы, даже если точно известно, что орудия свои.

Гладколицый обнажил свои маленькие ровные зубки, со звериным рыком повернул свою винтовку в сторону стрельбы и открыл огонь. Это стало концом карьеры капрала Гладколицего на Гуадалканале. Его увели под охраной.

Но он все-таки решил оставить последнее слово за собой. Когда его посадили на заднее сиденье капитанского джипа, он поднялся на ноги и с большим достоинством заявил:

— Я не поеду в машине «капитанского звания»!

В этот самый момент джип прыгнул вперед, и Гладколицего выбросило из машины. Совершив замысловатый кульбит, он приземлился, но неудачно — сломал лодыжку, — и был отправлен в госпиталь. В ту же ночь на аэродроме приземлился один из очень редких транспортов и его эвакуировали на Новую Зеландию. Там его вылечили, немного подержали на гауптвахте и в конечном итоге отпустили попастись среди роскоши Окленда. Сломанная лодыжка Гладколицего хотя и не была раной, полученной в честном бою, но все же стала самой первой из тех «легких ран», столь желанных для всех ветеранов. Лишние дырки и разрезы на теле выводили человека из боев и возвращали к многочисленным благам цивилизации.

Было еще светло, когда мы покинули аэродром и вступили в мрак джунглей. Словно с шумной освещенной улицы входишь в торжественный полумрак церкви, только не пахнет ладаном и нет чувства близости к святыням.

Нам было сказано рассредоточиться с дистанцией в 10 метров. Я не знаю, сколько человек было в цепи, полагаю, около ста, из них порядка тридцати из нашей роты. Такие вещи мы никогда не знали точно. Мы знали только, что перед нами темные джунгли, где, вероятно, скрывается враг, а за нами аэродром, от которого зависит военная ситуация на Гуадалканале.

Мы принялись рыть одиночные окопы в грунте джунглей. Это было все равно что копаться в компостной куче, только которую заложили десять тысяч лет назад. Под верхним слоем гнили лежал густой темный суглинок. Мы уже почти закончили работу, когда на землю внезапно упала ночь, словно гигантская черная тень опустилась с крыши джунглей на землю. Мы скользнули в свои «лисьи норы» и затаились. Оставалось только ждать.

Это была темнота без времени. Это была непроглядная тьма.

Справа и слева от меня высилось нечто огромное, бесформенное и безобразное, порожденное моим воображением. Слава богу, света не было, поэтому я не мог это видеть. Я вообще ничего не видел, но не осмеливался закрыть глаза, чтобы темнота не подкралась вплотную и не удушила меня. Я мог только слушать. Я весь стал ушами и прислушивался к малейшим признакам жизни вокруг меня. Я слышал, как собирается, сгущается темнота, которая со временем начинала казаться живой.

Противник находился повсюду. Я слышал, как японцы двигались вокруг меня, звали меня по имени. Приоткрыв рот, я сидел в окопе, расположенном среди корней гигантского дерева, и чувствовал, что схожу с ума. До наступления полной темноты я не удосужился взглянуть вверх и как следует рассмотреть крону дерева, и теперь мне казалось, что на нем больше японцев, чем листьев. Весь мир ополчился против меня, и вскоре даже собственное тело оказалось предателем. Сначала одна моя нога превратилась в подкрадывающегося японца, а потом и другая. За ними последовали руки, а вскоре и голова.

Мое сердце осталось в одиночестве. Это был я. Я был моим сердцем.

Оно лежало и подрагивало. Я дрожал в наполненной вопью гниения яме, а вокруг метались уродливые создания, порождения тьмы, объединившие усилия, чтобы захватить мое сердце.

Как долго это продолжалось? Вечность. Времени не было. Время растворилось в черной пустоте. Была только пустота, и это было Нечто, это было единственное существо, дух, сознание.

День наступил очень быстро, словно в темном театральном зале зажгли свет. Пришел рассвет, и я снова стал самим собой. Теперь я мог видеть силуэты товарищей справа и слева от меня, и с удивлением обнаружил, что дерево, под которым я расположился, вовсе не угрожающее, а, напротив, вполне мирное и дружелюбное.

Теперь я знаю, зачем люди жгут костры.

* * *

Назойливость, требовательность и укоры — вот что характеризовало поведение майора, когда он ехал на своем джипе через кокосовую рощу, останавливаясь у каждой «полевой кухни» отделений, чтобы разобраться с провиантом. Издалека он был похож на командира скаутов, который распекает своих подчиненных, съевших ленч еще за завтраком.

Путешествие майора означало конец кормежке в отделениях.

Наш побег от батальонной власти был пресечен, и был организован батальонный «камбуз». Но майор обнаружил очень мало продовольственных запасов, которые можно было сложить в пирамидальную палатку, специально для этого возведенную в глубине острова в 200 метрах от берега. Все, что можно, было уже съедено, и нам предстояла диета, состоящая преимущественно из одного риса. Провиант принадлежал противнику, так же как и деревянные чашки, из которых мы ели. Мы их предпочитали собственным мискам с их неприятнейшей особенностью придавать любой пище металлический вкус. Мы съедали по чашке риса на завтрак и на ужин. Как-то раз один из морпехов пожаловался доктору на то, что в рисе появились черви.

— Они уже мертвые, — рассмеялся врач, — и не могут причинить вам вреда. Ешьте спокойно и радуйтесь, что вам дают свежее мясо.

Он шутил и в то же время был абсолютно серьезен. Никто не протестовал. И все решили, что у доктора великолепное чувство юмора.

На следующий день после начала нашей рисовой диеты чрезвычайная взыскательность майора стала понятной. Нам было приказано перейти на новые позиции на западном берегу реки Тииару. Нам было приказано поспешить.

Со дня на день ожидали появления противника.

2

Река Тинару выглядела зеленой и зловещей. Она ползла по плоской равнине, как ядовитая змея. Она называлась рекой, хотя в действительности таковой не являлась. Как и большинство водных потоков на островах Океании, она была не более чем ручьем — только метров 30 шириной.

Пожалуй, она и ручьем не была, потому что текла далеко не всегда и не на всем своем протяжении и редко добиралась до конечной точки — до моря. Там, где она впадала в Айрои-Боттом-Бей, шла песчаная коса шириной метров 40. Ширина косы варьировалась в зависимости от приливно-отливных течений; иногда ветры и течения заставляли уровень реки подняться, и она переползала через косу и попадала в море.

Обычно Типару представляла собой стоячее болото, на поверхности которого плавали нечистоты и какая-то мерзкая растительность — зловещая зелень, как я уже говорил. Если существуют речные божества, то Типару покровительствовал какой-то очень мрачный, злобный божок.

Наши два взвода, в одном пулеметчиком был Джентльмен, а в другом — Хохотун (а я был его помощником), заняли позиции примерно в 300 метрах вверх по течению от песчаной косы. Окапываясь, мы имели возможность наблюдать за той частью косы, которая считалась вражеской. Дело в том, что Тинару была линией фронта. С нашей стороны, на западном берегу, сосредоточились позиции морских пехотинцев. *На* другом берегу — ничейная земля, кокосовые рощи, через которые должны были пройти вражеские отряды, атакуя нас.

Японцам придется форсировать реку перед нашими позициями или двигаться по песчаной косе слева от нас, которая хорошо охранялась нашими бойцами, в помощь которым были выделены пулеметы и колючая проволока. Еще они могли попытаться пройти с правого фланга, метрах в 100 к югу от нас, прежде чем повернуть к самому узкому участку Тииару, где был подвесной деревянный мостик.

Огневая точка для пулемета Джентльмена была выбрана исключительно удачно: оттуда прекрасно простреливалась кокосовая роща на другом берегу. Мы установили его первым, оставив пулемет Хохотуна и мой в 20 метрах вниз по течению, под защитой одного ряда колючей проволоки, протянутой по крутому берегу реки. Мы решили установить его на следующий день. Пулеметное гнездо Джентльмена вышло широким и глубоким — яма три на три метра, глубиной 1,7. Мы хотели, чтобы пулеметчик мог стоять в процессе ведения огня, и такая яма была хорошим укрытием от бомб.

Мы работали как проклятые — голые по пояс, мы, тем не менее, отчаянно потели — и все равно не сумели закончить земляные работы в первый день. Когда наступила ночь, была в основном закончена выемка грунта и сделан фундамент под пулемет. На следующий день нам предстояло соорудить крышу из бревен.

В таком наполовину законченном фортификационном сооружении мы чувствовали себя незащищенными, а значит, и неуверенными. В темноте кучи выброшенной нами земли казались какими-то особенно зловещими.

Но мы еще не знали настоящих сражений, их шквальной внезапности, поэтому, сидя на только что насыпанных холмиках мягкой теплой земли и старательно пряча тлеющие огоньки японских сигарет, мы не испытывали никаких дурных предчувствий. Просто сидели, курили и негромко переговаривались. Нас беспокоила только подступающая со всех сторон тьма — это чувство возвращалось каждую ночь и исчезало на рассвете.

Спать никто не ложился. На темном небе появились звезды, и этого оказалось достаточно, чтобы все остались на ногах. Зачем терять время такой светлой ночью!

Неожиданно в реке справа от нас вверх по течению появилась пульсирующая буква V. Казалось, она движется вниз по течению. В нижней точке V находились два маленьких, круглых, расположенных друг около друга зеленоватых огонька.

Челюсть-Зануда присвистнул и разрядил свою винтовку в это нечто. Справа от нас началась канонада. Это по букве V вели огонь морпехи роты G. Пули звучно шлепались по воде. Странная буква V исчезла.

Звезды скрылись, ночь снова стала непроглядно черной. Люди стали готовиться ко сну, заворачивались в плащи и укладывались на землю в нескольких метрах от ямы. Хохотун и я остались на вахте.

Огни — мечущиеся, качающиеся огни мелькали на другой стороне реки в кокосовой роще. Фонари или прожектора. Еще, судя по звуку, где-то проехал грузовик. Там явно что-то происходило. Зрелище, должен признать, было фантастическим. Кто знает, быть может, нам предстояло проснуться и увидеть по ту сторону болота, гордо именуемого рекой, готовую железнодорожную станцию. Кокосовая роща была ничейной землей. Противник мог там оказаться, по, исходя из опыта войны в джунглях, можно было с уверенностью утверждать, что только самоубийца стал бы обозначать свое присутствие огнями и грузовиками. Это все равно что кричать во весь голос: «Мы здесь!»

— Кто там? — рявкнул Хохотун.

Темноту продолжали перерезать пляшущие лучи.

— Кто там? — проревел он. — Отвечайте, или я вас заставлю.

Огни погасли.

Это было уже слишком. Никто не спал. Сначала таинственная буква V в реке, а теперь эти непонятные огни. Мы возбужденно загалдели, согревая душу теплом своих голосов.

Далеко слева раздалась пулеметная очередь. Стреляли где-то на песчаной косе. Затем послышался взрыв. Другой. Третий. За ними последовали отдельные винтовочные выстрелы. К ним присоединились тяжелые минометы, расположенные позади нас. Минометы выплевывали снаряды, которые, пролетая над нашей головой, с оглушительным грохотом взрывались на противоположном берегу реки. В общем, огонь стремительно нарастал и дело дошло до нас.

Через мгновение мы тоже стреляли. Мы были совершенно не организованы, не понимали, что надо рассредоточиться, и все сгрудились вокруг открытой ямы, словно это был наш родной

дом. Прямо напротив нас раздались отчаянные визги — мы решили, что птичий концерт спровоцировало появление людей. Я помогал Джентльмену вести огонь, хотя не был его помощником. Он целился по противоположному берегу реки, пребывая в полной уверенности, что японцы готовятся ее переплыть. Визги смолкли.

— Скажи, — спокойно проговорил Джентльмен, — чтобы прекратили огонь. Пусть подождут, пока птицы снова забеспокоятся и зашумят. Осторожный человек непременно воспользуется таким прекрасным прикрытием. Они пойдут оттуда.

Я был рад, что получил хотя бы какой-нибудь приказ. Мне вовсе не нравилось стоять в яме и смотреть, как стреляет Джентльмен. Я выполз на поверхность и передал его слова. Все проигнорировали разумный совет и продолжали палить. Затем наступило минутное затишье, и я, до этого момента не имевший возможности поучаствовать в перестрелке, вытащил пистолет. Я оперся о кучу земли, направил руку с пистолетом в темноту и начал давить на курок. Лишь когда закончились патроны, я услышал разгневанный голос Здоровяка:

— Черт бы тебя побрал, Счастливчик, неужели ты не придумал ничего лучшего, кроме как палить над ухом у товарища. Ты вполне мог снести мне половину башки, тупица из Джерси.

Я только рассмеялся, а Хохотун подполз ко мне поближе и прошептал:

— Давай достанем пат пулемет.

Мы ужами поползли по берегу. Ходить было невозможно, пули, казалось, летели со всех сторон. Хохотун занял место наводчика, а я скорчился рядом, готовый выполнять свои обязанности помощника. Боеприпасов у нас было достаточно — длинные ленты на 250 выстрелов лежали в зеленых коробках.

Хохотун выстрелил. Пулемет вырвался из его отнюдь не слабых рук и упал вперед, ткнувшись «носом» в грязь, с грохотом сбив пламегаситель и полив наш район пулями.

— Чертов желтейный живот! — выругался Хохотун.

Он ругал вполне конкретного капрала, который собирал и ставил наше орудие, и сделал это настолько неряшливо, что тренога развалилась при первом выстреле.

Я сполз вниз по склону и потащил все на место, изо всех сил сжимая части пулемета.

— Он в порядке, — сообщил я Хохотуну. Его ответом стал очередной выстрел прямо у меня под носом.

О разгаре сражения говорят: «Все черти вырываются на

свободу». Когда это говорится впервые, получается правильное, удивительно точное описание. Когда это выражение произносится в миллионный раз, оно изнашивается до полной потери смысла и его постигает судьба всех хороших изречений — оно становится избитым клише.

Но в течение пяти минут после первой пулеметной очереди, после появления первого вражеского осветительного снаряда, который залил поле сражения нереальным зеленоватым светом и умер, сдавшись под натиском ночи, в течение первых пяти минут после этого всем чертям действительно был разгул. Стреляли все. Самые разные калибры сплели свои голоса в общей какофонии боя. Но это не было оркестровкой, не было ужасной и в то же время неизъяснимо красивой симфонией смерти, как иногда пишут тыловые обозреватели. Здесь была какофония, диссонанс, дикость, полное отсутствие ритма и каких бы то ни было границ, все стреляли из того, что имелось под рукой. Здесь был грохот, скрежет, визг, свист, гудение, рев, стон и шипение. Здесь был ад.

И все же каждое оружие имело собственный голос, и это странно, с какой ясностью тренированное ухо отличало его, безошибочно выбирая из общей массы, хотя этот голос перебивается или звучит в унисон с дюжиной других, и даже когда собственный пулемет при этом плюется и кашляет, пляшет и дрожит в приступе холерической ярости. Шлепки выстреливающих снаряд минометов и грохот взрывов, отрывистое тявканье пулеметов и более частое, резкое тарахтение автоматических винтовок Браунинга, тяжелый стук пулеметов крупного калибра, уханье 75-миллиметровых гаубиц, треск винтовочных выстрелов, «бум» 37-миллиметровых противотанковых орудий, ведущих огонь прямой наводкой по наступающему врагу, — все эти звуки содержали определенную информацию и значили многое для понимающего уха, даже если это ухо почти оглохло от адского шума боя.

Итак, наши уши, привыкнув, выделили из общего хора голосов новые звуки: более легкие хлопки японских винтовок, бульканье их очень скорострельных автоматов, икоту легких минометов.

Слева от нас над вражеским берегом появились дуги трассирующих пуль. Расстояние и всеобщая какофония вокруг сделали их неслышными, словно их выпустили в стране глухих.

— Ты только посмотри, — пробормотал я, — пулемет Индейца.

— Ага. Но эти трассирующие пули — плохие помощники. Хорошо, что у нас их нет. Того, кто ведет ими огонь, легко обнаружить.

Они действительно его обнаружили.

Прицельный пулеметный огонь быстро прикончил бедолагу.

Их пули пробили мешки с песком. Пробили кожух водяного охлаждения его пулемета и попали прямо в сердце. Они убили его, убили индейского паренька, невозмутимого боксера из Питсбурга. Он замер со свинцом в сердце, держа палец на спусковом крючке. Он был мертв, но убил много врагов.

Они ранили его помощника. Они ослепили его. Но тот сражался до последнего. Морская пехота наградила его военно-морским крестом, а в Голливуде сняли фильм о нем и сражении на реке Ти-пару. Насколько я понимаю, Америке был срочно нужен герой, причем желательно живой. А Индеец был мертв.

Тот второй парень безусловно был героем, в этом никто не сомневался, но мы искренне сожалели, что Индеец не получил ничего.

Это была первая организованная атака японцев на Гуадалканале. Американские солдаты впервые столкнулись в открытом бою с японскими «суперменами». «Супермены» загнали пулю в сердце индейского паренька, но он сделал по ним двести выстрелов.

Как могли морские пехотинцы забыть Индейца?

У нас были самые разные проблемы с трассирующими боеприпасами. Теперь мы вели огонь по очереди, и наводил я. Трассирующие пули летели прямо в меня. Они появлялись внезапно, словно возникая из ночной темноты. Их приближения не было видно. В одно мгновение их не было, а в следующее они уже были здесь, плясали и кружили вокруг нас — яркие искорки, частицы адского огня.

Они летели ко мне, и время замирало. Уверен, их было совсем не много, быть может, всего несколько, но время застывало, когда я старался уклониться от них.

— Хохотун, — проговорил я, — кажется, нам лучше сменить позицию. Они явно пристрелялись. Быть может, нам следует все время двигаться. Тогда нас не засекут. И еще они будут думать, что у нас больше орудий, чем есть на самом деле.

Хохотун кивнул. Он ослабил крепления пулемета и вытащил его из треноги. Хохотун лег и потянул на себя треногу. Я тоже лег и осторожно положил пулемет себе на грудь. Мы медленно поползли, двигаясь как пловцы на спине, стараясь быть как можно более незаметными. Мы пытались двигаться так же бесшумно, когда стащили ящик пива из забегаловки в Северной Каролине. Но сейчас шум, особенно если он придется на мгновение затишья, мог привлечь огонь противника с другого берега, если, конечно, там кто-то был.

Дело в том, что мы в точности не знали, где противник. Мы слышали шум, видели огни и стреляли по ним. Мы чувствовали, как на нашей стороне взрываются снаряды, слышали свист пуль, но мы не могли быть уверены в их происхождении.

Пока мы переползали на новую позицию, вражеского огня не было. Мы установили пулемет и возобновили огонь, ориентируясь на звуки на противоположном берегу, как и раньше. Мы оставались на одном месте пятнадцать минут, затем снова сменили позицию. Так мы провели остаток сражения: передвигаясь и стреляя.

Рассветом словно выстрелили из гигантского миномета. Два события совпали: усиление огня наших минометов и появление света. Теперь мы могли видеть, что в кокосовой роще напротив нас нет никаких признаков жизни. Там были тела, но живых врагов не было.

Зато слева от нас, со стороны океана, виднелись остатки атакующих японских частей. Мы видели, как уцелевшие солдаты бежали, а наши минометы стреляли им вслед. Мы продолжали вести огонь сначала по тылам противника, затем перемещая его ближе к нашим линиям, таким образом заставляя оставшихся противников покидать укрытие за укрытием, чтобы тут же быть уничтоженным нашими снарядами.

Мы видели, как они метались между деревьями. Пулемет Джентльмена находился в чрезвычайно удачной позиции для ведения продольного огня. Он этим пользовался вовсю. Он стрелял длинными очередями. Мы стреляли из винтовок. Но мы теперь находились вне игры — очень далеко, на крайнем правом фланге. Мы ничего не могли изменить в ситуации, которая и без того находилась под контролем.

— Прекрати огонь! — крикнул кто-то из роты G Джентльмену. — Идет 1-й батальон.

По мосту справа от нас прошел батальон морпехов и устремился в кокосовую рощу. Дальше они пойдут в сторону океана.

Слева песчаную косу пересекли легкие танки, ведущие контратаку.

Японцев загоняли в гроб.

Все уже начали забывать о сражении, увлекшись зрелищем бойни, когда по нашей линии пронесся крик. На противоположном берегу показалась группа японцев, бегущих по направлению к нам. Их появление вызвало всеобщее изумление, причем настолько сильное, что никто не стрелял.

Выйдя из ступора, мы разбежались по окопам. Я прыгнул к пулемету, который Хохотун и я оставили на берегу. Я начал

стрелять, поливая противоположный берег очередями, словно держал в руках шланг.

Все, кроме одного, упали. Первый рухнул, словно его рассекли пополам. Остальные падали, пробежав несколько шагов, с криками и стонами.

Наш пулемет снова вышел из строя, и я схватил винтовку. Я помнил, что на ней не было ремня — он остался возле орудия. Уцелевший японец успел уйти довольно далеко, когда я поймал его на мушку. Я отчетливо видел его спину — широкую, сутулую. Кажется, он отбросил свой мешок. Я выстрелил, и японец перестал существовать.

Возможно, его убил и не я, поскольку уже почти все обрели способность соображать и взялись за оружие. Но я всегда хвастался, что это моя заслуга. Возможно, пуля, ударившая его между лопаток, проявила милосердие. Ведь он так отчаянно бежал к неизбежному и страшному концу: темные ночи, голод и медленное растворение в джунглях. Но тогда о милосердии я думал меньше всего.

Война передвинулась в джунгли.

Парни 1-го батальона вели зачистку. Иногда они выгоняли японца на нас. Он бежал на берег реки в надежде спрятаться, не зная, что мы находимся напротив него. Мы, победители, многочисленные и отлично вооруженные части, ждали и жаждали крови. Так мы застрелили еще нескольких человек и очень жалели, что больше мишеней не было. Все были охвачены лихорадкой.

А на песчаной косе в гроб японцев забивали последний гвоздь.

Некоторые японцы прыгали в пролив и пытались уплыть прочь от рощи ужаса. Они вели себя как лемминги. Они не могли вернуться. Их головы отчетливо виднелись на горизонте. Их убивали морпехи, находившиеся на берегу. Морпехи лежали, распластавшись на теплом песке, и стреляли по головам.

Сражение закончилось.

* * *

В ту ночь под яркой луной в реке снова появилась таинственная V. Зеленые огоньки злорадно мерцали. Кто-то выстрелил по проклятой букве. Треск винтовочных выстрелов прокатился вдоль линии. Буква V исчезла. Мы напряженно ждали. Никто не пожаловал.

* * *

Лейтенант Плющ добрался до нас утром. Он уселся на поваленный ствол кокосовой пальмы и поведал, что случилось. Рассказывая, он не переставая курил и почему-то таращился на реку. В уголках его глаз пролегли жесткие складки. Почему-то на Гуадалканале глаза у всех изменялись: они становились больше, круглее, более чистыми. Последнее было особенно заметно у кареглазых людей. Их глаза приобретали яркий золотисто-коричневый окрас, как у ирландского сеттера.

— Они пытались пройти по косе, — сказал лейтенант. — Их было больше тысячи. А у нас был только один ряд проволоки и пулеметы. Вы бы видели штабель из них перед пулеметом Кусающего Ноготь. Высотой в три тела, не меньше. Они совершенно обезумели. Они даже не стреляли. — Тут он остановился и наконец взглянул на нас: — Мы слышали здесь выстрелы. Что случилось?

Мы рассказали. Он слушал, кивая, но ничего не слышал. Он все еще мысленно находился там, на песчаной косе, по которой неслась орущая орда. Затем он сообщил нам данные о наших потерях. Около дюжины убитыми и еще больше ранеными потеряла рота II. Четверо или пятеро погибших было и в нашем взводе. Двоих из них зарубили насмерть. Группа японских разведчиков обнаружила их спокойно спящими в окопе на берегу и порубила на куски.

Когда узнаешь, кто погиб, далеко не всегда сразу становится грустно. Если речь идет не о самых близких товарищах, трудно испытывать глубокие чувства, сокрушающую горечь утраты. Вот и сейчас, слушая, как лейтенант называет имена погибших, мне пришлось нацепить на физиономию маску безутешного горя, одеть сердце в траурный цвет, потому что я был шокирован, заглянув внутрь себя и не обнаружив там скорби. И чтобы не почувствовать себя монстром, я предпочел притвориться, симулировать горе. Так поступили и все остальные.

И только услышав имя доктора, который шутил насчет червивого риса, я почувствовал пронзившую сердце боль.

Лейтенант Плющ поднялся и, упорно глядя в реку, проговорил:

— Мне надо идти. Я должен написать эти чертовы письма. — Он круто повернулся и зашагал прочь.

В то утро мы оборудовали второе пулеметное гнездо. А потом Здоровяк и я украдкой улизнули на берег.

Огнем нашего полка было убито около 900 японцев. Большинство из них лежали кучами перед огневыми точками на

песчаной косе, словно они умирали не в одиночку, а большими группами. Между ними сновали охотники за сувенирами. Они двигались осторожно, словно опасаясь неведомых ловушек, по, тем не менее, не прекращали избавлять мертвые тела от их имущества.

В войнах изменилась амуниция — и только это отличало охотящегося за сувенирами морского пехотинца от Гектора, освобождающего убитого Патрокла от позаимствованных доспехов Ахиллеса.

Один из морпехов методично шагал среди мертвых тел с парой щипцов. Он сделал наблюдение, что японцы имеют большую склонность к золотым зубам. Он заглядывал в каждый рот. Он разжимал челюсти со всей сноровкой опытного дантиста с Парк-авеню, затем осторожно, очень осторожно, чтобы, не дай бог, не пораниться и не заразиться, выдергивал все, что блестит. Он хранил золотые зубы в мешочке из-под табака, который всегда носил на шее, как амулет. Мы звали его Сувенир.

Мысль о нем и о других искателях трофеев, когда я вернулся с берега, получила вполне естественное развитие. Я подумал, что за рекой находятся совсем еще неразработанные залежи сувениров, на которые я имею полное право претендовать.

Стреляя по бегущим вдоль берега реки японцам, я отчетливо видел, как что-то блеснуло, когда первый упал. Я предположил, что это солнце осветило офицерский значок. Если он действительно был офицером, он обязан был иметь саблю. Этот самый ценный из всех возможных военных трофеев я и вознамерился добыть.

Я пролез сквозь колючую проволоку и скатился вниз к реке. Одежду я оставил у кромки воды и, чувствуя себя школьником, сбежавшим в теплый день купаться, скользнул в воду. В зубах у меня был зажат штык: школьник представлял себя кровожадным пиратом.

Я плыл брассом, но никакой вражеский огонь не заставил бы меня погрузить лицо в вонючую муть, по чистому недоразумению именуемую рекой. Вода была густой от всевозможных нечистот. Я плыл, содрогаясь всем телом, вытянув шею, словно лебедь, и высоко задрав голову, постоянно ощущая холод металла во рту, а слюна текла так интенсивно, что штык грозил вот-вот выскользнуть.

Я осторожно обогнул большое тело японского солдата, лежащее в воде. Оно плавно покачивалось, как привязанная к берегу лодка. Тело было странно раздутым, но, приблизившись, я понял, что его рубашка была набита рисом, им же были загружены штаны, которые он у коленей перевязал ремнями,

чтобы рис не вываливался. «Жрать хотел», — подумал я и неожиданно почувствовал симпатию к этому бедолаге. В это время мои ноги коснулись илистого дна. До берега оставалось около трех метров. Мои ноги так глубоко провалились в ил, что я даже забеспокоился, не попал ли в трясину. Липкая грязь доходила почти до коленей и издавала чавкающие звуки при каждом шаге. Маленькие крабы, признавая мое превосходство, в панике разбегались в стороны.

Мертвые тела были разбросаны по роще. Тропики есть тропики, и тела уже начали раздуваться. Я пришел в ужас, увидев полчища облепивших их мух. Черные, гудящие потоки вытекали отовсюду — из ртов, глаз, ушей. Биение мириад крохотных крылышек создавало монотонный, низкий звук.

Здесь мухи полностью владели ситуацией. Они были хозяевами на поле брани. Так тропики расправлялись с грудами гниющей плоти. Я больше не чувствовал радость победы, она отступила перед ужасом от увиденного. Я вдруг понял, что мухи могли сейчас ползать по моему скрюченному телу, и вполне возможно, что вскоре так и будет.

Изо всех сил стараясь не поддаться панике, я вернулся к берегу реки и скользнул в воду. Но все же предварительно я освободил одно из тел от полевого бинокля и штыка, которые повесил себе на шею. Сабли я так и не нашел. Ни один из убитых не был офицером.

Обратно я плыл быстро, стараясь как можно быстрее оказаться подальше от поля мертвецов. Когда я вышел из реки, товарищи, которые прикрывали мою вылазку, ожидая с винтовками в руках, приняли гримасу отвращения, прочно поселившуюся на моей физиономии, за выражение триумфа. Они тщательно осмотрели мои трофеи. Затем я отправился поесть.

Вернувшись, я заметил группу морпехов, в основном из роты G, которые оживленно что-то обсуждали на берегу реки. Бегун направился к ним с моим новым полевым биноклем.

Когда я подошел, он все еще напряженно вглядывался в бинокль. Его лицо было искажено гримасой ужаса. Я взял у него бинокль и навел на противоположный берег реки, где увидел крокодила, с аппетитом пожиравшего запасшегося рисом японца. Сначала я наблюдал с каким-то извращенным восторгом, но когда зеленый хищник добрался до внутренностей, мне пришло в голову, что в этой реке и в этом самом месте каких-то полчаса назад находилось мое собственное тело. Я почувствовал слабость в коленях и поспешно опустил бинокль.

В ту ночь в реке снова объявилась буква V. Все вокруг гикали и улюлюкали, но на этот раз никто не стрелял. Теперь мы знали,

что это крокодил. За ним двигались еще три V, но поменьше.

Они с громким хрустом расправлялись со своей добычей, не давая нам уснуть. И еще очень мешал спать ужасный запах. Даже если мы закутывали головы одеялами — это был единственный способ спастись от москитов, — вонь проникала даже сквозь эту преграду. Удивительно, но именно запах способен быстрее, чем любой другой раздражитель, свести человека с ума. Спрятаться от него невозможно. Если не желаешь чего-то видеть, можно закрыть глаза, если раздражает звук — заткнуть уши. И только от запаха нет защиты, от него можно только сбежать. А поскольку бежать было некуда, мы мучились от невозможности уснуть.

Мы никогда не стреляли по крокодилам, хотя они день за днем возвращались к трапезе, пока оставшиеся на противоположном берегу тела противника не были собраны вместе и сожжены. Погребальный костер был виден издалека.

Мы не стреляли по крокодилам, поскольку считали их своего рода «речным патрулем». Досыта отведав человеческой плоти, они явно разохотились и теперь патрулировали по Тинару ежедневно. Мы были уверены, что противник не осмелится предпринять попытку переплыть реку, когда в ней находятся эти отнюдь не нежные существа. Если же все-таки осмелится, то все равно не доплывет до цели. Основываясь на своих отрывочных знаниях о крокодильих повадках (если они вас преследуют, бегите зигзагом, эти твари не могут менять направление), мы соорудили ограждение из колючей проволоки, чтобы не дать прожорливым тварям добраться до нас. Иногда, если ночь была особенно темной, казалось, что огромный крокодил где-то рядом, как крокодил с часами внутри, преследовавший капитана Хука в «Питере Пэне».

Так что со временем мы даже полюбили крокодилов и старались их не тревожить. И никто из нас больше не переплывал Тинару.

3

Победа, получившая название «бой у Хелл-Пойпт», была вовсе не такой впечатляющей, как мы себе представляли. Это был один из многих рядовых боев на Гуадалканале, причем далеко не самый тяжелый. Но для нас он был первым, поэтому мы и восприняли его результат как триумфальный. Настоящее всегда лучше всего, если его не сравнивать с прошлым и не думать о будущем.

Однако пора было спускаться с заоблачных высот и

возвращаться к повседневной жизни. Атаки противника вскоре возобновились, причем стали куда более длительными, упорными и разнообразными. Их следовало ждать с воздуха, с моря и с суши. А друг от друга они отделялись периодами утомительной, напряженной скуки, которая изматывала человека, выпивала все соки из его души и тела, как мы сами высасывали содержимое палочки сахарного тростника, оставляя лишь ни для чего, кроме пламени костра, не пригодную смятую оболочку. Взаимодействие испытаний и скуки порождало ужас. Первые трясли человека, как ветер верхушки деревьев, вторая разъедала его, как вода размывает почву между корнями. Каждый новый бой оставлял человека еще более ошеломленным, чем предыдущий, а каждый период скуки, представляющий сколько угодно времени для страхов, делал почву под йогами менее твердой, и корни в ней держались уже вовсе не так прочно, как хотелось бы. Иногда потрясение оказывалось последним: человек, обезумев под непрекращающимся обстрелом с моря, вполне мог заползти в свой окоп, достать пистолет, приставить его к виску и покончить с окружающим кошмаром. Бывало и иначе: человек не выдерживал воя пикирующего, казалось, прямо на него вражеского самолета, выскакивал на открытое пространство и бросался бежать. Именно ужас, дикий страх отбрасывал прочь все доводы рассудка горячими руками паники. Я видел такое дважды. И еще дважды едва сам не подвергся приступу чего-то подобного. Но, справедливости ради, следует сказать, что такое бывало редко. И жертв паники было немного.

Зато мужество стало обычным делом.

Оно создало некий клуб, корпорацию, как это бывает с другими вполне обыденными вещами, которым люди по разным причинам придают большое значение, я имею в виду деньги, благотворительность и тому подобное. Именно на обыденном исключительное отдыхает. Когда на наши грязные окопы падали бомбы или снаряды с японских кораблей, они становились клубами мужества. Следовало соблюдать определенный протокол, и казалось вполне естественным, что бедолага, поддавшийся мгновенной панике, вызывал смущенное молчание или деликатное покашливание. Все начинали смотреть в другую сторону, как миллионеры, шокированные видом своего собрата, одалживающего у официанта пять долларов.

Но милосердия в наших клубах, я думаю, все же было больше. Мы же не важничали и не кичились своей исключительностью. Все ходили под Богом. Сегодня ты, а завтра я.

* * *

Прошел месяц. Нам казалось, что бомб и снарядов на наши головы падает не меньше, чем мух вокруг. Три раза в день и каждое воскресное утро (приверженность японцев, вскормленная потрясающим успехом воскресного утра в Пёрл-Харборе) кокосовая роща наполнялась свистом и грохотом взрывов. Они звучали как рев великана.

А ночью за дело принималась «стиральная машина» чарли[6]. «Стиральной машиной» назвали японский самолет, совершавший регулярные ночные мародерские полеты над нашими позициями. Его двигатели издавали звук, очень похожий на тарахтение работающей стиральной машины. Возможно, чарли был не один, но в небе ночью всегда находился только один самолет. Больше не было нужно для такой работы.

Говорят, лай собаки более страшен, чем ее укусы. Точно так же шум моторов чарли сеял больше страха, чем тяжелые удары бомб. Переждав падение бомб, можно было с облегчением перевести дух, зная, что теперь самолет наверняка улетит. А вот приглушенное жужжание «стиральной машины» с упорством, достойным лучшего применения, кружившей над нашими позициями, держало нас в напряжении очень долго — столько, сколько чарли хотел... или мог. Только на рассвете он улетал — в это время за ним могли последовать наши самолеты, да и при свете дня он переставал быть невидимым для наших батарей ПВО.

Чарли убил немного людей, по, как Макбет, он убивал спящих.

Самым тяжелым испытанием всегда бывали обстрелы с моря.

Вражеские военные корабли — обычно крейсера, иногда линкоры — стояли в пределах дальности полета их снарядов. Ночью их увидеть было невозможно — да и днем не намного легче, поскольку они находились в нескольких километрах от береговой линии. Наши самолеты не могли ночью подняться, чтобы оказать им достойный прием.

Наши 75-миллиметровые гаубицы против них были столь же эффективны, как пугач против современной винтовки. У противника было все, что нужно.

Далеко в море мы видели вспышки тяжелых орудий. До нас доносились глухие звуки выстрелов. И к нам сквозь темноту ночи устремлялись тяжелые снаряды. Взрывы заставляли содрогаться землю под ногами, даже если происходили достаточно далеко. В животе все сжимается, будто его стискивает чудовищных размеров рука, ты пытаешься вздохнуть, но не можешь; такое

чувствует тяжело рухнувший на землю футболист, из которого при падении вышибло весь воздух.

Вспышка... звук выстрела... завывание...

Они опустили прицелы. Снаряды падают ближе. А этот уже совсем рядом. Падают мешки с песком. Я не слышу снаряда. Говорят, что именно тот снаряд, которого не слышишь... Где же он? Черт, куда же он подевался?

Вспышка... звук... Слава богу, он прошел выше. Это еще не «наш».

Рассвет чуть осветил темную реку. Они идут. Самолеты, базирующиеся на пятачке за нами, поднимаются и начинают преследование. Мы выползаем из окопов. Кто-то говорит, что благодарен за столь длительный ночной обстрел. Если бы обстрел с моря прекратился, можно было бы ждать атаку на суше. Кто-то другой называет этого умника идиотом. Они затевают спор. Но нам уже все равно. При свете дня не о чем беспокоиться, кроме бомбежек, ну разве что еще о жаре, москитах, а также рисе, камнем лежащем в желудке.

Глаза становятся более круглыми. Отчетливо проявляется тенденция глазеть.

Мы ненавидели, когда нас посылали на работы. Мы очень ослабли от голода. Ночью мы оставались на позициях, а днем нас организовывали в рабочие бригады и отправляли на аэродром. Выкапывая глубокие окопы и перетаскивая тяжеленные ящики, мы слабели еще больше.

Однажды, когда мы возвращались с работ, в небе неожиданно появились бомбардировщики. Пока еще не начали падать бомбы, я словно на крыльях пронесся в кокосовую рощу и свалился в недавно вырытую траншею в компании с еще тремя солдатами. Я скорчился на дне ямы, а вокруг все уже гремело и грохотало. Рядом со мной сидел совсем молодой паренек — его лицо оказалось прижатым к моей голой спине. Я чувствовал, как шевелятся в молитве его губы — дрожащий поцелуй веры и страха.

Когда я вернулся в свой окоп, ребята рассказали, что партия отработавших, которая шла перед нами — я туда просто не успел, — уничтожена бомбежкой. Там погибли многие наши парни.

* * *

Хохотун стал капралом. Звание ему присвоили на поле боя. Лейтенант Плющ рекомендовал его на награждение Серебряной

Звездой за сражение на Хелл-Пойнт, особо отметив, что наш маневр — перемещение пулемета с места на место, — судя по всему, сорвал вражескую атаку с фланга. Командир полка решил, что хватит и повышения в звании. В своем представлении лейтенант Плющ меня не упомянул. Почему — не знаю. Хотя первым ввел в бой наш пулемет Хохотун, но все же перетаскивать его предложил я, и Плющ это прекрасно знал. Мне было очень обидно, что меня проигнорировали, хотя я всячески старался это скрывать. Смущенный Хохотун старался обратить все в шутку. Но он полностью заслуживал и повышения, и награды, поскольку был прирожденным лидером. В душе я так и не простил обиды лейтенанту, и, думаю, именно тогда зародилась моя неприязнь к нему.

* * *

Нам доставили противомоскитные сетки. Мы все еще спали на земле: если сухо — на плаще, если дождь — под ним. Но с сетками все-таки стало легче. Теперь можно было использовать одеяла по прямому назначению — спать на них или укрываться, но не укутывать в них голову, чтобы защититься от паскудных насекомых. Плащ теперь можно было свернуть — получалась подушка. Правда, сетки прибыли слишком поздно. Почти у всех уже была малярия.

Нам доставили еще некоторые припасы. Каждое отделение получило зубную щетку, пачку лезвий для бритья и сладкую плитку. Мы их разыграли в кости. Бегун выиграл сладкую плитку. Он долго мучился из-за невозможности разделить ее на десять человек, пока мы хором не убедили его съесть ее самому. Для этого он убрался с глаз долой, спрятавшись в какие-то кусты.

Пень продолжал строить и укреплять свой личный форт. Всякий раз, когда он попадался мне на глаза, у него или топор в руках, или бревно на плече. Однажды он взвалил на себя такое огромное полено, что оно повредило ему плечо — там образовалась глубокая рана. В мирное время такую пришлось бы зашивать.

Все упорно твердили, что вот-вот, буквально на следующей неделе, прибудет армейская пехота нам на смену.

Все были в отчаянии. Мы услышали, что армейские подразделения, направляющиеся к нам, уничтожены в море.

Хохотун и я посетили кладбище. Оно находилось немного южнее прибрежной дороги, идущей с запада на восток через рощи кокосовых пальм. Мы преклонили колени, чтобы помолиться у

могил людей, которых хорошо знали. Их захоронения в основном были только украшены пальмовыми ветками, хотя кое-где виднелись и наспех сколоченные кресты, на которых были прибиты идентификационные бирки лежащих под ними людей. На некоторых крестах были закреплены жестяные медальоны, сделанные из консервных банок, на которых чьи-то заботливые руки вывели трогательные эпитафии:

«Он умер, сражаясь».

«Настоящий морской пехотинец».

«Большой парень с большим сердцем».

«Наш кореш».

«Чем тяжелей ему было, тем веселее он становился».

Было еще одно четверостишие, которое я встречал бесчисленное число раз, этакий крик души морского пехотинца:

Когда придет он на самый верх,
Отрапортует святому Петру:
«Сэр, еще один морпех
Закончил службу в аду».

Другие надписи, чаще всего имена погибших, выполнялись следующим образом: в землю загонялись патроны так, чтобы круглый медный конец оставался над поверхностью. Хохотун и я побродили по кладбищу, после чего решили осмотреться по сторонам. Совершенно плоская равнина тянулась далеко к холмам. Хохотун скорчил рожу и объявил:

— Здесь еще полно места.

— Это точно, — подтвердил я.

Потом мы дружно помолились у могилы парня из нашего взвода.

— Знаешь, — сообщил Хохотун, вставая, — у него перед Хелл-Пойнт было двести баксов. Он их выиграл в покер.

— Ну и что?

— А когда его хоронили, не нашли и десятицентовика.

* * *

Мы всячески пытались извести крысу, которая повадилась на нашу огневую точку. Мы поклялись убить ее и съесть — все-таки свежее мясо. Она заимела привычку бегать через амбразуру, причем двигалась настолько быстро, что нам казалось — эта тварь летит. Она на глазах толстела, а мы слабели от голода. В конце концов она даже перестала бегать — стала фланировать прогулочным шагом. Мы ее так и не поймали. А если бы и поймали, сомневаюсь, что съели бы.

* * *

Как-то ночью нас обстреляли подошедшие к берегу вражеские крейсера. Один из снарядов упал в темную речную воду недалеко от нас. Окоп содрогнулся, словно был вырыт в желе. Сначала никто не произнес ни слова, и только через несколько секунд Беззадый с надеждой объявил:

— Не взорвался!

— Разве ты никогда не слышал о взрывателях замедленного действия? — хихикнул кто-то из темноты.

Все засмеялись, а Беззадый тяжело и очень обиженно вздохнул.

В другой раз — ночь выдалась на удивление темной — мы сидели в окопах и прислушивались к шуму боя, доносившемуся со стороны холмов справа от нас. Мы получили приказ и были готовы к атаке. Всю ночь мы ожидали нападения, а утром услышали, что завершилась первая часть «боя на Кровавом Хребте». Японцы отброшены.

Когда наступила ночь, бой возобновился. А мы снова разбрелись по темным окопам и принялись ждать. На этот раз винтовочных выстрелов слышно не было — только артиллерию. Мы искренне надеялись, что нашу. Мы внимательно высматривали какие-нибудь признаки появления противника перед своими позициями, иногда с этой целью даже вылезали из окопа и ползли на берег реки — оттуда было видно лучше. Где-то там, в темпом мраке ночи, шел бой. Наша артиллерия теперь обстреливала наши же собственные позиции, покинутые морпехами и занятые противником. Зрелище заградительного огня — огневого вала — было более чем впечатляющим. Я находился довольно далеко, но у меня запыли зубы.

Утро было настоящим благословлением. Оно без остатка рассеивало страх, что японцы прорвут нашу оборону и хлынут в рощу. Мы знали, что японцы разбиты. Странно, но это знание не приносило облегчения.

Здоровяк объяснил эту странность на следующий день.

Мы собрались в тени единственного дерева на берегу реки. Здоровяк сидел, облокотившись о толстый ствол и поигрывая палочкой.

Он тщательно обстругивал палку острым ножом, срезая щепки белого дерева, и проговорил, не обращаясь ни к кому конкретно. Казалось, его даже не заботило, слышит ли его кто-нибудь.

— Они смелют нас в порошок, — сказал он, произнося слова в такт отлетающим щепкам. — Прошлой ночью они напали на

летчиков, потом настанет и наш черед. Мы их, конечно, побьем. Наши парни пока их бьют. Но при этом мы каждый раз теряем людей. После каждого сражения в землю ложится пара сотен человек. Потери и у них есть, но это их не волнует. Жизнь у них стоит недорого. Слишком уж их много. — Он помахал аккуратно обработанной палкой. — У них много палок, а у нас только одна. У нас есть только мы. Сегодня приходил парень из 5-го и сказал, что японцы разгрузили еще два транспорта с войсками на Кокуме. Они медленно, но верно перемалывают нас. Каждый день мы теряем десять — двадцать человек из-за бомбежек. Каждую ночь «стиральная машина» чарли тоже уносит несколько жизней. Когда снова обстреляют с моря, нас, наверное, останется совсем мало.

А у них есть все, чтобы добиться желаемого, — продолжил он и выругался, потому что нож наткнулся на твердый сучок, — хотя бы потому, что у нас нет ничего. У нас нет кораблей, нет самолетов, кроме нескольких «граммапов», которые чаще всего не могут взлететь, потому что у нас нет еще и горючего. У них есть корабли, есть самолеты, и, похоже, есть достаточно времени. Поэтому я вам точно говорю, — в этом месте нож ушел слишком глубоко и палка сломалась, — скоро от нас тут ничего не останется.

Хохотун решил свести разговор к шутке:

— Что тебя не устраивает? У нас вроде бы пока все хорошо. Чего ты хочешь? Вернуться обратно к цивилизации и стать в длинную очередь за военными облигациями? Чего тебе не хватает? Птичьего молока?

— Не будь ослом, Хохотун. Я не шучу. Они всех нас рано или поздно уничтожат.

— Я не хочу птичьего молока, — вставил Бегун, — я хочу пива. Холодного пива в высоком тонком стакане. «Карлипгз». «Карлингз блэк лейбл».

Здоровяк встал, злобно посмотрел на нас и, не сказав ни слова, отошел в сторону. Он медленно удалялся, а мы сидели и молчали. Мы чувствовали себя студентами-теологами, преподаватель которых срочно взял отпуск, представив нам самые убедительные доказательства того, что Бога нет. Мы верили в победу — это не подвергалось сомнению. О поражении никто не думал. Победа будет, это точно. Другой вопрос, будет ли она легкой или трудной, быстрой или затяжной, но она будет. И тут совершенно некстати вылез Здоровяк, вдруг решивший продемонстрировать нам обратную сторону медали — поражение.

Услышанное нас потрясло. С тех пор мы начали понимать, что такое допустимые потери.

Во всех армиях известно, что такое допустимые потери. Это

есть часть, уничтожение которой не будет фатальным для целого. Иногда человек может считать допустимой потерю пальца, но не руки, или потерю руки, но не головы. Существуют вещи, которые могут быть потеряны или уничтожены, независимо от того, мир на земле или война, и их замена не является строго обязательной. Это может быть винтовка, патронташ или человек.

Люди суть расходный материал.

Голод и джунгли, японцы или все, вместе взятое, так не разрушают психику, как сознание того, что ты являешься пушечным мясом. Причем не имеющим своей воли. Я нисколько не сомневаюсь, что, если бы среди морских пехотинцев стали искать добровольцев для невыполнимой миссии, все сражающиеся на Гуадалканале не раздумывая сделали бы шаг вперед. Но это жертва, на нее идут добровольно. Когда же ты сознаешь себя расходным материалом, это лишает тебя торжества самоотречения, абсолютной свободы самопожертвования. Если ты пушечное мясо, значит, ты не герой, добровольно жертвующий собой, а жертва, и это не может не унижать. Лично я сомневаюсь, что Исаак принял нож отца своего Авраама без осуждения, без укора, но вместе с тем он для него же тысячу раз с радостью умер бы добровольно. Мир полон жертв героев и мучеников, но есть только одна Жертва.

Раз уж нам предстояло стать жертвами, мы твердо держались своей роли, как Исаак своей вязанки хвороста. Не проходило и дня, чтобы об этом не заговаривали.

— Лейтенант, когда мы уберемся с этого острова?

— Понятия не имею.

— Но вы же можете спросить у полковника!

— С чего вы взяли, что он знает?

* * *

— Эта еда уже давно сгнила, лейтенант.

— Да знаю я, знаю. Но вам все же лучше ее съесть.

— Я не могу есть этот червивый рис.

— Ешь.

— Но как можно ждать, что мы...

— Ешь.

— Не могу, меня тошнит.

— Ладно, тогда не ешь.

* * *

— Мне кажется, у меня малярия. Вот, пощупайте мой лоб.

— Черт, боюсь, ты прав. Он адски горячий. Тебе надо к врачу.

— Ну...

— В чем дело?

— А зачем? Там дадут только аспирин. А если станет хуже, поместят в палатку с другими, кому так же плохо. Домой меня все равно не отправят. С острова уехать нельзя. Никто не уезжает. Так что идти к врачу нет смысла.

— Что ж, может быть, ты и прав.

— Конечно, прав. Так что я лучше буду страдать здесь, среди друзей. Все равно с этого острова уехать невозможно, даже в ящике.

— Поэтому у нас и есть свое кладбище.

* * *

Было очень одиноко. Это было одиночество ночной вахты, во время которой прислушиваешься к движению мириад живых существ вокруг тебя и пытаешься уловить за беспорядочным ритмом природы упорядоченные звуки, издаваемые человеком. Мы тихо тосковали в зияющем провале окопа, являя собой постоянный упрек миру.

В другом смысле, каком-то слезливо-сентиментальном, мы уже стали свыкаться с мыслью, что все стали сиротами. О нас никто не думал, мы никому не были нужны. Миллионы американцев были заняты своими повседневными делами: ходили в кино, женились, поступали в колледжи, ходили в магазины и на митинги, участвовали в манифестациях в защиту животных, ходили в церкви и на кладбища, иными словами, в Америке все было как всегда, но только там не было нас, а этого никто и не заметил. Так мы тогда думали. Сейчас мне это кажется очень глупым.

Но тогда все происходило именно так, как я описал, мы чувствовали себя одинокими и всеми покинутыми на берегу зловонной реки. Но наконец настало время благословенной перемены. Нам было приказано перейти на новые позиции.

Мы ушли с реки. Ушли так, что этого никто не заметил. Мы взвалили на спины вещмешки, на плечи — винтовки и пошли по деревянному мостику мимо лежбища крокодилов к холмам в

глубине острова.

4

Это была великолепная, долгожданная передышка. Прогулка по полям стала выходным посреди рабочей недели, спасением от засасывающей монотонности. Страх исчез. Мы чувствовали себя членами археологической партии или охотниками. Только полное отсутствие огней возвращало нас в реальность: вокруг была темнота, джунгли и японцы.

Даже адская жара, настигшая нас в зарослях купай, нисколько не угнетала. Теперь мы выкопали для себя и пулемета окоп вдвое больше того, что оставили на Типару, и могли отдыхать вполне комфортно. Наша точка была настоящим фортом, размером примерно с кухню и глубиной около двух метров. Сверху ее закрывал двойной слой бревен, слой земли высотой в стакан и дери, который пророс, как только мы его уложили, притащив с расстояния около тридцати метров. Издалека наша огневая точка была похожа на обычный пригорок.

Мы чувствовали себя под падежной защитой и были уверены, что угрожать нам может только прямое попадание бомбы или снаряда с моря, все остальное было предусмотрено.

Удалившись за ограждения, мы занялись «тропическими язвами». Такое название мы давали всем намокавшим или гноящимся болячкам, особенно тем, которые находились вблизи костей. Среди нас было несколько человек, чьи ноги и руки еще не были покрыты этими красно-белыми очагами боли: красными они были от крови, белыми от гноя и часто окружены черными ободками присосавшихся мух.

Да, здесь мы жили почти в роскоши. У нас даже появились кровати. В районе нашего расположения были обнаружены большие запасы японских канатов. С их помощью мы соорудили для себя прекрасные постели, вкопав в землю бревна и настлав сверху веревочные матрасы.

Что за чудо! Какой изысканный комфорт! Сухо, тепло и над землей. Ни один сластолюбец на пуховых перинах и тонких простынях ни разу не испытал такого потрясающего наслаждения, даже если у него под рукой шнурок звонка — дерни и принесут все, что захочешь, а у пог свернулась прелестная гурия.

Хохотун и Здоровяк спали рядом, они построили свои кровати вблизи друг от друга. Так же делали и остальные напарники, как, к примеру, Бегун и я. Лежа и тихо перешептываясь друг с другом, мы слышали, как через густую

траву пробирается сухопутный краб. Затем раздавался храп Здоровяка. Мы прекращали шептаться и молча ждали.

Наступала тишина, она была как пауза между музыкальными произведениями. И так же недолго длилась, ее беспардонно нарушал очередной громогласный всхрап Здоровяка, взрыв смеха Хохотуна и неправдоподобно громкий топот краба, спешащего в безопасное укрытие.

— Черт возьми, Хохотун, это не смешно!

— Что с тобой, Хохотун, что случилось?

Тут в разговор вступал Бегун, его голос дрожал от едва сдерживаемого смеха.

— Это снова краб. Личный краб Здоровяка. Он снова прополз сквозь колючую проволоку и ущипнул Здоровяка за задницу.

Ответ Здоровяка наверняка шокировал целомудренную ночь.

Очередной взрыв смеха смягчал обиду и оказывался настолько заразительным, что даже Здоровяк не мог остаться в стороне и вскоре смеялся вместе со всеми.

О каком страхе может идти речь?

* * *

Наши летчики вели сражения, несмотря на очевидное превосходство противника в воздухе. Короткие воздушные схватки над Хепдерсон-Филд велись почти ежедневно, а поскольку мы находились в непосредственной близости, все происходило, можно сказать, над нашей головой. Но страх перед вражескими самолетами у нас был настолько силен, что мы не выползали из убежищ, пока еще где-то слышались взрывы бомб или залпы противовоздушных батарей.

Только Меченый продолжал упорно восхищаться волнующим шоу. Во время налетов он сидел на крыше нашего окопа и во все глаза, как ребенок в цирке, следил за развитием событий, не прячась, даже если бомбы рвались в опасной близости. Он снабжал нас подробным описанием хода сражения.

— Ух ты, парни, один падает! — При этом до нас доносился гул быстро приближающегося самолета. Затем следовал сильный удар. — Вот это да! Не меньше двухсот килограммов!.. Эй, Хохотун, Счастливчик, поднимайтесь сюда! Вы же пропустите самое интересное!

— Черт возьми! Нам и здесь неплохо, — хмыкнул Хохотун, после чего спросил: — А кто упал-то?

— Наш.

Мы удивленно переглянулись, и Бегун заключил:

— Похоже, этому ублюдку все равно, кто победит.

— Смотрите! Да смотрите же! Сейчас их достанут! Япошки уходят! А наши их преследуют!

Иногда, когда нас эти вопли очень уж сильно раздражали или же когда бомбы рвались совсем уж рядом, кто-нибудь не выдерживал и кричал:

— Эй, Меченый, спускайся вниз! И поторопись, кретин, пока тебе задницу не отстрелили.

На это Меченый всегда реагировал одинаково:

— Ну и что? Отстрелить ее могут и там, внизу. Какая разница? Если тебе что-то суждено, ты все равно свое получишь — прячься... не прячься... Когда придет твой час, неизбежное свершится. Так зачем беспокоиться из-за этого?

С ним, так же как и с другими его товарищами-фаталистами, никто и не пытался спорить. Вера в судьбу на Гуадалканале вошла в моду. На разный манер говорили одно и то же: все написано на роду.

— Зачем волноваться? Все равно ты уйдешь, когда придет твое время.

— Бедняга Билли, но от судьбы все равно не уйдешь.

— Вот это да! Пронесло! А я уж было думал, что настал мой час.

С фаталистами спорить невозможно. Вы можете отстаивать свою позицию до хрипоты, но люди вроде Меченого все равно будут шляться под бомбами.

Скажите им, что они в глубине души не верят, заявляя, что каждый человек уходит только тогда, когда ему предназначено, не раньше и не позже. Предположите, что они сами своим тупым упрямством выбирают свое время, своими руками вытаскивают бумажку со своим именем из шапки, иными словами, сами являются своими палачами. Напомните, что, даже если они хотят верить в фатализм — вопреки здравому смыслу, — они должны иметь возможность выбора; даже отсутствие выбора надо выбрать. Подобные споры — прекрасный способ убить время, пока вокруг падают бомбы, а Меченый, раздражающий всех и каждого фаталист, один сидит наверху. Чертов идиот!

Особенно жарким днем я выбрался из осточертевшего грязного окопа и рухнул на траву в тени чахлого кустарника вздремнуть. Проснулся я оттого, что подо мной дрожала земля. Я проснулся, вспотев от страха. Земля вздрагивала. Я знал, что это землетрясение, и пришел в ужас от мысли, что она может разверзнуться и поглотить меня. Когда же она этого не сделала, я был весьма разочарован, да и расщелин больших не увидел. Гибель мне представлялась такой: земля открывается —

последнее предательство, — под ногами пустота, и далее вечное падение.

* * *

У меня так громко урчало в животе — мучил голод и газы, что я не давал спать Бегуну. Он нередко принимал издаваемые моими внутренностями звуки за начавшийся обстрел с моря. Как-то ночью я проснулся и увидел, что он поспешно выбирается из спального мешка и бежит в окоп.

— Тревога! — завопил он. — Тревога! Начинается обстрел!

— Эй, Бегун! — позвал я. — Не буди никого и сам иди спать. Это не вражеские корабли, а мой живот.

Он вернулся, костеря меня на чем свет стоит, впрочем, беззлобно.

У Бегуна имелись веские основания бояться обстрела, услышав глухой рокот. Перебравшись в глубь острова, мы успели на своей шкуре ощутить все прелести этого процесса. Земля дрожала от разрыва тяжелых снарядов, причем здесь это чувствовалось гораздо сильнее, чем на реке.

Первый залп бывал внезапным и неожиданным, как землетрясение. Никто никогда не слышал ни глухих «пах-бум» с моря, ни свиста летящего снаряда. Все начиналось с оглушающего грохота взрыва, разрывавшего ночную тишину и выбрасывающего нас из сна.

Отчаянно ругаясь, мы неслись в темноте к окопу, толкаясь на входе, как ньюйоркцы в подземке. Еще одна ночь потеряна, еще один сон принесен в жертву врагу. Они перемелют нас в порошок.

Мы провели на Гуадалканале уже почти два с половиной месяца, когда нам пришлось пережить самый сильный ночной обстрел. Я очень хорошо запомнил ту ночь, потому что едва не поддался панике.

Грохот взрыва ворвался в глубокий ночной сон настолько внезапно, что я не смог сразу взять себя в руки. Мне показалось, что снаряд взорвался в моем кармане. И если этим меня еще не разнесло на куски, то наверняка разнесет следующим.

Я отчаянно вцепился в свою москитную сетку. Я изо всех сил пытался прорваться сквозь нее, во что бы то ни стало пробиться через эту тонкую паутину. Затем упал еще один снаряд, причем не ближе, чем предыдущий, я перевел дух и на мгновение замер, стараясь справиться с охватившей меня паникой.

Кое-как овладев собой, я выпутался из москитной сетки и осторожно поднялся на ноги. Несколько мгновений я стоял

неподвижно и только после этого зашагал к окопу.

Обстрел был ужасным, но я его почти весь проспал.

Овладев собой, *я* приобрел уверенность и даже расслабился. Я больше не боялся, а значит, я спал.

* * *

На берегу Илу Хохотун обнаружил папайю.

Мы съели ее плоды рано утром перед завтраком, пока они были полны соком и ночной прохладой.

Услышав о находке, лейтенант Плющ попросил поделиться с ним, но мы уже все съели, и тогда он организовал отряд на поиски этого восхитительного фрукта.

Папайю на берегах Илу больше не нашли. Зато мы обнаружили кое-что получше. Выяснилось, что здесь можно купаться. Мы выставляли на берегу часовых и с наслаждением плескались в этой восхитительной реке. Именно в ней мы плавали и даже пили воду в день высадки. Она была такая же чистая и прохладная и так же приятно ласкала горячую, истерзанную плоть.

В тропиках имеются собственные болеутоляющие средства, присущие только этой местности. Таковыми является, к примеру, прохладное кокосовое молоко или же небольшие чистые речушки, сбегающие с холмов. Именно последние — Илу и Лунга — сохранили нам здоровье. Я не могу подтвердить свои слова статистическими данными, но, судя по моим наблюдениям, те из нас, кто часто купался в них, были меньше подвержены язвам и малярии.

Но наше вторичное открытие Илу состоялось слишком поздно. Всего лишь неделю нам пришлось наслаждаться ее прохладной прелестью, после чего снова поступил приказ перебираться на новые позиции.

— Армия здесь.

— Черта с два!

— А я говорю, они здесь. Я сам видел. — Хохотун яростно жестикулировал одной рукой, а второй придерживал белый мешок, перекинутый через плечо. — Я был внизу на берегу — в Лунга-Пойнт. И видел, как они высаживались.

— А что в мешке? — полюбопытствовал Бегун.

Хохотун ухмыльнулся. Он присел на корточки — мы все делали так, когда было грязно и не на что сесть — и засмеялся.

— Я никогда не видел ничего подобного. Я был внизу на пляже, как раз в том месте, где Лунга впадает в залив, и видел

корабли. Они высаживали людей на десантные плавсредства, а те направлялись к берегу. Те, кто уже был на берегу, бестолково толпились среди кокосовых пальм. Неожиданно кто-то объявил тревогу. Бедолаги, мне их было искренне жаль. Накануне ночью им досталось по полной программе. Морской обстрел был организован именно для них. Я слышал, что япошки появились слишком поздно, чтобы потопить транспорты, и бросили все свои силы на аэродром, но все равно мало никому не показалось. И хотя никого не задело, щенкам пришлось пережить немало крайне неприятных минут. Как бы там ни было, условия для воздушного налета были совершенно неподходящие. А они начали лихорадочно окапываться. Потом у кого-то из офицеров родилась блестящая идея, и было решено спрятаться в джунглях. — Физиономия Хохотуна сморщилась. — Это надо было видеть. Описать такое невозможно. Не успели щенки скрыться, как из джунглей хлынула целая орда наших морпехов. Как будто кто-то специально все это спланировал. Щенки скрылись в джунглях, самолеты пролетели мимо и направились бомбить аэродром, а с другой стороны из джунглей высыпали наши железные задницы и принялись тащить все, что бросили армейцы. Когда объявили отбой, они спокойно вернулись в джунгли. А кокосовая роща выглядела словно по ней пронесся ураган. Вернувшись, щепки обнаружили, что лишились половины своих запасов.

Такие комедии морпехи очень уважали.

— Ты хочешь сказать, что наблюдал, как все это происходило? — не веря своим ушам, спросил Здоровяк.

— Черт, конечно же нет! Я наблюдал только, как они посыпались из джунглей. Когда же я увидел, чем они заняты, я немедленно присоединился!

— И что ты раздобыл?

Хохотун раскрыл мешок, также украденный, и продемонстрировал добычу. Судя по увиденному, он оказался весьма рассудительным воришкой. Там не было ничего бесполезного, напоминающего о далеком доме, вроде электробритв, золотых колец или бумажников. Только вещи, бесцепные в нашем положении: носки, футболки, куски мыла, коробки с крекерами. Именно это украл Хохотун, и мы ему от всей души поаплодировали. Так, должно быть, люди Робин Гуда воспевали хвалы Малышу Джону после его возвращения из воровского набега на Нотингем.

Через несколько часов мы узнали, что прибывшие солдаты должны были занять наши места. Этому нельзя было не порадоваться. Их прибытие на Гуадалканал означало, что мы

больше не отрезаны. После этого контакт с окружающим миром стал делом вполне обычным. Нас больше не преследовала судьба острова Уэйк. Флот вернулся. Самое страшное, что теперь могло случиться с нами, — это Дюнкерк.

Так что мы были искренне рады солдатам, подошедшим к нашему окопу. Они пришли после еще одного воздушного налета, очень близкого. Но они еще не были отравлены, как все мы. Война для них еще была чем-то волнующим, романтичным, отчасти даже забавным. Их лица были круглыми, отъевшимися, ребра не выпирали, а глаза оставались невинными. Все они были старше нас — лет по двадцать пять, нам же в среднем было по двадцать. Но мы относились к ним как к неразумным детям. Помню, двое из них, услышав про Илу, немедленно отправились купаться, не обращая особого внимания на колючую проволоку, словно заезжие ботаники устремились в поле за нужной травкой.

Я крикнул им, чтобы немедленно возвращались, честно говоря, сам не знаю почему. Вероятно, мне показалось, что они не испытывают должного уважения к опасности. Колючая проволока, судя по всему, представлялась им учебной полосой препятствий, а джунгли — площадкой для пикника. Их любопытство было детским, они непоколебимо верили в то, что все будет хорошо, и смеялись над моими мрачными предчувствиями.

— Немедленно верните ваши задницы обратно! — потеряв терпение, заорал я, и они вернулись.

Их офицер подошел и поинтересовался, что случилось. Я объяснил, проявляя явно преувеличенную озабоченность, что в джунглях упало несколько бомб, которые не взорвались и вполне могут оказаться бомбами замедленного действия. Он поблагодарил меня, как мне показалось, искренне и горячо.

— Слава богу, — сказал он, — что вы это все знаете.

Я почувствовал себя мелким мошенником.

Итак, мы распрощались. Они остались на наших позициях, в наших прекрасно оборудованных окопах, на наших великолепных кроватях, под защитой наших ограждений из колючей проволоки и рядом с прохладной Илу, а мы стали забираться в ожидавшие грузовики.

Мы уже успели пожить на песчаном океанском берегу, у заиленной реки, в зарослях купай. Теперь нам предстояло познакомиться с горными хребтами.

Мы поднимались все выше и выше, дорога, по которой шли грузовики, извивалась, стремясь к вершине, как ползущая змея. Наконец мы оказались на самом верху и получили приказ выходить.

5

Хребет возвышался над джунглями, над терзаемым ветром морем, как позвоночная кость гигантского кита. Отсюда открывался прекрасный вид не только на залив, но и на северную часть Гуадалканала.

Лейтенант Плющ подгонял нас, вышагивая впереди, словно тренер футбольной команды, выводящий своих подопечных на поле. Он вел нас на южную оконечность хребта, где он заворачивал, упираясь в джунгли. Нам выделили дополнительный пулемет, и лейтенант разделил наше отделение на две части.

— Хохотун берет один, Счастливчик — другой.

В его голосе явно сквозило беспокойство, и мы прониклись серьезностью момента.

— Посмотрите, — сказал он, указывая в сторону джунглей, — это Грасси-Нолл.

Кто-то не упустил возможности съязвить:

— Здоров, даже если мы туда никогда не доберемся, всегда можно будет сказать, что мы его видели.

Лейтенант прикусил губу и продолжил:

— По данным разведки, там собираются японцы. Сегодня их можно ждать здесь. — После этих слов у него уже не было необходимости требовать внимания аудитории. — Их пока сдерживают другие части, но нет никакой гарантии, что они не полезут сюда снова. Именно поэтому вам выделили еще один пулемет. — Он повернулся и посмотрел вниз на джунгли. — Дорога на Грасси-Нолл проходит здесь.

Все молчали, и он махнул мне и моим парням, приглашая следовать за ним. Мы спрыгнули вниз с небольшого уступа. Лейтенант показал нечто вроде низкой пещеры на склоне холма.

— Установите свой пулемет там, — сказал он и отбыл, напоследок пообещав прислать ближе к ночи горячую пищу.

Это была ловушка.

Это была ловушка, ловушка, ловушка.

Это был слепой глаз, око зла, пустая глазница на лбу циклопа, уставившаяся с красного глиняного склона холма в глубокое ущелье, откуда на нас наползала ночь.

Мы молча переглянулись.

— Ладно, — пожал плечами я, — давайте доставим туда пулемет.

Так же молча мы его установили. Но кроме него, там хватило место только для двух человек — меня и моего помощника, Цинциннати[7], коренастого блондина из Огайо, который отличился в Австралии тем, что давал своим товарищам деньги в

долг под десять процентов.

Остальные — Бегун, Пень, санитар Рыжий и Эймиш[8] — пенсильванский голландец — пристроились на склоне холма. Я слышал, как они ходили вокруг, постепенно удаляясь все дальше и дальше от ловушки. Я ничего не говорил. Да и кто бы мог их винить? Я чувствовал, будто мне связали руки. С этой позиции воевать было невозможно. Нас уничтожат раньше, чем мы заметим противника. Группа маленьких желтокожих человечков подойдет на расстояние в несколько метров и обрушится на нас. Если мы сумеем отбиться, значит, они просто не умеют драться. Наша пещера была так плохо замаскирована и так неудачно расположена, что покончить с нами можно было одной ручной гранатой, причем с первой же попытки.

Им даже целиться не придется.

Если японцы придут сегодня, мы наверняка умрем в этой огневой точке размером с почтовую марку. Выбраться отсюда нельзя, да и некуда. Но еще хуже то, что остановить их мы все равно не сможем, бесполезно пытаться даже задержать. Одно дело — умереть, совсем другое — умереть без пользы.

Опустилась ночь. Мы сидели в полной темноте и тишине, прислушиваясь к собственному дыханию, вздрагивая от звука осыпающейся по склону земли. Далеко внизу жили своей жизнью джунгли.

Мы начали ругаться. Тихо, очень тихо, чтобы, не дай бог, никто не услышал, мы кляли на чем свет стоит непроходимую тупость офицера, который выбирал позиции, отсутствие соображения у лейтенанта Плюща и многое другое. Мы попросили самые разные вещи в отдельности и попарно, в общем и конкретно. Когда же это занятие наскучило, оказалось, что чувство беспомощности куда-то пропало. Я сказал Цинциннати:

— Начинай разбирать пулемет. Будем выбираться отсюда. Перетащим его вверх по склону. Не знаю, как ты, а я не планирую умереть без боя.

— Скажи это еще раз, — прошептал он и немедленно принялся за дело. А я выполз из пещеры, чтобы предупредить ребят.

— Бегун, Эймиш, — тихо позвал я.

— Это ты, Счастливчик? — В голосе Эймиша было удивление с примесью небольшой толики подозрения.

— Да, я. Послушай, мы перебираемся наверх вместе с пулеметом. Там внизу ловушка. Прикрывайте нас, пока мы будем двигаться, и предупредите Хохотуна и остальных, чтобы нас не подстрелили.

— Ладно, — прошептал он, и я вернулся в пещеру.

— Бери пулемет и канистру с водой, — сказал я Цинциннати, — а я возьму треногу и ящик с патронами. — Не дождавшись ответа, я тихо сказал: — Пошли.

Мы были обременены настолько тяжелой поклажей, что ползти даже не пытались. Мы просто отбросили мешки с песком, закрывавшие вход в пещеру, и выбрались из мышеловки, не способной защитить, зато вполне способной вызвать приступ клаустрофобии.

Устанавливая пулемет второй раз, мы устали и вспотели, но почувствовали облегчение. Теперь мы имели возможность драться.

Но нервное напряжение не отпускало. Не прошло и десяти минут, как я тронул руку Цинциннати. Мне почудилось движение внизу слева.

Когда же мне показалось, что я слышу команду: «Все ко мне!» — сомнений не осталось: враг был рядом.

Мы напряженно ждали, когда же покажутся маленькие желтокожие человечки, силуэты грибов со шляпками-шлемами на темном фоне джунглей.

Но никого не было.

Никто так и не появился на протяжении всей ночи, хотя мы слышали винтовочные выстрелы и звуки минометного огня. Утром мы узнали, что армейские части были атакованы, причем именно те, которые заняли наши позиции. Они сидели в наших роскошных окопах за выстроенными нами заграждениями из колючей проволоки и убивали японцев.

Мы были разочарованы, но не тем, что нас не атаковали на хребте, а тем, что нас не было там, внизу. Мы были рады, что на хребте противник не появился, поскольку здесь не чувствовали себя защищенными. Они бы смели нас без особого труда, хотя мы, наверное, смогли бы немного их задержать.

Утром мы узнали, что вечером тоже являлись расходным материалом.

— Разве вы не знали, — спросил один из тех пулеметчиков, которые заняли позиции дальше по хребту, — что мы получили приказ открывать огонь по всем, кто появится на хребте?

— Правда? А если бы это были мы? Если бы у нас стало слишком жарко и мы отступили?

— А как ты думаешь? — Парень пожал плечами. — По-твоему, мы стали бы проверять ваши увольнительные? Отстрелили бы ваши задницы ко всем чертям.

Глаза Здоровяка округлились, и он протяжно выругался:

— Ч-ч-черт бы все побрал!

Никто не выговаривал мне за самовольный перенос огневой

точки. Когда я объяснил лейтенанту, чем руководствовался, принимая это решение, и насколько новая позиция выгоднее, он согласился. Теперь мы могли вместе с Джентльменом вести перекрестный огонь, а если мой пулемет будет подавлен, Джентльмен сможет открыть навесной огонь.

На хребте мы оборудовали настоящую крепость.

Мы очистили края ущелий. На ровных участках протянули колючую проволоку. Джунгли нашпиговали ловушками с ручными гранатами. Мы наполнили канистры бензином и закрепили их на деревьях так, чтобы их было видно с огневых точек. Теперь мы легко могли их поджечь зажигательной пулей. Мы принесли от артиллеристов 105-миллиметровые снаряды и закопали их в джунглях, приготовив к детонации с помощью электрических проводов, протянутых в наши окопы. Мы выкопали одиночные окопы между огневыми точками, а позже — траншеи между окопами. В общем, хребет, на котором закрепились мы с пулеметами и стрелки из роты G, был укреплен довольно-таки грамотно. В конце концов мы исследовали джунгли перед нами на предмет выявления всех ровных участков, где противник, если появится, будет с наибольшей вероятностью устанавливать минометы или пулеметы, и взяли их под самое пристальное наблюдение. Все они прекрасно простреливались.

Пока мы работали, омерзительно яркое солнце палило совершенно безжалостно. На хребте не было ни одного дерева. Нигде не было тени — только если скорчиться на дне окопа, а к середине дня жара и там становилась непереносимой.

Мы истекали потом, а язвы на руках и ногах расцветали пышным цветом. Любого из нас охватывало настоящее отчаяние даже из-за самых пустячных царапин, без которых нельзя обойтись при таком обилии колючей проволоки. Мы знали, что на кровь моментально слетятся все окрестные мухи, но ничего не могли поделать. Только находясь в постоянном движении, можно было держать назойливых жирных мух на расстоянии. Мы находились на большой высоте над уровнем моря, однако мухам это не мешало. Сюда не долетали москиты, но мух было в избытке.

Иногда в язве скапливалось слишком много гноя, и она начинала невыносимо болеть. Тогда Рыжий — наш санитар — извлекал из недр своего мешка усыпанный пятнами ржавчины скальпель и вскрывал нарыв. Если он выглядело слишком уж страшно, Рыжий позволял себе спросить:

— Давно это у тебя?

— Около недели.

— Серьезно? — вопрошал он светским тоном, как человек,

обсуждающий красивые циннии в саду соседа, после чего втыкал скальпель в рану со всем усердием мастера, серьезно относящегося к своей работе.

Кирпич, парень из моего отделения, очень страдал от гнойных язв. Из-за них его ноги казались вдвое толще. Кроме того, он, как и Рыжий, очень страдал от жары. У обоих была тонкая, нежная и очень белая кожа, но реагировали они на ниспосланное им испытание по-разному.

Кирпич не выдерживал. Всякий раз, когда солнце достигало зенита, он удалялся в окоп и лежал, прижимаясь лицом к канистрам с водой и водрузив на лоб мокрую тряпку. Иногда ему было так плохо, что он едва мог шевелиться. Только назначение в рабочую партию, отправляющуюся в более прохладные районы, или благословенный дождь спасали его от ежедневной агонии.

А Рыжий становился кротом. Его каска была постоянно надвинута на глаза, а тело он укутывал так, словно был не в тропиках, а в Арктике. И уходил в себя.

Он почти не разговаривал с нами и открывал рот, только если требовалась срочная медицинская консультация, причем неизменно вещал с великолепным апломбом, сравниться с которым могло только потрясающее невежество его собеседника. Иногда он начинал длинные монологи относительно того, удастся ли ему устроиться служить где-нибудь неподалеку от его родного города Утика, если, конечно, он выживет на Гуадалканале.

Но эта каска! Он носил ее всегда и везде. Он носил ее для защиты от жары и от бомб. Он спал в ней и в ней купался. Его часто можно было видеть стоящим посреди небольшой речушки возле позиций роты Е. Его всегда можно было узнать по странно белой коже и неизменной каске на голове.

Высказаться по этому поводу или же просто крикнуть: «Рыжий, да сними же ты, наконец, эту чертову каску!» — означало нарваться на полный лютой ненависти взгляд. Его лицо становилось злым, как у изготовившегося к нападению зверя.

Вскоре каска стала нашей навязчивой идеей. По нашему мнению, она был признаком безумия Рыжего. А если так, тогда кто следующий? Мы страстно желали от нее избавиться.

— Единственное, что мы можем сделать, это изрешетить ее пулями, — заявил Хохотун.

Мы собрались на нашем обычном месте на склоне холма посередине между окопом Хохотуна и моим. Рыжий сидел в стороне, глаза, как обычно, закрыты надвинутой на них каской. Первым отреагировал Здоровяк:

— Кто будет стрелять?

— Я! — ответствовал Хохотун.

— Почему это ты? Будем тянуть жребий.

Хохотун начал протестовать, но нас было больше. Оказалось, что спорить с ним не стоило. Все равно нужную соломинку вытянул он.

План был таков: Бегун отвлекает Рыжего разговором, я подхожу сзади и сбиваю с него каску, а Хохотун поливает ее огнем из пулемета, пока та катится по склону холма.

Бегун немедленно взялся за дело. Он сел рядом с Рыжим и громко поинтересовался, какие у него планы после возвращения с Гуадалканала. Рыжий немедленно оседлал любимого конька — заговорил о милой его сердцу Утике, а я подкрался сзади и сшиб с его головы каску.

И тут же заговорил пулемет Хохотуна.

Двойной шок от потери каски и неожиданно раздавшегося грохота стрельбы заставил Рыжего подскочить. Он обеими руками схватился за голову — за ярко пламенеющую макушку, словно желая удостовериться, что ее не снесло вместе с каской. На его физиономии был написан дикий ужас. Все сидящие вокруг приняли посильное участие в разыгравшемся действе. Они подбадривали нас криками, давали советы, как лучше целиться по катящейся мишени.

— Хорошо катится!

— Гип-гип-ура! Так ему и надо!

— Эй, Рыжий, как ты себя чувствуешь без своей жестянки?

— Не промахнись, парень! Расстреляй эту штуковину, чтобы от нее мокрого места не осталось!

Вся в пулевых отверстиях, каска исчезла из вида. Бегун крикнул Хохотуну, чтобы тот прекратил огонь, и бросился вниз — посмотреть, что осталось от каски. Обнаружив изгвазданный головной убор, он торжественно доставил его обратно и бросил к ногам Рыжего.

Тот смотрел на остатки каски с неприкрытым ужасом. Потом он оглянулся на нас. В его глазах не было ненависти. В них стояли слезы. Он смотрел на нас глазами смертельно раненного животного, которого настиг удар с совершенно неожиданной стороны.

В глубине души мы надеялись, что он засмеется. Но он зарыдал и побежал от нас прочь.

Как выяснилось, он направился в хозяйственную часть батальона и оставался там до тех пор, пока ему не нашли новую каску. Потом его с трудом убедили вернуться обратно. Он стал вести себя еще более сдержанно, все время держался особняком, а его новая каска с тех пор всегда была крепко прихвачена

ремешком под подбородком. Больше ни у кого не возникало желания снова лишить его каски или пошутить насчет обстоятельств, при которых он лишился старой.

* * *

Наступил ноябрь. Со дня нашей высадки прошло более трех месяцев. Весь октябрь японцы атаковали позиции нашей дивизии. Они подходили ночью к какому-нибудь участку периметра, атаковали узким фронтом и слегка продвигались вперед. Утром их отбрасывали назад с огромными потерями. После чего все повторялось снова и снова. Японцы не унимались. Вряд ли в наших трех пехотных полках — 1-м, 5-м и 7-м — остался хотя бы один батальон, которому не довелось бы поучаствовать в сражении. Да и щенков из 164-го пехотного война не обошла стороной. А японцы продолжали прибывать. Иногда мы видели, как с транспортов, подошедших к Кокумбона, выгружается пополнение.

Иногда наши старенькие «аэрокобры» взлетали, чтобы бомбить транспорты или же обстрелять их с бреющего полета. Мы всегда очень радовались, видя их пролетающими над нашими головами по пути к своим потенциальным жертвам. Зрелище наших самолетов, атакующих противника, всегда было захватывающим и никого не оставляло равнодушным.

А японцы все прибывали. Теперь у них появилась тяжелая артиллерия, а в районе реки Матаникау видели даже танки. Они нападали на наши позиции каждую ночь, всякий раз оказывались отброшенными, но каждую ночь их приходилось ждать. Время двигалось прерывистыми скачками — так резко, отрывисто дышит ребенок, испуганный доносящимися из темноты звуками. Каждую ночь мы, затаив дыхание, вглядывались с хребта вниз, в ущелья, пытаясь разглядеть песчаные пляжи, реки, укрытия на аэродроме. Мы все превращались в единое целое, в некий гигантский организм, затаивший дыхание, чтобы не пропустить звук вторжения. И только утром мы получали возможность сделать громкий, долгий, восхитительный выдох.

...А они продолжали прибывать.

Они привозили с собой самолеты — новенькие, красивые, блестящие, похожие на летающую рыбу, по недоразумению поднявшуюся слишком высоко в ярко-голубое небо. Иногда, до начала или после окончания бомбежки, над хребтом разыгрывались воздушные бои, причем самолеты были настолько близко, что до них, казалось, можно было дотянуться рукой.

Как-то раз из группы самолетов вывалился Зеро, надумавший с нами поиграть. Хохотун очень разозлился, вытащил пулемет и открыл ответный огонь по вконец обнаглевшему противнику. Он знал, что таким образом попасть в летящий самолет практически невозможно, но сдержаться не мог. Не нравилось ему, когда япошки так куражатся.

Он отчаянно ругался, понося на чем свет стоит наглого ублюдка, устроившего на нас охоту.

— Счастливчик, — завопил он, — чего же ты ждешь? Помоги!

Я побежал на помощь. Но Зеро приближался быстрее. Прежде чем я успел добежать до товарища, он уже ревел над нашей головой. Заметив столбики пыли, поднимаемые ударяющими в землю пулями, услышав мелодичный перестук пустых гильз по камням, я повернулся и устремился прочь. Хохотун распластался на земле. Я бежал. Самолет за моей спиной ревел и с громким лаем выплевывал смертоносные пули. Я спрыгнул со склона холма, на котором находилась покинутая нами в первую ночь пещера. Зеро прогрохотал дальше, а я приземлился на плоский уступ двумя метрами ниже.

А наверху продолжал ругаться Хохотун. Я вскарабкался к нему, помог правильно установить пулемет и зарядить его, после чего мы стали ждать возвращения Зеро.

Тот сделал вираж и снова приближался.

— Ну давай же, сукин сын, — бормотал Хохотун, следя ненавидящими глазами за вражеской машиной, — подходи поближе, сейчас тебе мало не покажется.

И опять вокруг застучали пули, заплясали столбики пыли. Наш пулемет заговорил во весь голос — мы были полны решимости достать мерзавца. Но в это время со стороны хребта появились две «аэрокобры», и Зеро исчез. Я только говорю, что он исчез. Полагаю, он был разнесен на молекулы, дезинтегрировал под яростным огнем пушек, установленных в носовой части «аэрокобр». Хотя взрыва я не слышал — возможно, потому, что хребет был преградой для многих звуков, сопровождавших групповые воздушные бои, бомбежку аэродрома и огонь зениток.

Кстати, наши зенитные батареи доставляли нам немало беспокойства. Зенитные снаряды летели вверх, взрывались в воздухе, и наш хребет зачастую звучал, как ксилофон, реагируя на падающую шрапнель.

Мы укрывались от этого опасного для здоровья дождя так же, как от вражеских пуль и бомб. Становилось не по себе, если ты по какой-то причине забрел далеко от надежного укрытия и увидел приближающийся вражеский самолет, окруженный черными пятнами взрывов, а потом услышал мелодичный стук шрапнели

по камням.

Как-то раз ясным и теплым днем в середине ноября я как раз находился на батальонном командном пункте, когда объявили воздушную тревогу и в небе появилась эскадрилья вражеских самолетов, летящая строем в форме буквы V. Наши батареи ПВО открыли огонь, стараясь заставить их повернуть в сторону и сбросить свой смертоносный груз на джунгли, не причинив никому вреда.

Очень быстро я остался один. Все попрятались в укрытия. Я носился от окопа к окопу в поисках свободного уголка, но все было переполнено. В конце концов я добрался до офицерского убежища, оборудованного на склоне холма. Вокруг меня уже падали осколки, выстукивая по камням мелодичную фугу, когда я откинул мешковину, загораживающую вход в убежище, и уставился прямо в грозный, немигающий стеклянный глаз капитана Большое Ура. Какое же ни с чем не сравнимое презрение было написано на его лице! Я почувствовал себя обладателем билета в общем вагоне, пытающимся проникнуть в роскошное купе. Его враждебность была ощутима, как пощечина. В ту же минуту я люто возненавидел капитана Большое Ура и всех представителей его класса.

Я пробормотал извинения и поспешно выпустил из рук мешковину. Так я снова остался в одиночестве на хребте под дождем шрапнели. Но пусть я лучше погибну здесь, чем мое присутствие будут терпеть там. Однако же я не получил ни царапины, зато пострадала моя чувствительность.

* * *

Сувенир появился, когда мы были на хребте. После Тинару я его не видел. Теперь он был одним из полудюжины снайперов в полковой разведке. С промежутками в неделю или около того он спускался вниз в джунгли, чтобы провести разведку на Грасси-Нолл. С ним ходил сержант-морпех — неповоротливый молчун с буйной гривой рыжих волос на массивной голове и огромной рыжей бородой, делающей его похожим на рождественского Санта-Клауса. Он никогда не раскрывал рта, пока они двигались вниз по нашему холму, но Сувениру очень нравились добродушные шутки, которыми всегда сопровождалось его появление, и он ни одну не оставлял без ответа.

— Эй, Сувенир, где же твои щипцы?

— Вы же меня знаете, парни, — довольно ухмылялся он, похлопывая себя по заднему карману, — скорее уж я винтовку

забуду.

— А может, махнемся, а, Сувенир? За мешочек, что висит у тебя на шее, я дам десять баксов.

— Я тебя понимаю, — хохотнул Сувенир. — А может, тебе еще и пинту кровушки моей отлить?

— Ну и сколько у тебя в мешочке зубов?

— Это мое личное дело.

— Сто?

— Все может быть.

Ухмыляясь в усы, Сувенир скрывался в джунглях. Его знаменитый мешочек с золотыми зубами японцев всегда вызывал к нему повышенное внимание. Даже в отсутствие Сувенира этот мешочек часто становился предметом обсуждения.

— Интересно, сколько все-таки у него там зубов?

— Понятия не имею, но парень из его взвода рассказывал, что только на Хелл-Пойнт он добыл пятьдесят штук. А это было три месяца назад. И все это время он регулярно ходил в разведку. Думаю, у него там не меньше семидесяти пяти штук.

— Это же пара тысяч долларов, не меньше. Черт побери! Я бы тоже хотел иметь такую сумму, когда мы вернемся в Штаты. Я бы снял номер в гостинице и...

— А что, интересно, заставляет тебя думать, что ты еще вернешься в Штаты? Любой, кто думает, что еще попадет домой, — форменный псих. Надо еще уцелеть на этом дьявольском острове. Даже если кому-то из нас очень повезет, домой мы попадем ох как не скоро.

— Провались все...

* * *

Мы становились злыми и раздраженными. С каждым днем наши силы таяли, многие из нас попали во власть некой тяжелой физической депрессии. Зачастую мы тратили все свои силы, чтобы добраться до камбуза. Все-таки для этого надо было сначала спуститься с холма вниз в ущелье, где был устроен камбуз, а затем забраться обратно. Иногда, если дождь был особенно сильным, мы пропускали прием пищи, забывая о ней, даже если живот подводило от голода. На склоне холма становилось слишком скользко, и это препятствие вполне могло стать непреодолимым.

Дождь.

Наступил сезон дождей. На хребте от них негде было укрыться, и они обрушивались на нас стремительными потоками.

Чтобы промокнуть до нитки, достаточно было нескольких секунд. Первое, что мы при этом делали, — лязгая от холода зубами, лихорадочно разыскивали по карманам драгоценные сигареты, чтобы переложить их в спасительную сухость каски. Правда, нередко оказывалось слишком поздно и оставалось только смириться с безвозвратной гибелью этого удивительно скоропортящегося в условиях повышенной влажности продукта.

После сигарет следовало позаботиться о боеприпасах. Вода, сбегающая по склону, проникала в наши окопы, словно они были канализационными люками. Поэтому нам приходилось мчаться туда и убирать ящики с боеприпасами с пути водных потоков, ставя их друг на друга в немногочисленных сухих местах. Все сухие участки окопов использовались для хранения боеприпасов. Те, кто прятался там от дождя, сидели на канистрах с водой.

Бывало, что ливень зарядит на целый день, а то и не на один. В таких случаях я лежал, промокший и дрожащий, на дне окопа и лишь изредка выглядывал, чтобы в очередной раз убедиться: наш хребет находится во власти льющихся с неба нескончаемых потоков воды. Серая пелена дождя окутывала все вокруг, и казалось, что так теперь будет всегда. В такие дни человеческий мозг отказывается функционировать. Он погружается куда-то в темные глубины, как красные кровяные тельца удаляются от поверхности тела в минуты волнения. Человек перестает быть рациональным, мыслящим существом, становится чрезмерно чувствительным, чем-то вроде моллюска, приклеившегося к днищу корабля. Он ощущает, что пока еще жив, чувствует холод и влагу, но не способен на сознательные поступки. В таком состоянии у него только один путь — прямая дорога к безумию.

На время превратившись в бездумную улитку, я сделал открытие. Оказывается, даже в холодной влаге есть тепло.

На хребте только у меня была походная койка. Я поставил ее в своем окопе. На ней я аккуратно расстелил забрызганный грязью плащ. Нам не разрешалось высовываться на поверхность, чтобы не засек противник. Я зарывался поглубже в свою пору и иногда, приняв меры по ее осушению и завернувшись в плащ, даже оставался относительно сухим. Но если дождь был слишком сильный или затяжной, ничего не помогало. Окоп наполнялся водой, которая поднималась до уровня моей кровати, и я оказывался лежащим в луже. Было очень холодно. Холод проникал до самых костей — изнуряющая жара, стоявшая перед этим, отучила нашу кровь разносить по телу тепло.

В конце концов я с отвращением выволок мою кровать на склон холма. Черт с ней и со мной тоже. Пусть меня подстрелит какой-нибудь японец, если этот близорукий ублюдок сможет что-

нибудь разглядеть за плотной завесой дождя и если он настолько туп, что захочет этого.

Я расстелил пропитанное влагой одеяло на кровати, а другое натянул сверху. Чудеса! Мне стало тепло! Было мокро, но очень уютно. Вокруг лилось и капало, но было тепло. Я понимал, что выгляжу жалко, но с наслаждением рассмеялся.

Посмотрите на меня, если, конечно, хотите, и вы поймете, что такое война на Тихом океане.

Взгляните на наш хребет, возвышающийся, словно гигантский кит, над зеленым морем джунглей. Окиньте взглядом холм и попробуйте обнаружить признаки жизни. Не найдете, можете даже не стараться. Вы увидите только серую стену дождя, походную койку и маленького человечка, скорчившегося под насквозь промокшим одеялом.

Но он счастлив! Он, и только он один во всем мире знает, как восхитительно тепло может быть под мокрым одеялом.

* * *

У Бегуна начался приступ малярии. Несколько дней его подержали в полевом госпитале батальона, а потом отправили обратно на позиции. Он лежал в своей норе, неспособный даже поесть. Когда его бил озноб, мы несли ему наши одеяла, когда же лихорадка проходила и пот начинал струиться из всех пор его тела, он укладывался на спину и принимался блаженно улыбаться. Он едва мог говорить, но постоянно шептал:

— Боже, как хорошо! Как приятно! Как прохладно!

* * *

В середине ноября мы узнали, что наступил кризис. Наша дивизия продолжала отбрасывать японцев, даже иногда переходила в наступление. Силы противников, пожалуй, были равны. По кризис был очевиден. И наступил он именно в середине ноября. Он висел в воздухе, стал частью атмосферы. Как человек может почувствовать присутствие противника в темноте, так и мы ощущали приближение чего-то большого и враждебного. С севера подходили свежие японские части. Если им будет сопутствовать успех, нас они сметут с лица земли.

Но в преддверии кризиса всегда наступает период безосновательного оптимизма. Так и перед наступлением нашего кризиса в бухту очень резво вошла флотилия. И мы

преисполнились уверенности, что прибыло долгожданное подкрепление.

— Ура! — завопил Меченый, на мгновение растеряв свой всегдашний апломб. — Флот! Наш флот вернулся! Посмотрите на пролив! Да смотрите же! Крейсер и три эсминца.

Мы поспешно направились к гребню хребта, откуда открывался великолепный вид на северную часть Гуадалканала, море и близлежащие острова. С такого расстояния пролив казался голубой лагуной.

Но там действительно стояли военные корабли. Мы стали хлопать друг друга по плечам, пожимать руки, даже слегка приплясывая от избытка чувств. Хохотун, Бегун, Пень, Здоровяк — все мы изо всех сил напрягали глаза, стараясь разглядеть приближающиеся транспорты. Пока их не было видно.

А потом возник вопрос:

— Кто сказал, что это наши? Молчание.

Довольно скоро ответ дали корабельные орудия. Они стреляли по нашему острову! При ярком свете дня, с великолепным высокомерием, вооруженные не только орудиями, но в первую очередь презрением, они посылали залп за залпом в сторону аэродрома, потопили несколько небольших суденышек, на свою беду оказавшихся у них на пути, прошли по проливу, должно быть, чтобы убедиться в отсутствии там наших судов, и вернулись туда, откуда пришли. Вокруг кормы каждого бурлила и пенилась вода.

Досадно.

Наш весьма богатый ненормативной лексикой словарный запас оказался недостаточно полным, чтобы выразить охватившие нас чувства — горечь, отчаяние, разочарование.

Вернувшись на свой холм, мы начали обсуждать случившееся, отчаянно пытаясь хотя бы немного ослабить усилившееся после всего увиденного напряжение.

В ту ночь мы не торопились расходиться, а долго сидели возле окопа Хохотуна, хотя ночь была темной и вроде бы располагала ко сну, вспоминали, как тщетно пытались развлекаться, когда ночи были еще светлыми, искали веселье там, где его не было, да и быть не могло.

В конце концов все расползлись по своим норам. Нас поднял на ноги морской бой. Ночную тьму разорвал возбужденный голос обычно невозмутимого Меченого:

— Подъем, парни! Морской бой! Отсюда все видно!

Я часто думаю о Судном дне, о Божьей каре. Я думаю о взрывах звезд, об исчезающих в сгустке пламени планетах. Я думаю о вулканах, о гигантских выбросах энергии, о холокосте.

Тем не менее я не могу выразить словами все то, чему стал свидетелем, стоя на гребне хребта.

В темноте висели осветительные снаряды — красные, словно око дьявола, и потому еще более ужасные. Трассирующие снаряды рисовали в темном небе оранжевые дуги. Иногда мы непроизвольно втягивали головы в плечи — нам казалось, что они тянутся прямо к нам, хотя до них было много километров.

Море казалось отполированной обсидиановой столешницей, на которой кто-то в беспорядке разбросал военные корабли, окружив их концентрическими кругами, — так вокруг брошенного в стоячую воду камня расходятся круговые волны.

Наш остров содрогался, откликаясь на мощные звуки оттуда. Вот в самом центре черноты появилась светящаяся точка. Она росла и росла и в конце концов залила весь мир, и нас в том числе, бледно-желтым светом. Затем от нее прокатился ужасный, просто кошмарный рев, и всех нас непроизвольно охватил страх. Нам показалось, что остров уходит из-под наших ног, хребет дрожит, как гигантский кит, пытающийся освободиться от попавшего в него гарпуна, — в живую, влажную плоть врезалось железо.

Взорвался большой корабль.

Мы не могли даже предположить, чей это был корабль. Мы могли только сидеть или лежать на склоне холма и, затаив дыхание, видеть, что идет морское сражение, а после его окончания — разойтись по окопам и ждать рассвета, тихо переговариваясь и стараясь унять биение сердца. Если бы результаты не были для нас жизненно важными, нас, вероятно, можно было бы сравнить с болельщиками, жаждущими узнать итоги последнего чемпионата мира.

Рев множества двигателей на аэродроме подсказал нам, что победа осталась за нами.

С самого рассвета с аэродрома стали взлетать наши самолеты, которые устремлялись в погоню за вражеским флотом. Рев их двигателей казался нам таким же триумфальным, как марш из «Аиды». Мы всячески выражали свою радость и махали руками всем самолетам, пролетавшим над нашей головой, подбадривали их, желали побольше прямых попаданий, чтобы поскорее смести японскую армаду с поверхности моря, отправить ее в небытие.

Все это очень возбуждало. Рев двигателей самолетов постоянно присутствовал в воздухе над нашей головой. Они улетали и возвращались весь день, даже самые старые и изношенные, и мы не уставали напутствовать их приветственными возгласами, желать удачи. Весь Гуадалканал

был жив надеждой, трепетал, ощущая запах победы. Мы сами себе напоминали осужденных, с которых неожиданно сияли тяжелые оковы. С плеч свалилась гигантская тяжесть. Враг бежит! Осада снята! И целый день воздух над островом был наполнен грохотом двигателей и благодарственной молитвой, поднимавшихся в небеса. Ах, как сладок был в тот день воздух! Каким он был свежим и чистым! Какой мощной жизненной силой наполнял наши измученные тела! Быть расходным материалом — и рождаться заново. Создавалось впечатление, что наши души покинули свои старые телесные оболочки, исполненные безнадежной меланхолии, оставили их лежать в грязи — кучей грязного, изорванного тряпья — и вселились в другие, искрящиеся надеждой и радостью жизни.

На Гуадалканале события изменили свое направление.

* * *

Хохотун обнаружил в своих вещах, которые хранил в окопе, скорпиона.

— Эй, Счастливчик! — завопил он. — У меня в вещах скорпион! Иди скорее сюда!

Я немедленно пришел и уставился на похожее на мохнатого краба создание, угрожающе шевелящее своим страшным хвостом.

— Давай посмотрим, действительно ли они могут совершить самоубийство.

Хохотун взял камень и сильно стукнул по дну ящика, загнав скорпиона в угол. Удар пришелся довольно близко от места, где тот сидел. Мы наблюдали. Затаив дыхание, мы следили, как его хвост вздрогнул, медленно поднялся вверх, изогнулся дугой и впился в спилу скорпиона. Он несколько раз дернулся и затих — вроде бы умер.

— Черт бы меня побрал! — выдохнул Хохотун. — Ты видел?

Он хотел сразу же перевернуть ящик и вытряхнуть мертвого скорпиона на землю, но я предложил немного подождать, чтобы окончательно увериться. Мы отошли подальше от окопа и оставили скорпиона там. Вернувшись через пять минут, мы обнаружили, что скорпион исчез.

— Обалдеть! — возмутился Хохотун. — Никому нельзя верить! Даже скорпионам!

6

Хохотун и я приступили к снабжению нашего взвода продовольствием. Лейтенант Плющ отпустил нас в свободный поиск, как охотничьих собак, и теперь каждый день мы засовывали пистолеты за ремни выгоревших на солнце штанов, которые мы уже давно обрезали выше колен, брали пустые мешки, надевали каски и уходили с хребта вниз.

Спускаться приходилось пешком, но внизу вполне можно было рассчитывать на попутки. Нашей целью стал склад продовольствия, устроенный недалеко от наших первых оборонительных позиций на берегу океана. После поражения японского флота на Гуадалканал поступало достаточно много продовольствия. Но распределялось оно, как и во всех армиях, начиная с Агамемнона, поэтому еще даже не начинало поступать на передовую. Оно направлялось прямиком на камбузы и в желудки представителей штабных и прочих тыловых подразделений, расположенных в достаточном удалении от линии фронта, иными словами, тех, кому всегда завидуют и кого одновременно презирают все фронтовики.

Мы же считали все эти припасы по праву своими, независимо от того, находились ли они за колючей проволокой продовольственного склада или в палатках тыловиков. Мы добывали их любыми доступными способами. Чтобы обеспечить себя едой, мы могли красть, просить, врать.

Спрыгнув с кузова грузовика, доставившего нас поближе к цели нашего путешествия, мы первым делом направлялись к хорошо охраняемому продовольственному складу. К нему приходилось ползти. Подобравшись вплотную к забору, где нас не могли заметить часовые, сидевшие с винтовками на коленях на высоких штабелях ящиков, мы разрывали мягкую землю под забором и пробирались внутрь.

Прячась за штабелями, мы двигались вперед в поисках консервированных фруктов, бобов, спагетти, венских сосисок. Иногда удавалось отыскать даже колбасный фарш. Представляете? Настоящий колбасный фарш! И пусть кто-то в Штатах считает переработанную свинину, которую все называют колбасным фаршем, отравой. На Гуадалканале это был общепризнанный деликатес. Мы часто рисковали нарваться на пулю, целеустремленно пробираясь именно к ящикам с этим восхитительным продуктом и вытаскивая их из того самого штабеля, на котором восседал часовой. Именно так мышка таскает сыр прямо из лап уснувшего кота.

Через некоторое время необходимость в таких предосторожностях исчезла. Продовольственный склад стал самым популярным местом на острове. Ведущие сюда дороги

заполнились «грабителями» вроде нас — пистолеты за поясом или винтовки на плечах, пустые мешки в руках. Теперь они походили не на лазутчиков, а на прогуливающуюся в выходной день вокруг стадиона толпу. Под забором появилось так много лазов, что проникнуть на территорию склада можно было в любом месте. Оказавшись внутри, бородатые морпехи чувствовали себя хозяевами. Они с удовольствием разрывали коробки, вскрывали ящики, забирали, что приглянулось, а остальное отбрасывали в сторону. Наполнив мешки, они гордо удалялись, не обращая внимания на оклики и приказы часовых.

Понятно, что такое нашествие довольно быстро опустошило склад и привело к усилению охраны. Тогда мы обратили свои взоры на корабли. После морского сражения наши корабли почти всегда стояли на якорях в проливе.

Мы надеялись обменять единственное имущество морских пехотинцев — рассказы и сплетни — на восхитительный кофе моряков, а если повезет, то и на что-нибудь сладкое.

Мы ожидали, пока подошедшая к берегу шлюпка окажется пустой, после чего шли к рулевому.

— Эй, моряк, как насчет прогулки на твой корабль?

Здесь не было никакой наглости, ничего дерзкого или вызывающего. Это было больше похоже на игру, а мы — на детей, стоящих в канун Рождества на пороге кондитерского магазина. Мы старались расположить к себе моряков, заставить их забыть о правиле, запрещающем морским пехотинцам посещать корабли. За себя мы не опасались — да и как нас могли здесь наказать? Но моряков надо было убеждать. Нередко бывало, что, когда шлюпка уже подходила к борту, заметивший нас вахтенный офицер начинал кричать:

— Нет! Ни в коем случае! Рулевой, немедленно доставьте морпехов на берег. Вы же знаете, что им запрещено подниматься на борт. Вы меня поняли?

— Но, сэр, — вступал в разговор кто-то из нас, — я только хотел навестить своего земляка. Ведь нет ничего плохого в том, что мы с друзьями повидаемся с товарищем? Мы жили по соседству, на одной улице, можно сказать, выросли вместе. Я не видел его с самого начала войны. Он был у постели моей бабушки, когда она умирала.

Теперь все зависело от офицера, от того, насколько он желает быть обманутым. Если он спросит, как зовут товарища, все пропало. Если же он будет настолько глуп, что поверит этой очевидной лжи или же просто понимающе ухмыльнется и отвернется, тогда можно смело хватать веревочный трап и забираться на палубу.

А уж оказавшись на корабле, можно было ничего не опасаться. Мы рассказывали всевозможные байки и угощались великолепным кофе, меняли сувениры на еду и сладости. Вокруг нас на камбузе сразу собирался кружок матросов. Мы всегда были в центре внимания.

— Значит, японцы шли прямо на штыки, словно не боялись смерти? — уточнял моряк, вновь наполняя наши кружки ароматным кофе.

— Именно так, — следовал ответ. — Мы нашли у них наркотики. У них у всех были с собой шприцы и пакетики с наркотиком. Они накачивались перед атакой, а потом уже перли напролом. (У японцев никогда не находили ничего подобного.)

— А правда, что морские пехотинцы отрезали им уши?

— Ну да! Я знаю одного парня, который собрал целую коллекцию. В основном после сражения на Хелл-Пойнт — это на Типару, вы знаете? Он подвесил их на веревке, чтобы высушить, но не получилось — как назло, зарядили дожди, и они все сгнили.

— Хотите — верьте, хотите — нет, но половина японцев говорит по-английски. Как-то раз мы забрались далеко в джунгли и шли, переговариваясь между собой. Один из нас сказал, что узкоглазые ублюдки жрут всякий мусор, другой, что все они сукины дети. И тут до нас донесся голос из чащи. И знаете, что этот ублюдок сказал? «А пошли вы все к чертовой матери!»

Раздался дружный хохот, а мы протянули опустевшие чашки за очередной порцией.

На некоторых кораблях моряки отличались особой щедростью, и тогда мы возвращались на свой хребет с мешками, наполненными сладостями и такими необходимыми вещами, как бритвенные лезвия, куски мыла, зубные щетки, и прочими ценнейшими трофеями. Должен признать, что мы отнюдь не были бескорыстными при их распределении, особенно когда речь шла о сладостях. Мы считали, что следует учитывать вклад каждого в их добычу. Иными словами, сладости мы оставляли себе.

Однажды, услышав, что к нашим берегам прибыл 8-й полк морской пехоты — «голливудские морпехи» — и привез с собой военный магазин, Хохотун и я отправились в набег.

Мы обнаружили две палатки и двух охранников, стоявших перед каждой палаткой и державших винтовки с примкнутыми штыками. А за палатками начинались густые заросли. Неохраняемый тыл! Беззащитный зад! Неужели они думали, что заросли, какими бы густыми они ни были, являются непроходимыми? Неужели они считают свое имущество в безопасности под защитой почти бумажной задней стенки

палатки?

Удивленные и озадаченные, мы удалились на совет в расположение ближайшей артиллерийской батареи. Обменявшись мнениями, мы пришли к единодушному мнению, что есть все основания рассчитывать на полное поражение 8-го полка морской пехоты.

Мы составили план. Мне предстояло войти в джунгли и проложить путь к задней стенке большей из палаток. При мне будут два мешка. Спустя четверть часа Хохотун должен будет подойти к палатке и завязать разговор с часовыми. Услышав голоса, я должен пробраться в палатку, наполнить мешки и скрыться в джунглях.

Когда я начал пробираться к палатке, холодный сумрак джунглей оказался очень кстати. Мой тесак был очень острым, поэтому я без труда проложил себе дорогу сквозь хитросплетение лиан и ползущих растений, преграждающих мне путь. Требовалось соблюдать особую осторожность, поэтому вперед я продвигался медленно. Надо было пройти, не потревожив птиц, которые могли меня выдать. Когда я, наконец, добрался до задней стенки палатки, то успел весь взмокнуть. Ладонь, сжимавшая рукоять, тоже стала влажной, и я очень боялся, что в самый неподходящий момент нож выскользнет. Еще на подходе к цели я услышал голоса — значит, я пробивался дольше, чем рассчитывал.

Прикоснувшись к шершавой поверхности брезента, я почувствовал прилив возбуждения. Проведя острым лезвием по натянутому полотну, я проделал отверстие и сразу почувствовал резкий запах — в палатке сильно пахло креозотом. Пришлось слегка расширить дыру, чтобы обеспечить доступ воздуха и света.

Ящики были уложены высокими штабелями. Я стал рассматривать надписи на них. В основном там были сигареты. Это была насмешка. С сигаретами на Гуадалканале проблем не было. Но ящиков было еще много, и я продолжал переводить заливаемые потом глаза с одного на другой, разыскивая нужное. Очень скоро я обнаружил ящик, в котором, судя по надписи на боку, было печенье. Не теряя время на дальнейшие поиски, подгоняемый голосами Хохотуна и охранников, я принялся перекладывать содержимое ящика в мешки.

Занятый этим важным делом, я почувствовал, как во мне заговорила жадность. «Возьми еще, — настаивала она, — ты можешь вытащить отсюда в джунгли еще много всего». Я на мгновение засомневался, но решил прислушаться к внутреннему голосу и возобновил работу.

Наполнив один мешок, я встал, чтобы перевести дыхание, и

прислушался. Громкий смех Хохотуна легко проникал сквозь брезентовые стены. Я наклонился, чтобы продолжить дело, и мой взгляд наткнулся на открытый ящик в соседнем штабеле.

Там были сигары.

Если печенье на Гуадалканале было на вес золота, то сигары — на вес платины. Выше ценилось только виски, но его на Гуадалканале не было вообще. До последнего времени не было и сигар. Возможно, я набрел на единственную их партию на острове.

Я уже совсем было собрался вытряхнуть из мешка печенье, когда сообразил, что пять коробок сигар как раз уместятся во второй мешок. Я их быстро уложил, закинул один мешок на спину, другой взял в руки и, держа его перед собой, выскользнул из вонючей духоты палатки в прохладу джунглей.

Надежно спрятав мешки, я вышел и присоединился к Хохотуну.

Увидев меня, он довольно ухмыльнулся.

— Эй, что, черт возьми, ты тут делаешь? Ищешь, где что-нибудь плохо лежит? — Он слегка подтолкнул локтем охранника и нарочито понизил голос: — Вы тут присматривайте за ним. Он из Джерси, за ним нужен глаз да глаз: только отвернешься, он что-нибудь стянет.

Он снова с усмешкой взглянул на меня, и я отчетливо разглядел маленьких чертиков, пляшущих в его глазах. Но часовой, по всей вероятности, не счел шутку удачной. Он насторожился, плотно сжал губы, а рука, держащая винтовку, напряглась. Ох уж этот Хохотун. И чего ему неймется? Мало того что нам пришлось совать голову в пасть льва, он решил при этом еще и подразнить хищника.

Я как можно более весело хихикнул и через несколько минут сумел увести его подальше от часовых.

— Ты — ненормальный ублюдок, — констатировал я, когда мы удалились на безопасное расстояние. — Чего ты хотел добиться?

Отчаявшись убедить приятеля в неправильности такого поведения, я пожал плечами и ускорил шаг. Мы ушли, чтобы осторожно вернуться через несколько часов за нашей добычей.

Вернувшись на хребет, мы получили возможность в полной мере насладиться беззастенчивой лестью, даже подхалимством окружающих. Печенье мы разделили с товарищами, а сигары придержали для себя. После этого в течение многих дней к нам в окоп сплошным потоком шли офицеры — настоящее паломничество. Один раз пожаловал даже майор из летчиков. Всем хотелось получить вожделенную сигару. Они все как один

заискивающе улыбались, были полны фальшивого дружелюбия и необыкновенно щедры на несбыточные обещания.

Мы не дали им ни одной.

Мы знали, что побеждаем. Мы знали это с того самого момента, когда в небе над островом появились наши скоростные истребители «Р-38». Они прошли над нашими головами однажды днем, когда мы плелись вниз по склону холма для очередного принятия пищи. «Пистол Питы» только что обстреляли местность неподалеку от нас. Услышав рев моторов, мы в первый момент приготовились бежать, но затем разглядели знакомый силуэт, пронесшийся над крышей джунглей. Нашей радости не было предела. Когда же «Пистол Питы» снова пошли в атаку, мы, конечно, обругали их, но без злобы. Все-таки они оживили в наших сердцах надежду.

Возвращаясь на хребет, где наши товарищи ожидали своей очереди идти поесть, мы прошли мимо небольшого ручья, в котором все мылись и стирали. Там банный день был у двоих — Сувенира и его рыжебородого напарника по разведывательным вылазкам с внешностью Санта-Клауса. Они с остервенением отскребали свои тела и орали друг на друга. Мы остановились послушать. Так и не уловив сути спора, Хохотун поинтересовался:

— Что, черт возьми, здесь происходит? Рыжебородый ответствовал:

— Этот простофиля утверждает, что у нас здесь все круче, чем на острове Уэйк. — Он с презрением взглянул на Сувенира и затем обратился к нам: — Вот ведь глупость!

— Почему глупость? — взорвался Сувенир. — Да и откуда ты знаешь? Беда с вами, стариками. Вы уверены, что все, кто пришел в морскую пехоту после Пёрл-Харбора, ничего не стоят. А тебя, между прочим, на острове Уэйк не было! И я утверждаю, что по сравнению с нашим островом там просто пикник!

Рыжебородый возмутился до глубины души. Повернувшись к товарищу спиной и протянув ему мыло, чтобы тот ее намылил, он дрожал от ярости.

— Пикник! Да как ты смеешь! Кстати, твоей задницы там тоже не было!

— Ну и что? Я газеты читаю. А там написано, что здесь вдвое хуже, чем на острове Уэйк. Вот скажи, сколько раз их там бомбили?

— Какая разница! Сколько их там осталось?

— Они же не все были убиты! Большинство попали в плен. А сколько наших сдалось? Так-то! Что ты на это скажешь?

Рыжебородый снова повернулся, автоматически забрал свое мыло у Сувенира и перевел дух, чтобы сразу же снова броситься в

атаку:

— Вот только не надо про то, что они сдавались в плен. Вы, салаги, любите судить других. На Уэйке говорили: «Пошлите нам еще японцев!» А что говорят наши парни? «Когда мы поедем домой?» — Его губы над рыжей бородой насмешливо изогнулись, а в голосе звучал откровенный сарказм. — Нам больше всего думается о том, когда маменькины сынки смогут уехать домой, чтобы покрасоваться в морской форме перед девчонками.

Словесная дуэль вспыхнула и погасла. Спор, как обычно, закончился ничем. Корпус Морской пехоты всегда находился в состоянии брожения. Он был разделен на два лагеря — старики и салаги, — которые постоянно враждовали. Старики защищали прошлое и традиции от яростного натиска салаг, стремившихся любой ценой возвеличить настоящее за счет прошлого, жаждущих лишить стариков апломба за счет умаления их заслуг. Салага всегда будет чувствовать себя ниже старика, поэтому он всегда атакует, не обладая достаточной уверенностью, чтобы защищаться. В тот момент, когда он прекращает нападать на традиции с отточенной саблей сегодняшних свершений, в ту секунду, когда он удерживает руку с оружием и начинает спокойно оценивать события, он навсегда покидает ряды салаг и становится стариком. Таким образом осуществляется переход из стана юных бунтовщиков в ряды их более сдержанных старших товарищей. Если этот процесс прекратится и один из лагерей достигнет явного преобладания, морские пехотинцы США перестанут одерживать победы.

Именно об этом я думал, взбираясь вверх по склону холма. Я был благодарен Рыжебородому, напомнившему нам о париях с острова Уэйк, и не сомневался, что, спокойно поразмыслив, он лишится части презрения к нам.

До окопов мы дошли в молчании. И только здесь его нарушил Здоровяк:

— Как ты думаешь, Сувенир говорил правду о газетах? О том, что Гуадалканал стал известным?

— Конечно нет, — заявил Хохотун. — Бьюсь об заклад, о нас никто и никогда не писал.

— Не говори так, — задумчиво пробормотал Здоровяк. — Мне кажется, он сказал правду. — Потом он повернулся ко мне и спросил: — Как считаешь, Счастливчик, может быть, в Нью-Йорке у нас будет парад?

Ответ незамедлительно последовал от Хохотуна. При мысли о такой возможности его глаза мечтательно заблестели.

— Ух ты, это будет что-то! Неплохая идея, Здоровяк. Представляете, мы идем по улице, вдоль которой стоят

девчонки... — Он сделал паузу и вернул на физиономию более свойственное ей выражение насмешливого презрения. — Забудьте об этом! Не будет никакого парада. В Нью-Йорке даже не знают, что мы еще живы. А о Гуадалканале там никто и не слышал.

— Слышали, — возразил Здоровяк. — Я уверен, что дома мы очень даже известны.

— Все равно не будет никакого парада в Нью-Йорке! — снова вмешался Хохотун. — Хотя... Если мы так известны... Кто знает? Может, нам и придется пройти по главной улице с оркестром. Представляете?

— Скажи это еще раз, — заговорил Бегун. До этого момента он молча и угрюмо грыз ноготь на большом пальце. При мысли о параде он заулыбался, взглянул на меня и снова заговорил: — А если у нас будет парад, как ты думаешь, Счастливчик, где? На Пятой авеню?

— Нет. Ты, наверное, подумал о Дне святого Патрика. Там проходят ирландские парады. Возможно, на Бродвее.

— И везде, — мечтательно кивнул Хохотун, — будет полно старой доброй огненной воды. Правильно, Счастливчик?

— И еще тридцать суток отпуска каждому.

— И по две девочки — белую и черную.

— Не будет никакого парада, — мрачно объявил Здоровяк. — Ну и черт с ним. Как только мы сойдем на берег, лично я намерен тут же выйти из строя и смешаться с толпой.

— Тоже неплохо, — обрадовался Бегун. — Представляете, мы сходим на берег, и все тут же разбегаются. В нью-йоркской толпе нас никто и никогда не найдет. Мы все нажремся, и никто нам не помешает. Все будут пьяными, даже офицеры.

На несколько минут воцарилось молчание. Каждый мечтал о своем. Тишину снова нарушил Здоровяк:

— А все-таки, я думаю, нам устроят парад.

* * *

В нашей жизни кое-что изменилось. Во-первых, небо над Гуадалканалом стало американским, а во-вторых, на остров стала регулярно прибывать почта.

Оба события вселили в нас изрядную долю оптимизма. Лично я был на седьмом небе от счастья, когда получил письмо от отца. Оно, кстати, вызвало оживление среди всех обитателей хребта.

Я прочитал его, сидя на корточках на склоне холма. Перед этим прошел сильнейший дождь, наполнивший в мгновение ока все наши окопы водой, а за ним последовало совершенно

неожиданное нашествие похожих на муравьев насекомых. Их было так много, что приходилось защищать от них глаза и лишний раз не открывать рот. Они падали на землю, покрывая ее довольно плотным покрывалом (после дождя они жили всего лишь минуту). Поэтому я соблюдал осторожность и сидел на корточках — не хотелось испачкать только что выстиранные штаны в грязи или мертвых насекомых.

«Роберт, — писал отец, — твоя морская форма готова. Выслать ее тебе?»

Да...

Я вспомнил, какой недосягаемо красивой казалась мне голубая форменная одежда морских пехотинцев. Я сидел на корточках, окруженный дикой, насквозь промокшей природой и мириадами трупов насекомых, на острове, находящемся на краю света. Я сидел, одетый только в штаны, обрезанные над коленями, и пару мокасин, украденных с армейского склада, и представлял себя во всем великолепии парадной формы.

«Роберт, твоя форма готова. Выслать ее тебе?»

Слухи на хребте распространяются быстро. И пока мы оставались на хребте, я был «тем самым Счастливчиком, чей старик хочет выслать ему комплект форменной одежды». Я шел обедать и слышал со всех сторон:

— Эй, Счастливчик, твой старик уже выслал тебе форму?

— Парень, *как* твоя новая форма?

Я еще только подходил, а вокруг уже начинали улыбаться. Видно, люди представляли себе 1-го дивизию морской пехоты, прибывшую на наш хребет, в парадной форме, с развевающимися знаменами и под звуки оркестра.

Не было никаких подначек или ухахатыванья, меня никто не дразнил — только спокойные улыбки и добродушное прикалывание. Создавалось впечатление, что более чем оригинальное предложение моего отца следует тщательно оберегать как старую семейную шутку, фантазию, которая позволяет сохранить рассудок на сумасшедшем острове.

Все считали, что мой отец — отличный парень, и часто справлялись о его здоровье.

* * *

Сержант Денди принес плохие новости. Он навестил нас днем раньше, чтобы снять мерки для новой одежды. Выводы, которые мы сделали после его визита, были настолько обнадеживающими, что мы провели ночь, строя догадки, одна приятнее другой. Мы

были уверены, что покидаем Гуадалканал. Но куда нас отправят?

Но сержант Денди быстро ликвидировал всеобщее ликование:

— Готовьтесь. Утром уходим с Матапикау в новое наступление. Соберите вещи, подготовьте оружие, боеприпасы должны быть сухими. Нам на смену придет 8-й полк морской пехоты.

Он замолчал, а мы огорченно переглянулись. Его физиономия оставалась абсолютно бесстрастной. На ней не отражалось даже удовлетворения гонца, принесшего плохое известие. Сердце сержанта Денди, как и многих других, уже давно окаменело.

— Не спрашивайте меня, что все это значит. Вообще не задавайте идиотских вопросов. Просто делайте то, что я говорю, — заключил он и отбыл.

И это после того, как мы провели здесь пять бесконечных месяцев.

У Бегуна была малярия. Кирпич почти не вылезал из своего окопа, разве что только ночью. Здоровяк и Пень были подвержены приступам тяжелой депрессии. У меня была дизентерия. Хохотун стал невероятно раздражительным. И все мы были истощены и ослаблены сверх всякой меры.

А теперь нам предстояло идти в атаку. Мы даже на обед ходили с трудом. А нам предлагали нападать на противника.

Мы были в отчаянии.

Утром мы собрались у пулеметов, ожидая приказа разбирать их и выступать.

Он не поступил.

Не было его и на следующий день, и через день. Постепенно к нам вернулась надежда. Она приползла краснеющая, стыдящаяся своего поспешного трусливого бегства и пообещала больше так не поступать.

Как-то утром сержант Денди передал нам приказ:

— Оставьте пулеметы, возьмите только личное оружие, боеприпасы и личные вещи. — Потом он довольно ухмыльнулся и добавил: — Нас сменяют.

Было 14 декабря 1942 года. Мы находились на позициях без перерыва с 7 августа. Мой батальон — 2-й батальон 1-го полка — был последним из 1-й дивизии морской пехоты, покинувшим позиции.

С Гуадалканалом все было копчено.

Мы победили.

Мы спускались с хребта под мелким моросящим дождем. А нам навстречу шли парни из 8-го полка морской пехоты. На них были каски, совсем как те, что носили еще наши отцы во время

Первой мировой войны, а англичане носят и сейчас. Взбираясь по скользкому склону, они выглядели жалкими и очень несчастными. Мы их искренне жалели, даже понимая, что самое плохое уже позади. Но мы не могли не подколоть их, этих ребят из Сан-Диего в солнечной Калифорнии.

— Смотрите! Вот они — «голливудские морпехи».

— А ну-ка глянем, что тут у нас? Эй, парни, а где ваш военный магазин?

— Да пошли вы...

— Ш-ш-ш, так нельзя разговаривать. В кино так не делают. Вам должно быть стыдно!

— Ребята, какие новости в Голливуде? Как дела у Лапы?

— Да, как там Лапа? Лапа Тернер?

Они старались изобразить превосходство, но не могли скрыть зависть, которую всегда испытывает тот, кто остается, видя тех, кто уходит. Мы шли вниз, худые, измученные, но радостные, а они — вверх, упитанные, но переполненные дурных предчувствий. Я сказал, мы были счастливы. Так оно и было. Мы были дико, беспредельно, исступленно счастливы.

* * *

Следующую неделю мы провели в палатке, установленной там, где хребет, изгибаясь, спускается вниз к полям купай. Хохотун и я периодически наведывались на продовольственный склад и в конце концов натаскали столько еды, что я смог себе позволить в одиночку сожрать большую банку консервированных абрикосов, заработав ужасное расстройство желудка. Я лежал на животе, прислушивался к режущей боли в кишечнике и стонал:

— Мне плохо. Я слишком много съел. Как это прекрасно, когда можно съесть слишком много.

Только упорно повторяющиеся визиты «стиральной машины» чарли напоминали нам о том, что на Гуадалканале еще остались японцы.

Еще неделю мы провели в садах Эдема. Мы пришли в палаточный городок, устроенный в устье реки Лупга. Нам выдали пиво, причем в количестве достаточном, чтобы великолепно напиваться каждый вечер. Днем мы купались в Лупге — чудесной реке, чья чистая, прохладная вода гасила огонь малярии в крови. Причем плавание в реке нередко становилось делом опасным из-за отдельных остряков, которые развлекались, швыряя в воду ручные гранаты.

Однажды я услышал восторженные вопли с морского берега,

побежал туда и увидел гигантского ската, которого кто-то умудрился поймать в сеть. Он, конечно, был уже мертв, продырявленный в сотне мест пулями новичков, которые были только рады хотя бы таким образом использовать свое оружие в деле.

Затем мы провели ночь в ожидании погрузки на судно. В тот день нам доставили рождественские подарки из дома. Мы не могли взять их с собой на борт — разрешались только личные вещи и оружие. Хохотун и я уже попросили лейтенанта Плюща пронести на борт оставшиеся у нас коробки с сигарами — офицеров так не ограничивали, как нас, у них были еще морские вещмешки. Мы были удивлены, снова увидев морские вещмешки, и изрядно раздосадованы тем, что они только у офицеров.

Это было первое проявление дискриминации, с которым мы столкнулись, первое падение монеты, у которой обе стороны одинаковые, посредством которой наши офицеры удовлетворяли свою алчность, запрещая нам иметь вещи, бывшие по праву нашими, и забирая их себе. Так что мы выбрали все, что могли, из прибывших из дома подарков, а остальное выбросили.

— Стройся! Впе-ред — марш!

Мы вышли на берег, пока еще не осознав ценности полученного приказа. Мы забрались в ожидавшие катера, а потом долго стояли и следили за удаляющейся береговой линией.

Наш катер приблизился к борту огромного транспорта, при этом так сильно накренившись на левый борт, что, по-моему, зачерпнул воду. Это был «Президент Вильсон».

— Забирайтесь по сетям!

Мы возвращались тем же путем, каким уходили с транспорта.

Только теперь мы были настолько слабы, что многие не могли осилить подъем. Они падали в воду со всем своим снаряжением — их приходилось вылавливать. Некоторые отчаянно цеплялись за сеть до тех пор, пока их не покидали последние силы, и тогда их принимало море. Их извлекали из воды проворные матросы, сноровисто снующие по сетям. Я сумел добраться по сети до самого верха, но двинуться дальше не мог. У меня не хватило сил перевалиться через планшир, и я висел на нем, тяжело дыша и чувствуя, как корабль, качаясь на волнах, словно отодвигается от меня, пока два матроса не подхватили меня под руки и не затащили на палубу. Я рухнул среди других, доставленных на борт подобным образом, и долго лежал, прижавшись щекой к теплой палубе. Мое сердце отчаянно колотилось от усталости, а может быть, совсем наоборот — от счастья.

Оказавшись под палубой, Хохотун и я отправились искать

камбуз, горячий кофе и приятных собеседников. Мы вошли и уселись за стол как раз в тот момент, когда последний из прибывших на этом транспорте солдат поднялся, чтобы уходить. Он посмотрел на нас, жадно глотавших кофе из больших белых кружек.

— Как там было? — спросил он, мотнув головой в сторону берега.

— Круто, — хором ответили мы.

Потом Хохотун, словно опомнившись, поинтересовался:

— Ты имеешь в виду Гуадалканал?

Солдат вроде удивился:

— Конечно, что же еще?

— Я неверно выразился, — поторопился объяснить Хохотун. — Я имел в виду, ты слышал об этом месте раньше? До того, как прибыл сюда?

Его удивление было настолько явным и огромным, что мы перестали сомневаться.

— Ты хочешь сказать... Черт возьми, конечно! Это же Гуадалканал! Первая дивизия морской пехоты! Вас все знают! Вы очень знамениты, парни. Дома вас считают героями.

Мы не видели, как он ушел, поскольку оба поспешно отвернулись, чтобы скрыть некстати навернувшиеся слезы.

Нас не забыли.

Глава 4. Праздный мечтатель

1

Торжества больше не было. Гуадалканал остался в прошлом, а вместе с ним и мужество, упорство, желание не позволить джунглям завладеть нашими выбеленными солнцем костями. Мы истощили свои жизненные силы и тупо ждали большого дебуширования, которое приготовил нам Мельбурн.

Уже прозвучал реквием духу товарищества, плач по усопшим связям, существовавшим между нами, офицерами и солдатами из Каролины, на Гуадалканале. Поднявшись на борт «Президента Вильсона», мы их похоронили.

Сначала нас привезли на Эспириту-Сапту, что на Новых Гебридах. Мы прибыли туда в канун Рождества и получили по леденцу от капеллана, пока лейтенант Плющ ублажал старших офицеров нашими сигарами. Потом мы в течение трех недель практиковались в приемах владения оружием, а офицеры припоминали, что дурно не только плохое обращение с собаками, но и с добровольцами.

Затем нас отправили в Австралию.

* * *

На причале в Мельбурне играл оркестр. Мы впервые за долгое время увидели землю, поскольку после отъезда из Эспириту почти все время находились под палубами, загнанные туда ужасным штормом, разыгравшимся в Тасмановом море. Мы криво усмехнулись, глядя на оркестр, но неожиданно каждый почувствовал, что теперь все будет хорошо.

Я прошел мимо рыжеволосой красотки из женской вспомогательной службы, обменялся с ней улыбками и в ее карих глазах тоже прочел намек на то, что грядут лучшие времена.

Нас погрузили на поезд, и он покатил по рельсам. Мы все сгрудились у окон. Очень скоро все принялись кричать, гикать и улюлюкать, поскольку произошла потрясающая вещь: вдоль дороги стояли женщины. Они радостно приветствовали нас, махали руками, пританцовывали, посылали воздушные поцелуи — в общем, наглядно выражали восторг от встречи с 1-й дивизией морской пехоты США.

Поезд остановился в Ричмонде, пригороде столицы, и нас

отвели в огороженное со всех сторон пространство, внешне напоминающее загон для скота. По другую сторону забора стояли девушки: они хихикали, выкрикивали шуточки, махали платочками, протискивали в щели руки, чтобы прикоснуться к нам. Можете себе представить наши ощущения. Мы не видели женщин с Новой Зеландии, то есть уже больше семи месяцев!

А потом ворота открыли.

— Рота! Стройся! Вперед, марш!

И мы пошли — на лицах ухмылки, винтовки болтаются на плечах — мимо смеющихся девушек. Если смотреть со стороны, в нашей колонне не было ничего военного. Так родились Пожиратели лотосов.

* * *

Мы слегка удивились, когда оказалось, что нас привели на стадион. Это была мельбурнская площадка для игры в крикет. Здесь нам предстояло разместиться — на цементных ступенях рядами стояли двухъярусные койки. Скамейки убрали, заменив их койками, и теперь все сооружение напоминало гигантскую подкову, от которой отходили ряды похожих на творение огромного паука нитей, опоясывающих большое зеленое поле. Здесь нам предстояло жить. Мы должны были спать на открытом воздухе под защитой некоего подобия крыши, так что дождь нам был не страшен.

Никто не жаловался. Да и кто стал бы обращать внимание на такие мелкие неудобства в первый день нашего возвращения к цивилизации? Не стоило придираться к счастливой судьбе, забросившей нас на крикетную площадку, расположенную в самом сердце города, в то время как другие полки — 5-й, 7-й и 11-й артиллерийский — остались в пригороде. Город был в нашем распоряжении. Мы могли пробовать его на вкус каждую ночь. Мы его не заработали — мы его скорее выиграли. Наш командир полка, в жребии с командирами 5-го и 7-го полков, выбросил счастливую монету. Из всех полков 1-й занимал самое выигрышное положение для большого дебуширования.

Дисциплина, уже и без того изрядно пострадавшая от ангельских голосков местных девушек, той ночью вообще приказала долго жить.

Мы получили часть нашего шестимесячного денежного довольствия в австралийских фунтах, но нам не выдали одежду. Мы все еще оставались в обносках Гуадалканала.

И тем не менее, треть полка высыпала на улицы Мельбурна. Я

пошел гулять один — Бегун, Хохотун, Здоровяк и остальные либо были в наряде, либо не желали рисковать.

Какая это была восхитительная, опьяняющая ночь! Сначала я решил, что вызываю всеобщее любопытство из-за странной одежды и дочерна загорелой физиономии. Но вскоре я понял, что здесь кроется нечто большее. Я был избавителем на земле, которую спас. В этом меня убедили дружелюбные улыбки мельбурицев. Даже уличные торговцы обзавелись плакатами: «Спасибо вам, янки, вы спасли Австралию!» Это была лесть, но действовала она как крепкое вино. Я почувствовал, что такое настоящий триумф, и очень скоро стал принимать улыбки мельбурнских девушек как справедливую награду загорелому освободителю.

Первой была Гуин.

Мы встретились в молочном баре. Согласитесь, странное место для морского пехотинца, смотрящего вокруг голодными глазами после семимесячного воздержания. Но дело в том, что все пабы в Мельбурне закрываются в шесть часов, и я тогда еще не знал, что в отелях напитки подают на несколько часов дольше.

Я заметил ее в первый же момент, когда вошел в помещение. В ее глазах горел неподдельный интерес. Но когда я сел рядом и отхлебнул молочного коктейля, она стала изображать безразличие. Я не знал, что сказать, поэтому спросил, сколько времени. Она многозначительно посмотрела на часы на моей руке, потом перевела взгляд на часы, висевшие над нашей головой, и спросила:

— Ты янки, парень? — Ее голос был мелодичен и очень приятен, и не важно, что она не пригласила меня к себе. Главное, что она со мной заговорила!

— Да, — ответил я, — мы только что прибыли с Гуадалканала.

— Правда? — Ее глаза округлились от удивления. — Там, наверное, было ужасно!

Беседа продолжалась: вежливые слова, официальные слова, слова без смысла, но слова, оживленные голосом плоти, слова, ведущие к одному результату. Так что после нескольких остановок в разных барах она наконец произнесла заветное: «Пойдем ко мне», и все, что было сказано раньше, потеряло смысл. Туда мы и пошли.

Там был мерцающий свет газового рожка и кровать. Больше ничего.

В непостижимой манере, как это умеют только женщины, Гуин кратко проинструктировала своего напористого гостя: в ее молодой жизни не будет брюк клеш, и ни один американский

ублюдок не оскорбит ее на склоне лет. Иными словами, не будет ничего, пока на ее пальце не появится кольцо.

Напустив на себя максимальную серьезность, возможную в подобных обстоятельствах, я поднялся с неблагодарной лежанки, вернул себе форменную одежду и достоинство и ушел.

Я тихо прикрыл за собой дверь и вышел в тихую, теплую ночь, мрачно размышляя об американском кино, убедившем весь мир, что все без исключения американские мужчины миллионеры, и проклиная самомнение женской половины человечества. Ну почему, скажите на милость, все они так твердо убеждены, что еще не родился на свет мужчина, которого нельзя бы было обвести вокруг пальца.

В центре Мельбурна, в районе железнодорожной станции Флиндерс-стрит, улицы были заполнены морскими пехотинцами. Раньше я думал, что в город отправилась примерно треть нашего полка, но теперь понял, что не меньше половины. Некоторые еще носили бороду. Эта разношерстная толпа лишь отдаленно напоминала налетевшую из джунглей Гуадалканала орду.

Но теперь они размахивали бутылками, австралийскими мясными пирогами, мороженым — в общем, всем, что можно купить в работающих круглосуточно киосках. Со всех сторон слышались песни. В ту ночь все выучили, как минимум, два куплета из «Матильды, танцующей вальс».

Однажды веселый лодочник остановился в устье реки

Под сенью развесистого дерева.

Он ждал, пока закипит вода в котелке, и пел:

«Ты будешь танцевать со мной вальс, Матильда?»

У меня оставалось достаточно денег, чтобы нанять лошадь и экипаж из тех, что стояли у станции.

С полдюжины парней набилось внутрь, а я занял место кучера

И мы поехали обратно — жевали купленные в городе вкусные вещи, потягивали из бутылок и орали песни, а добродушное животное тянуло за собой экипаж, постукивая копытами по мостовой.

На следующий день мы пили за смерть дисциплины. Соответствующее случаю количество бутылок теперь было у всех. За погибель дисциплины пили все, и несчастная действительно отдала Богу душу, а мы продолжили пьянствовать, уперев ноги в ее хладный труп. Оргия затянулась на неопределенное время, а пробуждение оказалось ужасным. Насколько я помню, та побудка стала затяжным фарсом.

— Подъем! Подъем! — завопил хриплый с перепоя голос.

Тишина.

Лишь по прошествии некоторого времени какая-то дюжина из двух сотен спящих мертвым сном фигур восстала, словно мертвецы из могил, поплотнее укутавшись в саван одеял; одни или двое из зомби наклонились, чтобы разыскать предусмотрительно припрятанную бутылку; после чего они потащились вниз на построение и перекличку.

Старина Ганни сделал несколько шагов вперед и в изумлении уставился на горстку оживших мумий.

Лейтенант Плющ приготовился принять рапорт.

Ганни пребывал в явном замешательстве. Он откозырял, плотно стиснув пальцы, словно они были намазаны клеем, и сообщил:

— Все присутствуют.

Плющ окинул его взглядом, исполненным мрачной торжественности, затем мельком взглянул на нас и приказал:

— Проверьте, все ли вернулись из увольнения.

И мы вновь расползлись по своим могилам.

А потом нас отпустили.

Вероятно, офицерам, причем всем без исключения, тоже хотелось порезвиться. Нам заплатили, обеспечили новой формой, включая зеленые куртки, которые мы носили восемнадцать месяцев назад, объяснили, где можно взять еду и лекарства. Кроме назначенных в наряд, все с полудня были свободны.

Даже часовые нашли чем заняться. Тех, кто желал «погулять с морпехом» и по этой причине часто обращался к вахтенному офицеру, прозвали «травяными мартышками» из-за привычки подолгу лежать в высокой траве парка Виктория, окружавшего наш стадион.

«Травяные мартышки» отдавали предпочтение часовым у боковых ворот и тем, кто был в пешем патруле, поэтому довольно скоро в ход вошла шутка: впервые в истории Корпуса Морской пехоты США на роль часовых появились добровольцы. Но «травяные мартышки» здорово облегчали жизнь тем из нас, кто слишком задержался в городе. Если припозднился, достаточно пойти в обход стадиона, пока не увидишь прислоненную к стене винтовку — свидетельство того, что часовой здорово занят на стороне. Затем можно было открывать ворота и смело заходить.

Каждый день приносил новое удовольствие, очередное открытие. Мы попробовали австралийское пиво и с радостью обнаружили, что оно ни в чем не уступает японскому. Мы нашли бары, изобиловавшие разными сортами шотландского виски. Мы узнали, что «шейла» — это девушка, «коббер» — друг, а то, что называют «бойзер», так это превосходно. Еще оказалось, что слово «янки» в устах австралийцев может быть и комплиментом, и

ругательством.

В первую неделю мы набрели на маленький ресторанчик на Суонстон-стрит и здесь открыли игристый хок. Мы попросили шампанского, но официантка сказала, что у них его нет.

— Зато у нас есть игристый хок, — сказала она на австралийском кокни, — это почти то же самое.

— Он пузырится? — поинтересовался Хохотун, стараясь выразить то же самое языком жестов. — Вы понимаете? Как имбирный эль? — Вряд ли Хохотун сумел бы объяснить итальянской матроне, что такое спагетти.

Официантка снисходительно фыркнула:

— Вы янки... — после чего степенно удалилась и тут же вернулась, неся ведерко со льдом и бутылку. Пробка вылетела в потолок, словно это было настоящее шампанское, жидкость так же искрилась и пузырилась, да и вкус ничем не отличался. Мы наслаждались им, насколько хватало наличности, что составляло главное свойство этого напитка.

Мы с Хохотуном громко чокнулись.

— К черту войну! — сказал он.

— Я за мир, — возвестил я.

Мы прикончили бутылку и бесчисленное множество других, заедая их вкусными австралийскими стейками и яйцами. Это место стало нашим штабом. Сюда мы приводили ужинать девушек, здесь же мы встретили Хоуп и Молли. Хоуп обладала всеми необходимыми качествами, чтобы сделать состояние в Голливуде. Крупное овальное лицо с обрамлявшими его густыми каштановыми волосами, огромные глаза, большой чувственный рот, прямой нос, правильные черты лица. Но изумительной красоты глаза были совершенно пустыми, в них не было проблеска интеллекта. Ее красивое лицо ничего не выражало. Хоуп была классической девушкой из бара, чьим главным достоинством был безукоризненный зад. Она мертвой хваткой вцепилась в Хохотуна и оставалась его девушкой до тех пор, пока мы не покинули Австралию. Меня Хоуп терпеть не могла, считала надменным и заносчивым зазнайкой.

Молли была другой. Она часто уводила меня от Хохотуна и Хоуп, после чего мы шли в парк и долго гуляли, пели, подшучивали друг над другом. Она с самого начала знала, где закончится наша дружба. У нее и мыслей не было, как у Хоуп, о легкой жизни в Штатах. Ее интерес ко мне и другим морпехам был теплым и человечным. Она принимала нас, какими мы есть, и не думала о будущем. Бедняжка Молли. Она много любила, возможно, слишком много.

— Расскажи мне об Америке, — иногда просила она, когда

мы гуляли, рука в руке, по тенистым аллеям парка; ноги утопали в траве, ночной воздух приятно ласкал разгоряченные щеки. В это время и в этом месте мы очень любили друг друга.

И я рассказывал. Мы сидели на скамейке или лежали на берегу озера, глядя в удивительное южное небо, усыпанное звездной пылью. Запах цветущих деревьев добавлял очарования волшебной ночи.

— Знаешь, Счастливчик, я надеюсь, тебя не отправят обратно.

— Я тоже.

— Но тебя же отправят?

— Не думай об этом, Молли. Мы все равно ничего не сможем с этим поделать. Война есть война.

— Да, но, если бы ни война, мы бы не встретились. За это мы должны быть ей благодарны.

Она никогда не грустила долго и очень скоро начинала шутить:

— Вы, янки, умеете очень хорошо льстить. Все эти сладкие разговоры, хорошие манеры, а на деле вам всем нужно только одно.

Мы вставали и снова углублялись в парк. Мы шли по дорожкам, иногда принимались бегать друг за другом, но чаще пели. Молли нравился мой голос, благослови ее Господь. Она была единственной женщиной в моей жизни, которая считала, что *я* умею петь. Хотя, может быть, она только так говорила, чтобы заставить меня петь американские песни, которые ей очень нравились. А вот сама Молли действительно обладала изумительным голосом, свежим, чистым, звенящим. Мне особенно нравилась одна песенка, и она часто тихо напевала ее, пока мы шли домой:

Каждое утро
С просыпающимися воробьями,
Настойчивый, как стрела,
Покидающая лук,
Он явится в ее сад
И будет петь под окном:
«Милая Молли О'Донахью,
Это тебя я прошу
Пойти со мной погулять...»

Но Молли и я поссорились из-за другой девушки и расстались, а Хохотун так и остался возле своей Хоуп.

Разрыв между Молли и мной произошел из-за Шейлы. Я встретил ее в автобусе, в котором мы с Хохотуном ехали в Сент-Кильду, курортное местечко в пригороде Мельбурна, совсем как Кони-Айленд, но не такое ослепительное и куда меньше похожее

на большой кабак.

В конце маршрута автобус резко дернулся, и Шейла упала прямо мне на колени.

Я крепко прижал ее к себе и потребовал:

— Встаньте, пожалуйста.

— Я не могу встать, — смеясь, ответила она.

— Неужели вам не стыдно, — прошептал я ей в ухо. — Австралийские девушки чересчур прямолинейны и слишком торопятся.

— Пожалуйста, — попросила она, хихикая и стараясь повернуться, чтобы как следует рассмотреть меня, — позвольте мне встать.

— О чем она толкует? — Я недоуменно взглянул на Хохотуна. — Я должен ее отпустить? Пусть идет! Я ее не держу, не так ли?

— Ей тут нравится, — кивнул он.

Шейла одарила Хохотуна негодующим взглядом и слегка возвысила голос:

— Отпустите меня немедленно.

— Ладно, — легко согласился я, — но только если ты пойдешь со мной в Луна-парк.

— Хорошо, — сказала она, секунду подумав.

— Договорились. — Я отпустил девушку, и она немедленно встала на ноги.

Затем она познакомила нас с подругой, с которой вместе ехала, и мы отправились в Луна-парк вчетвером.

Потом мы все вместе ехали на поезде в один из отдаленных пригородов, где Хохотун и я остались ночевать в доме матери Шейлы. Хохотуну выделили комнату в доме, а мне — отдельно стоящий коттедж. Думаю, его могли использовать еще и как стойло — Шейла именовала это строение «выгон». От него до дома было метров пятнадцать. Матрас был мягкий, простыни прохладные и пахли чистотой. Я моментально уснул.

Проснулся я от странного шума. Подняв голову, я увидел Шейлу, закрывающую дверь. На ней была ночная рубашка, в руке она держала свечу.

— Привет, янки, — игриво сказала она. — Как тебе здесь нравится?

Я приподнялся на локте и кивнул — говорить не хотелось. Она опустилась на колени рядом с кроватью и заглянула мне в лицо — ее глаза смеялись.

— Ты мне нравишься, янки. Надеюсь, ты будешь часто приходить ко мне. — В ответ на мой вопросительный взгляд она придвинулась ближе и прошептала: — Что ты хочешь, чтобы я сделала?

Я протянул к ней руки, и она задула свечу.

* * *

Я старался встречаться с Шейлой всякий раз, когда появлялась такая возможность. Так продолжалось около месяца. Мы ужинали в нашем «штабе», ходили на танцы или на долгие прогулки по симпатичному городку, в котором она жила, где на склонах холмов буйно цветет австралийская мимоза. Иногда мы просто сидели в гостиной ее дома, выпивая бесконечное множество чашек чая, чтобы промочить горло, пересохшее от рассказов об Америке, которые так любила ее увечная и рано овдовевшая мать. И только в самом конце, когда Шейла сообщила, что возвращается на Тасманию, выяснилось, что моя возлюбленная замужем.

После Молли и Шейлы я старался ни к кому больше не привязываться.

Остались только случайные, ни к чему не обязывающие связи.

Как я должен был себя при этом вести? Откуда я знаю! Я не Казанова, а эта книга — не учебное пособие по амурным похождениям.

Больше не было тепла, оставался только холодный расчет, но вряд ли стоит рисковать нанести очередную рану своим чувствам, когда речь идет об удовлетворении физической потребности. Нельзя быть романтиком, ни к чему хорошему это не приведет. Пусть романтическая любовь останется поэтам, ее придумавшим.

Иногда флирт заканчивался весьма странно. Я вспоминаю одну официантку, имевшую чрезвычайно строгие понятия о морали.

— Вы, янки, — часто повторяла она, — «понятия не имеете о морали.

— Как так?

— Достаточно только посмотреть, — язвительно объясняла она, — на ваш Голливуд. Вы каждый день читаете о кинозвездах, которые живут с кем хотят: сегодня один, завтра другой. Женятся по пять, а то и больше раз. В Австралии таким пришлось бы несладко. У нас еще сохранилась мораль. — Она поджимала губы и проверяла, все ли пуговицы на груди застегнуты. — Не то что у вас, янки. Вы хотите от девушки только одного — переспать с ней.

Спорить с ней никто не стал.

В тот вечер по пути домой я встретил другого морского пехотинца, намного моложе меня. Он был занят тем, что

старательно стирал следы губной помады с воротника своей рубашки.

— Беда с этими австралийками, — пожаловался он. — Иногда мне кажется, что они не думают о морали. Они слишком легко доступны. Попробуй найди американскую девушку, которая вела бы себя так же? Не получится! У наших еще сохранилась мораль.

Последователей Фарисея бесчисленное множество, имя им легион. «О, мой Бог, благодарю тебя за то, что я не такой, как остальные мужчины... прелюбодеи: будь то австралиец, будь то американец, будь то...»

* * *

Та официантка, подающая напитки, оставалась для меня загадкой. Всякий раз оказавшись в ее обществе, я не мог ее понять. Она презирала американцев явно напоказ, причем, если не видела меня, обрушивала свое негодование на другого морпеха. Она любила получать деньги, но если считала, что я ее оскорбил, доставала их из кармана и демонстративно возвращала мне. Темпераментная, она была холодна, как рыба. Официантка, подающая напитки, она никогда не пила сама. Насмехаясь над американской музыкой, она могла пройти километр, чтобы послушать джаз и потанцевать.

Когда мы отправились кататься на лодке по Ярре, она опустила руку в воду и стала внимательно следить, как вода омывает ее тонкие пальцы, при этом она так старалась показать, что ей отчаянно скучно, что я тайно возликовал. Дело в том, что мы, морские пехотинцы, успели избаловаться и изнежиться, и гребля вверх по течению стала настоящей проблемой. Поэтому, как только она начала зевать, я сразу повернул обратно и резво погреб к причалу.

Едва ступив на берег, она покраснела от злости и начала ругаться:

— Бывают же такие парни, как ты! Это просто уму непостижимо! Пригласить девушку на прогулку по реке и привезти обратно, ни разу не взглянув на нее с нежностью!

На следующий день у меня болела спина и руки, и я вовсе не рвался встретиться с нею вновь и тем более повезти кататься.

* * *

Шейла вернулась. В субботу вечером мне пришлось остаться

на стадионе. Делать было нечего, и я лег спать очень рано. Но вскоре меня разбудили и сказали, что за воротами меня спрашивает девушка.

Она провела на Тасмании только несколько месяцев, но, казалось, стала намного старше. Мы отправились в парк и долго не могли наговориться. Шейла хотела пойти в город, но я объяснил, что не могу, и даже тот факт, что утром ей придется возвращаться на Тасманию, ничего не мог изменить.

— Ну, тогда мы можем просто посидеть в парке, — сказала она.

— Постой, — воскликнул я, — у меня идея. Все наши ушли на сорок восемь часов. Я сейчас принесу сюда их спальные мешки и одеяла, а ты сходи за пивом. — С этими словами я протянул ей деньги. — Устроим пикник.

— Янки, ты прелесть, — рассмеялась она. Койки были пусты и темны. Я собрал одеяла с коек Хохотуна, Здоровяка и своей, свернул их в увесистую скатку и отправился в парк. Шейла пришла туда же с пивом. Я расстелил одеяла под развесистым деревом, мы уселись, и я потянулся к бутылке.

Затем последовал стон разочарования. Она забыла открывалку.

— Не волнуйся, янки, — снова засмеялась она, — мы найдем выход. — С этими словами она поднесла бутылку мельбурнского горького ко рту и зубами откусила пробку.

Ох уж эти австралийские девушки, подумал я, когда восхитительная янтарная жидкость выплеснулась на дерево.

— Знаешь, а ведь это серьезное нарушение, — сказала она, поудобнее устраиваясь рядом со мной. — Это оскорбление королевских владений.

— Что это?

— Вся публичная собственность принадлежит короне. Нечто вроде этого называется оскорблением королевской территории, за это могут даже в тюрьму посадить.

— Здорово! — обрадовался я. — Значит, мы с тобой теперь браконьеры? Вот было бы шоу! А в тюрьму я согласен только вдвоем с тобой, в одну камеру.

Ночь мы провели в парке, а утром, когда серый рассвет отодвинул черную завесу ночи, она ушла — теперь уже навсегда.

Я собрал постельные принадлежности и поволок их обратно на стадион. К моему ужасу, уже началось построение. Держа в руках огромный тюк с одеялами, я был так же незаметен, как слон, явный и очевидный осквернитель королевской территории.

Но я решил, что терять мне нечего, остается держаться как ни в чем не бывало. Зарывшись лицом в тюк, я перешел на рысь.

Я никогда не забуду недоуменное удивление, отразившееся на физиономии Старины Гаппи, когда я протрусил между ним и ротой Н. Я успел пройти шагов десять, когда началось хихиканье, затем свист, сменившийся общим хохотом. Я увеличил скорость. Но смех распространялся быстрее, чем я мог бежать. Теперь я несся с максимальной доступной для меня скоростью, подгоняемый вихрем хохота и крика. Именно он внес меня в ворота и подтолкнул вверх по ступенькам.

Если в ту ночь я оскорбил короля, то мои товарищи с лихвой воздали мне от его имени.

2

Две вещи могут ограничить человека в большом дебушировании: малярия и караульная служба.

Малярия означает госпиталь, иногда даже отправку домой. Мы так стремились взять от жизни все, что человек, испытывающий дискомфорт из-за приближающегося приступа, все равно упрямо шел в город. Отнюдь не редкими были случаи, когда такого бедолагу находили стоящим у фонарного столба с белым как мел лицом и клацающими зубами, отчаянно пытающимся закутать в тонкую рубашку сотрясаемое ознобом тело. Он из последних сил, цепляясь за остатки ускользающего сознания, старался не упасть и высмотреть такси, которое доставило бы его обратно в лагерь, где можно с облегчением рухнуть на койку в лазарете.

Приступы малярии у Меченого стали сильнее и более частыми. В последний раз, когда я его видел, он лежал на койке в лазарете, который соорудили под стадионом. У него была тяжелая форма малярии, при которой тело полыхает в огне, а кости вытягиваются на дыбе.

Я пришел попрощаться с ним. Прошел слух, что его отправляют домой. Я не был уверен, что он меня узнал, и не лез с вопросами, поскольку такие ужасные страдания не допускают вмешательства другого человеческого существа. Поэтому я молча простился с Меченым, парнем, которого я искренне любил, обладавшего язвительным умом и крепкими нервами. Я несколько минут подержал его обжигающе горячую руку и тихо пробормотал слова прощания. В какой-то момент мне показалось, что он меня все-таки узнал, — его губы скривились, что при наличии определенного воображения можно было принять за попытку улыбнуться. Но я не мог видеть, как он страдает, поэтому отпустил его руку и быстро ушел.

Тех, кто не был подвержен малярии, удержать от варки в общем котле могла только караульная служба. Когда наш батальон заступал на караул, не важно, какая именно рота, мы все оставались в готовности на стадионе.

Это напоминало старые дни в Нью-Ривер, словно время описало круг и вернулось к старым баракам и прежним проблемам — пиво и горючее. Мы возвращались с учебного плаца и мылись. Избавившись от нижнего белья, мы отдавали свои разгоряченные тела приятной прохладе душа.

Потом кто-то хватал ведра — на этот раз требовалось пиво, а не топливо, — а отделение собиралось на свежем воздухе. Там были все: Хохотун, Бегун, Здоровяк, Пень, Эймиш, Джентльмен. Теперь с нами были еще и новички — Широкая Улыбка — очень симпатичный парнишка из Луизианы, прибывший на Гуадалканал намного позже нас, и Большая Лыжа — высокий, длинноногий, болезненно бледный пехотинец, тоже прибывший на Гуадалканал в самом конце военных действий и любивший рассказывать, презрительно кривя губы, о своих военных приключениях на Гавайях и о жене, оставшейся дома. Большая Лыжа был единственным женатым человеком среди нас.

Так мы проводили ночи, сидя на прохладном воздухе в сгущающейся тьме вокруг гигантской подковы, окружающей поле для игры в крикет. Мы пели, слушали бесконечные рассказы или просто мечтали. Песни, которые мы пели, не были нашими собственными. Америка еще не подарила нам песню, которую мы могли бы считать своей. Поэтому мы заимствовали все, что нам нравилось, у всех, у кого могли. У австралийцев мы взяли «Матильду, танцующую вальс» и «Благослови их всех», у англичан, которых мы никогда не видели, — «У меня есть шесть пейсов».

Но вскоре такой жизни пришел конец. День, когда мы перебрались в лагерь в Дапденонге, стал концом сравнительно легкой жизни.

Снова полная боевая выкладка. Каски, лязгающие о ружейные стволы, узкие лямки, врезающиеся в плечи, в едва наросшую на костях плоть. Орущие сержанты, не скрывающие удовольствия от происходящего. Все это повторилось снова, словно старый, внушающий отвращение знакомый заглянул на огонек выпить, свято веря, что его появление в этом городе к добру, но лишь воскресив былую вражду. Мы были в полной готовности и только ожидали приказа выступать.

— Стройся!

— Вперед, марш!

Мгновение молчания, краткий миг пустоты, лишенный звука

и движения, отделяющий одну бесконечно малую величину от другой, возможно, самой бесконечности, а затем — до боли знакомый, безошибочно узнаваемый звук: одновременный порывистый вздох большого числа людей, готовящихся выйти на март, а вслед за этим — топот множества ног по мостовой. Мы тронулись в путь.

— Мама говорила, что такие дни будут, но она не сказала, что их будет так много.

— Эй, убери свою пушку от моей физиономии! Хочешь устроить несчастный случай?

— А ты держись подальше от моей задницы, а то никогда не получишь Пурпурное Сердце.

— Какое к черту Пурпурное Сердце? Он даже Пурпурной Задницы не получит.

На марше нас сопровождали собаки. Они бегали вдоль колонны и радостно, вполне миролюбиво лаяли. Они были так очевидно глупы, дружелюбны и готовы любить всех, что мы от души смеялись над этими забавными созданиями — причем тем сентиментальным смехом, от которого увлажняются уголки глаз.

— Ты только посмотри на этих придурков! — восклицал Хохотун. — Мы проходим сто метров, а они за это время пробегают два километра. Они же выдохнутся где-то на полпути.

Он был прав, хотя изрядно приуменьшил возможности наших четвероногих сопровождающих.

Мы преодолели шесть километров, когда я увидел первого барбоса, без сил растянувшегося на обочине дороги. Он поместил голову между передними лапами, а язык вывалил в придорожную пыль — он уже наполовину посерел. Пес грустно следил, как мы проходим мимо. Бедолага, с ним все ясно. И все больше животных оставалось на обочинах дороги, но они упрямо не желали нас бросать. Никто из них не дезертировал.

Я перестал жалеть собак, когда почувствовал, что мои ноги стали покрываться волдырями. Некоторым из нас перед походом выдали новозеландские армейские ботинки, и я оказался в числе несчастных, их получивших. Они были сделаны из толстой и удивительно твердой черной кожи с негнущимися подошвами и щелкающими каблуками. Они совершенно не подходили для нас, ведь мы уже привыкли к обуви морских пехотинцев из нормальной кожи на мягкой резиновой подошве, специально сделанной так, чтобы не производить шума. Не то что эти пыточные инструменты из Новой Зеландии! Представьте себе ботинок, целиком сделанный из стали! Он трудился над моими ногами с изощренной жестокостью профессионального палача!

Следующие 15 километров боль стала моим постоянным

спутником, и каждый шаг казался мне последним. Я знал, что нормальный человек не может долго переносить такие адские муки, но упрямо шел дальше. И *я* добрался до нашего нового лагеря. Когда же я продемонстрировал свои покрытые волдырями ноги батальонному доктору, он покачал головой и сказал, что последние десять километров мне следовало идти на руках. Я согласился и почувствовал нечто сродни чувственному наслаждению, когда он вскрыл волдыри, дал вытечь скопившейся там жидкости, забинтовал ноги и отпустил меня хромать обратно к друзьям.

Я оказался не единственным пострадавшим. В результате таких ботинок нам больше не выдавали — уже полученных оказалось достаточно, чтобы вывести из строя четверть батальона.

* * *

Наш новый лагерь был предназначен для всего 1-го полка. Он располагался на склоне одного из небольших холмов, которые на этой небогатой возвышенностями земле назвали горами Юапг. Но это были всего лишь холмы — плавные, покатые склоны, но которым сбегали веселые ручьи. Бедная Австралия, природа оказалась к ней не слишком щедра. Здесь не было рек в нашем понимании этого слова, только ручьи, и один из них тек у подножия холма, на котором был устроен палаточный городок.

Конечно, шел дождь и было очень грязно. Пища представляла собой неаппетитные помои из баранины и недоваренных овощей. В качестве топлива был предусмотрен запас дров для печки, установленной в центре каждой палатки. Возможностей для отдыха почти не было, только периодические увольнительные в конце недели да маленькая забегаловка, расположенная в полутора километрах вниз по дороге, где подавали самое невыдержанное и отвратительное на вкус пиво, которое мне приходилось пробовать. К тому же его подавали в чашках, в комнате, рассчитанной человек на двадцать, в которую всякий раз набивалось не менее двух сотен человек.

Недели сменяли друг друга, похожие как две капли воды ночными маршами, дневными тренировками в поле — в общем, все как когда-то в Нью-Ривер, только еще более скучно, даже раздражающе, поскольку после Гуадалканала мы были способны на большее.

Иногда нам выдавали горсть риса, или другой эквивалент рациона японского солдата, и приказывали совершить

пятидесятикилометровый ночной марш-бросок, после которого следовал дневной сон. Помню, как-то во время такого сна в поле меня разбудила огромная корова с грустными глазами, которые взирали на меня с немым упреком за то, что я расположился на самой сочной и сладкой траве. Ночные тренировки, преподали нам еще один урок: мы твердо усвоили, что, если карта и компас попадают в руки нашего младшего лейтенанта — следует ждать неприятностей.

Постепенно, не слишком заметно, ужесточалась дисциплина — так кучер медленно и плавно натягивает поводья. Но затем последовала резкая остановка, когда была произведена перегруппировка войск.

Сержант Мак-Вредный стал старшим сержантом в роте Н. Это был худощавый невысокий мужчина, едва достигший минимально необходимого для службы в морской пехоте роста, необыкновенный сквернослов и настоящий садист. Если он при таких качествах не стал чудовищем, то только благодаря великолепному чувству юмора и сообразительности.

В лице сержанта Мак-Вредного я нашел мою личную власяницу. Уже через день или два после его появления мы поняли, что вместе нам не ужиться. Как только подоспело очередное переформирование, он с радостью от меня избавился.

Именно этого я и ожидал, когда шел вместе с остальными по вызову в штаб роты. Шел дождь, но сержант Мак-Вредный игнорировал крупные капли, припечатывающие жидкие пряди волос к его узкому черепу. Стоя под дождем в окружении самодовольно ухмыляющихся взводных сержантов, он вещал с нескрываемой радостью:

— Значит, так, все решено. Эта рота достаточно натерпелась из-за нескольких тупиц и придурков. Сегодня мы наконец от них избавимся.

Некоторые сержанты прикрыли руками кривящиеся в усмешке рты. Они явно наслаждались происходящим. Не приходилось сомневаться, что список придурков» составлял только один человек — Мак-Вредный.

— Мне остается только выразить соболезнование тем ротам, куда они попадут, — заявил он. — Но не все же нам страдать. Итак, следующие лица должны быть переведены в роту Е. Как только я зачитаю список, перечисленные в нем лица должны вернуться в расположение отделений, собрать свои пожитки и построиться у штабной палатки.

Называя каждое имя, Мак-Вредный довольно ухмылялся. Один или два сержанта уже открыто смеялись. Их извращенная радость разливалась, ширилась, набирала обороты. Смех

сержантов не был ни сердечным, ни искренним, он был злорадным. Ведь каждое имя означало позор для человека, разрыв дружеских уз, образованных еще на острове Пэрнс и в Нью-Ривер и проверенных на прочность на Гуадалканале. Любое имя означало потерю чего-то неизмеримо важного, это, вероятно, трудно почувствовать сразу, по, тем не менее, процесс происходит и является необратимым. Так река потихоньку, поначалу незаметно, вымывает горсть за горстью землю берега и уносит ее течением в море.

Он назвал мое имя. Последовал очередной взрыв смеха, а я, донельзя опечаленный, отправился собирать вещи.

До свидания, Хохотун, Здоровяк и Бегун. Прощай, рота Н. Я чувствовал себя одиноким и потерянным. Я шел и плакал навзрыд. Слава богу, шел милосердный дождь, поэтому я мог опустить голову пониже и надвинуть каску на глаза, как будто хотел защитить лицо от дождя. Я приплелся в палатку и упаковал вещи. Первый шок прошел, и теперь к горю примешивалось негодование и унижение, на мой взгляд, совершенно незаслуженное, и я начал ненавидеть сержанта Мак-Вредного острой, упорной, ничего не прощающей и никогда не забывающей ненавистью. Мои руки жаждали сомкнуться на его шее, я мечтал оказаться с ним наедине в его палатке. Ненависть сжигала и опустошала меня, и даже если бы сам Бог повелел бы мне любить этого человека, я не смог бы это сделать.

Я упаковал вещи и вышел из палатки. Дождь продолжал идти. К штабной палатке я вернулся довольно быстро. Толпа потихоньку рассеялась. Под дождем стояли только мои товарищи по несчастью, как и я, прячущие лица под касками. Они стояли, опустив головы и ссутулившись, словно тяжесть позора пригибала их к земле. Из штабной палатки слышался гул голосов, на фоне которого отчетливо выделялся квакающий смех Мак-Вредного.

Мы стояли под дождем, пока ни появился сержант из роты Е. Он окинул нас безразличным взглядом и скрылся в палатке, откуда тотчас появился снова с нашими бумагами в руке. Поспешно спрятав их под плащ, он остановился прямо переда нами, внимательно оглядел каждого и пожал плечами.

— Слушай мою команду, — рявкнул он, — становись! Направо! Вперед, марш!

И мы зашагали навстречу неведомому.

Переведенные военнослужащие постоянно перемещались между разными ротами батальона. Это происходило, вероятно, потому, что командиры считали переформирование прекрасной возможностью покончить со старыми семейными дрязгами. В этой неразберихе я начал находить отдохновение. Я решил пустить

дело на самотек, но для начала все-таки оттянуться по полной программе.

Мой план был хитроумен и сложен. Он основывался на трех событиях утра: я проснулся с руками, покрытыми красными рубцами; сержант-ганни роты Е Правда-Матка перепутал меня с моим приятелем Широкой Улыбкой, переведенным вместе со мной, и через несколько часов роте Е предстояло отправиться на полевые недельные стрельбы. Широкая Улыбка должен был остаться для заготовки дров — это я узнал у артиллеристов. Но ему никто ничего не сказал.

Я уговорил Широкую Улыбку согласиться отправиться в поле и на утренней проверке в течение двух дней откликаться на мое имя. Я сказал ему, что, когда сержант Правда-Матка придет определять меня на лесозаготовки, считая меня Широкой Улыбкой, я скажу, кто я есть на самом деле, и объясню, что Широкая Улыбка отбыл в поле. Я также скажу ему, что получил приказ идти в госпиталь для лечения крапивницы. Широкая Улыбка по истечении двух дней должен был сказать, кто он есть на самом деле, и выразить свое недоумение тем фактом, что его имя не звучит на утренней перекличке. Еще он должен был сказать, что меня не знает.

Я надеялся, что топ-сержант, обнаружив мое отсутствие, не станет вносить меня в список военнослужащих, находящихся в самовольной отлучке, пока не установит точную дату моего исчезновения.

Он не захочет признать перед главным сержантом или командиром роты, что числил присутствующим отсутствующего человека. Он дождется возвращения в лагерь, чтобы устроить мне допрос с пристрастием. А я возьму его на пушку.

Шанс был хилый, но мне отчаянно хотелось хотя бы ненадолго оказаться подальше от незнакомых, недружелюбных лиц моих новых товарищей. Широкая Улыбка счел план неудачным.

— Черт, — сказал он, — я бы на твоем месте не стал с этим связываться, но, если хочешь, тогда ладно.

Рота Е отбыла по назначению. Я лежал на койке в палатке и слышал, как сержант Правда-Матка орет пропитым басом, собирая людей на лесозаготовки. Я слышал, как он дважды выкрикнул фамилию Широкой Улыбки и возмущенно фыркнул, услышав в ответ молчание. Затем Правда-Матка выдал краткие инструкции собравшимся и принялся разыскивать Широкую Улыбку. Я выглянул наружу и увидел, как он шествует вразвалочку от палатки к палатке, в каждой откидывает полог, заглядывает внутрь и возвращает его на место. Его отделяло от

моей еще несколько, когда я аккуратно опустил полог и лег на койку.

Луч света, упавший на мое лицо, возвестил, что Правда-Матка у входа в палатку. Я закрыл глаза.

— Какого черта ты здесь делаешь?

Я открыл глаза, изобразил удивление, вскочил и робко взглянул на него.

— Ты Широкая Улыбка? Я молча покачал головой.

— А кто ты?

— Счастливчик, — ответствовал я. — Я переведен из роты Н.

— Я знаю, — пробормотал он и вытащил из кармана засаленную тетрадку. Не знаю, что он в ней искал, но через несколько минут он снова уставился на меня. — А Широкую Улыбку ты знаешь?

— Да.

— Ты его видел?

— Да, он ушел на стрельбы со вторым отделением.

Он раздраженно выругался. Его дыхание благоухало «Аква Велвой». Сержант Правда-Матка был известен в батальоне своим пристрастием к лосьону после бритья. Небось уже осушил с утра бутылочку. Потом он окинул меня злобным взглядом:

— Какого дьявола ты здесь околачиваешься? Разве ты не должен быть на стрельбах?

— Нет, — ответил я и закатал рукава, — у меня крапивница. Мне сказано идти в госпиталь.

Правда-Матка взглянул на красные рубцы и моментально ретировался. Для старика нет ничего более ужасного, чем кожные заболевания и любое проявление человеческой нечистоплотности, потому что эти люди прожили жизнь в больших коллективах и своими глазами видели, как распространяются эпидемии. Им кажется, что любые подобные заболевания заразны. Поэтому он не задавал никаких вопросов и поспешил оказаться подальше от меня.

Я оделся, собрал одежду в мешок и снова лег. В полдень, когда «лесники» отправились обедать, я спустился вниз по склону, обошел лагерь с тыла, где часовых не было, сел на автобус до станции Дандепопг, а оттуда на поезд до Мельбурна. Там я провел четыре восхитительных дня в доме у моих друзей и только на пятый день в пятницу возвратился в лагерь.

Это был день выдачи денежного довольствия. Недалеко от штабной палатки поставили стол, за которым сидел командир роты, выдававший нам деньги после того, как мы ставили свою подпись в расчетных ведомостях.

— Так, — прорычал сержант Правда-Матка, уставившись в

бланк, — постройтесь в алфавитном порядке, независимо от званий, сначала кадровые, потом резервисты. Подписывайтесь полным именем, включая «младший», если надо.

Я получил предупреждение.

Сержант Правда-Матка выкрикнул мою фамилию, глядя в книгу как на своего личного врага.

Я сделал шаг вперед, расписался в ведомости.

Командир роты окинул меня спокойным, оценивающим взглядом и выплатил мне деньги.

Я перевел дух и повернулся, чтобы уйти с глаз долой, но не тут-то было. В мое плечо впилась железная рука.

— Ты Счастливчик? — Это был Правда-Матка.

— Да.

— Бери свою задницу и тащи ее в штабную палатку.

Его дыхание, как обычно, благоухало «Лква Велвой», и я подумал, шествуя в штабную палатку, что сегодня, в день выплаты денежного довольствия, в военном магазине к вечеру наверняка не останется лосьона после бритья. И еще подумал, что мне пока не приходилось иметь дело с топ-сержантом роты Е.

Его гнев был не слишком убедительным — так я решил, стоя перед сидящим за столом человеком. Он не выглядел ни оголтелым, ни крутым. Его огрубевшее лицо с крупным носом и большими красивыми глазами выглядело лет на тридцать — хороший возраст для топ-сержанта Корпуса Морской пехоты.

— Вам придется здесь задержаться, — сообщил он.

— Но почему?

— И вы еще имеете наглость спрашивать? За самовольную отлучку! — Он сурово посмотрел на меня и поинтересовался: — Где вы были?

Я молчал, стараясь сдержать отчаянное биение сердца. Я надеялся, что Широкая Улыбка хотя бы один раз произнес на перекличке мое имя. Одного раза достаточно, чтобы все запутать.

— Где вы были? — спросил он, чуть сбавив тон.

— Так... на стрельбах, — сообщил я.

— Вот только врать не надо, — негодующе нахмурился он. — Мы знаем, что вас там не было. Мы также знаем, что вы сказали сержанту. Вы были в городе?

Молчание.

— Послушайте, — примирительно начал он, причем раздражения в его голосе уже не было, только убеждение и даже лесть. — Я знаю, что произошло, знаю, что вы не поладили с Мак-Вредным. Вам было необходимо подумать над случившимся, и вы ушли в самоволку на несколько дней. Возможно, даже я понимаю вас и не виню... возможно. Почему бы вам не признать свою вину

и не позволить мне поговорить с капитаном. Он не будет слишком строг. Не делайте глупостей — вы можете себе здорово навредить. f

Такому обращению противостоять труднее всего — проще, когда на тебя орут и топают ногами, но я держался из последних сил и промолчал.

Было видно, что топ-сержант потихоньку начинает терять терпение, и в конце концов я нарушил молчание:

— Кто меня обвиняет?

— Идите в свою палатку и ждите, — рявкнул он.

И я отправился в палатку. У меня имелись все основания для ликования. Должно быть, Широкая Улыбка меня прикрыл! Хотя, конечно, сержант не имел особого желания вести меня к командиру батальона, а это могло быть только потому, что он не хотел признавать, что в течение нескольких дней числил меня присутствующим, в то время как в действительности я находился в самоволке. Мой план сработал! Я сидел в палатке и ждал. Через час появился вестовой: «Тебя ждет топ».

— Вы умеете печатать? — полюбопытствовал тот, увидев меня снова.

— Да.

— Хорошо. Хотите быть ротным писарем? Кто бы стал меня винить за то, что я улыбнулся? Наконец-то! Не мытьем, так катаньем!

Конечно, я согласился, а через три дня топ слег с тяжелейшим приступом малярии, и я стал временно исполняющим обязанности сержанта роты E.

Это была скучная работа, едва ли менее утомительная, чем обязанности ротного писаря, к которым я приступил, когда топ вернулся из госпиталя. Десять дней на руководящем посту в роте E прошли без происшествий, если не считать таковым предложенную мне одним из солдат взятку в два фунта стерлингов за освобождение от караульной службы в конце недели. От взятки я отказался, но заставил его потратить эту сумму на Хохотуна, Здоровяка, Бегуна и остальных, когда мы встретились как-то ночью в нашей забегаловке. А в общем, моему чудесному превращению из виновного в босса сопутствовал только внешний комфорт. В душе я продолжал испытывать дискомфорт и потому воспользовался случаем перевестись в батальонную разведку.

В батальонной разведке — ее называли B-2 — служил Артист. Мы вместе были на острове Пэ-рис. Он перешел сюда из роты G, отличившись в сражении на Типару, где японец ранил его штыком в ногу.

Вскоре после возвращения топа Артист заговорил со мной на улице. С ним был лейтенант Большое Кино — офицер разведки батальона.

— Вот он, — сказал Артист лейтенанту и помахал мне рукой. — Я вам говорил именно о нем.

После этого он представил меня офицеру по всей форме.

— Я слышал, ты работал в газете, — сказал Большое Кино. Я кивнул. — А как ты смотришь на то, чтобы начать выпускать батальонную газету?

Я пришел в восторг, и так моя короткая, но полная событиями карьера в роте E закончилась. Пока я был там, мне ни разу ire пришлось взять в руки винтовку.

Конечно, издавать батальонную газету я тоже так никогда и не начал. Это была очередная из серии грандиозных идей Большого Кино. Так он льстил своему тщеславию. В полку и дивизии газет тоже не было, зато Большое Кино мог при каждом удобном случае хвастаться, что у него в разведке имеется потенциальный редактор. Не исключаю, что он любил принимать желаемое за действительное.

Как бы там ни было, Большое Кино спас меня от тоскливой участи мальчика на побегушках в штабе роты E, вернул в строй и излечил гордость, которой Мак-Вредный нанес глубокую рану. Я также очень благодарен Большому Кино за то, что он оставил без внимания мою репутацию бунтовщика, и даже то, что к тому времени я уже был ветераном — корабельной крысой.

Глава 5. Корабельная крыса

1

Я слышал, что генерал Смедли Батлер любил повторять: «Дайте мне полк корабельных крыс, и я завоюю весь мир».

Хотя, возможно, старик этого никогда не говорил. Но он вполне мог сказать именно это, а если не он, то какой-нибудь другой командир морских пехотинцев. Именно морской пехоте свойственны настроения, которые, если их внимательно проанализировать и разложить по полочкам, могут показаться бесстыдными и даже шокирующими, но дело обстоит именно так: человек, высаживающийся на берег с корабля, должен обладать дерзостью, быть может, граничащей с наглостью и независимостью. Он может и должен периодически бунтовать против жесткой дисциплины лагеря.

Я не пытаюсь возвеличить то, за что следует наказывать. И вовсе не предлагаю, чтобы корабельные крысы избегали заслуженного наказания по причине своей дерзости или независимости. Виновные должны понести наказание — так было, есть и будет. И я не веду речь о привычных обитателях гауптвахты — патологических лентяях, ни на что не пригодных симулянтах, которые больше времени проводят на гауптвахте, чем вне ее стен, и всеми силами стараются избежать любых последствий ношения военной формы, и уж особенно — сражений. Я говорю о молодом, горячем парне, вольнолюбивый характер которого не может не привести его к конфликту с военной дисциплиной, а значит — если он, конечно, не исключительно везучий, — прямиком на гауптвахту.

Я говорю о Хохотуне, Цыпленке, Пне и дюжине других, ну и, конечно, о себе.

В день рождения Джорджа Вашингтона Хохотун и я запятнали свою чистую доселе репутацию. В тот день дивизии предстояло пройти парадом по Мельбурну. Мы должны были пройти строем по Суонстон-стрит через месяц после прибытия в Австралию, чтобы принять благодарность города и нации, все еще помнившей о японской угрозе, существовавшей на Гуадалканале.

Но Хохотуну и мне не хотелось печатать шаг по мостовой. Мы жаждали увидеть парад, что, как вы прекрасно понимаете, невозможно для человека, в нем участвующего, — винтовка приклеена к плечу, а взгляд направлен строго вперед, в затылок идущего впереди.

При помощи ряда сложных и хитроумных уловок нам удалось избежать сей неприятнейшей обязанности, поэтому, когда 22 февраля 1943 года 1-я дивизия морской пехоты шла по главной улице Мельбурна, мы удобно разместились неподалеку от здания Сити-клуба с бутылками в руках. Вокруг нас раздавались взволнованные, радостные возгласы австралийцев, приветствующих наших товарищей:

— Ура американцам! Вы молодцы, парни! Ура!

Солдаты были одеты в полевую форму и шли с полной боевой выкладкой. Винтовки на плечах, штыки примкнуты. Каждый нес то оружие, которое было его в бою. Они производили внушительное впечатление: сильные, подтянутые, решительные, загорелые. Такие парни способны на многое. Глядя на них, я почувствовал, как увлажнились мои глаза. Даже австралийцы, унаследовавшие от британцев восторг от щелканья каблуков, бряцания оружия, чеканной поступи и прочих внешних эффектов, в конце концов притихли, глядя на молчаливый марш 1-й дивизии морской пехоты, идущей легкой, но в то же время усталой поступью солдат, направляющихся на фронт.

Вскоре Хохотун разглядел развевающееся красно-желтое знамя нашего полка. Мы поспешно ретировались со своих мест из первого ряда зрителей подальше — в третий-четвертый. Первый батальон прошел, за ним был наш, и мы почувствовали, как неудержимо участилось дыхание. Рота E, рота F и, наконец, наша рота H! Вот они все! Здоровяк и Бегун, лейтенант Плющ, Джентльмен, Эймиш — все! Ну как тут было не возгордиться! Такое запоминается на всю жизнь! Зрелище было красивым, волнующим, опьяняющим! Наверное, нечто подобное испытываешь, когда читаешь собственный некролог или присутствуешь на своих похоронах. Они были так горды, так уверенны, а в глазах следящих за ними австралийцев читалось откровенное восхищение. Великий день! Мы надеялись, что он никогда не кончится, но он все же подошел к концу, и нам ничего не оставалось, как только заменить это редкое, истинное опьянение на искусственное, которое так легко поддерживать на нужном уровне, если имеешь достаточный запас спиртного. Насладившись действом, мы развернулись и снова отправились в Сити-клуб.

И конечно, выпили слишком много.

К ночи мы выползли на свежий воздух. Хохотун той ночью должен был заступать в караул у нашей забегаловки, поэтому он удалился, изрядно качаясь. Я был уверен, что к тому времени, как он прибудет на стадион, опьянение уменьшится и он будет шагать ровно.

Через некоторое время я тоже вернулся в лагерь, но, признаюсь честно, тут мне просто повезло, или же решил поработать мой ангел-хранитель. Я побежал за автобусом, запрыгнул на площадку, промахнулся, ухватился за поручни, и меня тянуло два квартала до тех пор, пока два дюжих австралийца не втащили меня внутрь, словно утопающего.

Отчаянно шатаясь, я все-таки сумел выпрямиться и гордо выпятил грудь.

— Ну и что, — сказал я, — прошлой ночью меня вообще сбило — и ничего.

До моей остановки меня сопровождал смех.

Хохотуна я увидел угрюмо переминающимся с ноги на ногу у входа в забегаловку. Он надеялся занять пост внутри — тогда за время дежурства без проблем можно было выпить кружку-другую пива.

— Я тебе принесу, — пообещал я.

Сначала я принес кружку, потом другую... третью... и вроде бы еще несколько. Потом Хохотун сказал:

— Мне надо в сортир. Постой немного за меня. Он дал мне ремень с пистолетом и каску и нетвердой походкой удалился.

Напиться на посту, потом его покинуть, оставив оружие, — непростительный грех, преступление для часового. Я искренне надеялся, что он поспешит. Но нам не повезло.

Мимо, как назло, прошел лейтенант Плющ.

Я сказал, что нам не повезло, потому что Плющ в тот день был дежурным офицером. Более того, он был и оставался человеком, прикарманившим мои сигары — наши сигары, если хотите. Моя злость, напитавшись алкоголем, не знала границ. Я вытащил пистолет Хохотуна, навел его на лейтенанта и рявкнул:

— Стой, где стоишь, жалкий воришка сигар, сукин сын. Иначе я отстрелю твою джентльменскую задницу. — К этому я прибавил еще несколько совсем уж нелитературных слов и выражений.

Однако, как бы ни обстояли дела с фразеологией, а заряженный пистолет вызывает к себе нешуточное уважение. Лейтенант Плющ отступил, но почти сразу же вернулся с подкреплением в лице капрала Гладколицего и сержанта из караульной службы. Пока Плющ отвлекал меня разговором, Гладколицый и сержант подкрадывались с тыла. Потом они бросились вперед, и я, понятно, не победил. Меня переиграли.

— Сдать оружие! — приказал побледневший от злости Плющ. — И немедленно разыщите этого идиота Хохотуна.

Искать его не было необходимости. Он уже сам торопился на пост, но, увы, опоздал. Плющ с ходу приказал взять его под стражу. Потом, дрожа от ярости, непроизвольно сжимая и

разжимая кулаки и двигая челюстями, — мне показалось, что я слышу, как хрустят его суставы, — он подошел ко мне.

— Увести!

Гладколицый повел нас прочь. Неожиданно, уже на подходе к гауптвахте, мы получили отсрочку.

— Отправляйтесь по местам, — сказал он. — Лейтенант разберется с вами утром. — Он укоризненно покачал головой и в упор уставился на меня. — Ты сегодня черт знает что натворил, Потаскун. Это же надо — попытаться застрелить офицера! Я знаю парня, которому дали десять лет только за то, что он ударил офицера.

Утром я проснулся от того, что кто-то грубо тряс меня за плечо. Это был сержант, «взявший» меня накануне ночью.

— Живо одевайся. Полная форма. Пойдешь на ковер.

Он стоял рядом и мрачно наблюдал, как я поспешно натягиваю нижнее белье и зеленую форму. Возможно, мрачность сержанта была только внешней, но зато у меня все заледенело внутри. Теперь я отчетливо осознавал, что натворил накануне ночью. Двадцать лет каторжных работ — не слишком суровое наказание за нападение на дежурного офицера.

Холодный и невозмутимый, батальонный главный сержант ожидал нас у двери кабинета полковника. Высокий, с резкими чертами лица, начинающими редеть пшеничными волосами и воинственно топорщившимися усами, он был больше похож на шотландского гвардейца, чем на американского морского пехотинца.

— Заключенный, — сказал он, глядя сквозь меня и не обращая внимания на отразившийся на моей физиономии ужас от услышанного слова, — входит в кабинет полковника только по моей команде. После получения команды остановиться он замирает по стойке «смирно» перед полковником и остается в таком положении, пока его не отпустят. Заключенный, внимание. Вперед, марш! Заключенный, стой!

Мои глаза были прикованы к гладкому, круглому лицу нашего батальонного командира мистера Пять-На-Пять.

Мистер Пять-На-Пять получил прозвище из-за своей комплекции. Он был ростом пять футов[9] или чуть больше и — столько же в ширину. Прозвище дали с любовью — мы хорошо относились к командиру, во всяком случае так было на Гуадалканале, когда не проходило и дня, чтобы мы не увидели мистера Пять-На-Пять, снующего по позициям, проверяя, как дела у людей.

Главный сержант зачитал обвинения, которые, даже несмотря на краткость и строгость военного стиля, звучали очень

внушительно. Когда он закончил, полковник пристально посмотрел сквозь меня, словно мой живот был совершенно прозрачным.

— Лейтенант, давайте послушаем вашу версию происшедшего.

Плющ стоял за моей спиной, поэтому его голос доносился сзади. Он говорил, а полковник продолжал буравить меня взглядом. Я с удивлением отметил, что у лейтенанта напряженный голос, словно он тоже смутился перед полковником или делает то, что ему приказали — рассказывает о ночных событиях, — по принуждению. Он поведал правду, включая и самый главный факт — то, что я был абсолютно пьян. В данном случае пьянство являлось смягчающим обстоятельством, было бы хуже, натвори я подобное на трезвую голову.

Полковник рассматривал меня долго и пристально. Я таращился прямо перед собой, стараясь не глотать, не шевелиться, не моргать и держать язык влажным, чтобы, когда мне зададут какой-нибудь вопрос, я мог ответить быстро и отчетливо. И еще я изо всех сил старался не пасть духом окончательно. Полковник был суров, по его лицу ничего нельзя было угадать. Он внимательно просмотрел мои документы, словно решая, чему верить больше — написанному в бумагах или словам Плюща и главного сержанта. Будет ли он непреклонен или проявит милосердие? Этого я сказать не мог. Но я знал, как и любой другой солдат на моем месте, что сейчас в его руках мое будущее, моя жизнь. Не стану утверждать, что эта мысль доставляла мне удовольствие.

— Что вы можете сказать?

Помимо воли я кашлянул и судорожно сглотнул.

— Виновен, сэр.

Он еще раз взглянул на бумаги, потом поднял глаза на меня.

— Я не стану калечить вам жизнь, — сказал он, а в моем животе что-то перевернулось и заворочалось. — За то, что вы натворили, я мог бы упечь вас надолго. И тот факт, что вы были пьяны, нисколько вас не оправдывает. Морской пехотинец должен в любых обстоятельствах знать меру и держать себя в руках. Вы хорошо проявили себя на войне, — продолжил он, — поэтому я не отправлю вас ближайшим кораблем в Портсмут, как положено по инструкции. Но вместе с тем я не позволю, чтобы подобный проступок сошел вам с рук. — Тут его взгляд стал еще более суровым. — Пять суток на хлебе и воде. Разжаловать в рядовые!

Главный сержант выплюнул приказ идти, я механически подчинился, не чуя под собой ног от радости. Я был так счастлив, что едва не пропустил выражение крайней досады на

физиономии Плюща. Он смотрел на меня взглядом охотника, от которого ускользнула дичь. Думаю, Плющ тоже не хотел меня уничтожить, но все-таки он бы предпочел более суровое наказание. Пять дней на хлебе и воде! Подумаешь, да хоть пять лет! Я ликовал и едва сдержался, чтобы не обнять охранника, который ждал, чтобы отконвоировать меня от кабинета полковника на гауптвахту.

Попасть на гауптвахту в Корпусе Морской пехоты, особенно в камеру, где заключенные сидят на хлебе и воде, это почти то же самое, что отправиться за границу.

Первым делом вы должны прибыть в лазарет и пройти медицинское обследование, которое должно определить, достаточно ли вы здоровы физически, чтобы выдержать заключение и диету. Следующий пункт следования — штаб роты, где в ваши документы вносятся записи о взыскании, а также отметки о том, что за период заключения у вас урежут денежное довольствие. Затем вам следует явиться в расположение роты, сдать вещи и оружие сержанту, ведающему хозяйственной частью, и только потом, сначала в одних лишь мешковатых брюках, вы готовы к тому, чтобы за вами захлопнулась дверь гауптвахты.

А в роте вас в течение пяти суток будут считать мертвым. Даже с вашей койки уберут все постельные принадлежности. Вы — ноль, ничто, шалопай, поставленный носом в угол.

И при всех перечисленных перемещениях вас сопровождает охранник, держа винтовку перед собой, — ваша тень, ваш стыд. Большие черные круги, нарисованные на груди и спине вашей новой робы, имеют вполне реальную физическую массу, они тяжелы, тянут к земле. Вы чувствуете их каждую секунду и знаете, что они существуют специально для того, чтобы охраннику было легче целиться, если вы вдруг решите вырваться на свободу.

Гауптвахта принимает вас, и вы окончательно становитесь ничем. Вы перестаете быть личностью, у вас нет ничего своего: даже костюм, который вам выдали, принадлежит гауптвахте — на нем стоит ее клеймо. Абсолютно все — даже лезвия для бритья — не ваше. У вас нет ничего, значит, и сами вы ничто.

За вами со стуком захлопывается железная дверь тюрьмы. Что ожидает очередное попавшее сюда ничтожество? Оказывается, надзиратель, задумчиво вертящий в руках кусок резинового шланга. И вы неожиданно осознаете, что он выбирает для себя жертву. Никто не в силах оцепить комизм ситуации. От цементного пола поднимается холод, и ваше сердце коченеет, пока вы, как кролик на удава, смотрите на надзирателя, в глазах которого горит жестокость.

Холодно, очень холодно, вы один на один с надзирателем гауптвахты, одетым в аккуратную, подогнанную по фигуре форму, а за ним — Корпус Морской пехоты США и все Соединенные Штаты Америки. В действительности же за его плечами дверь, которая открывается, и грубый голос отрывисто командует:

— Вперед, марш!

Вы входите и получаете возможность поприветствовать своих товарищей по несчастью, отбывающих свой срок на хлебе и воде.

Я вошел в мир теней, в пещеру, промытую в подводной скале глубинным течением. Но вскоре различил гул голосов, и тени обрели плоть, я услышал смех, и это мрачное место осветилось самым сильным светом на свете — светом человеческого духа, и я понял, что нахожусь вовсе не в аду, как мне представлялось вначале, а всего лишь на гауптвахте, на каких-то пять суток.

Когда глаза привыкли к полумраку, я понял, что стою в помещении размером примерно шесть на четыре с половиной метра, в которое свет проникает через единственное маленькое окошко, расположенное очень высоко. Пол цементный, как и стены, имел небольшой уклон к центру, где располагался сток для воды. В середине одной из стен находился кран, на котором висело несколько металлических кружек. Наша камера была переоборудована из душевой. Я увидел, что еще недавно бесплотные тени стоят, прислонившись к степам, и разглядывают меня с любопытством и ожиданием.

Чей-то голос из темноты вопросил:

— За что ты здесь?

Я робко ответил. Последовало напряженное молчание, которое нарушил возмущенный вопль:

— Ты что, псих? За что ты собирался застрелить офицера?

— Он украл мои сигары на Гуадалканале.

— Жаль, что ты не пристрелил ублюдка, — хмыкнул другой голос. — Ну и что тебе за это дали?

— Пять суток на хлебе и воде, — честно ответил я.

Теперь возмущенно заговорили все сразу. Похоже, мне не поверили.

— Как тебе удалось выкрутиться? Черт побери! Да я получил тридцать суток только за то, что смылся с холма на пару деньков. А за то, что ты натворил, тебя должны были отправить в Портсмут и засунуть твою задницу на гауптвахту навсегда!

— Ну да, подумать только, ты же попытался застрелить дежурного офицера! Твой старик, должно быть, генерал или другая большая шишка?

Неожиданно раздался резкий стук приклада в дверь.

— Эй, вы там, угомонитесь!

Громкое многоголосье тут же перешло в приглушенное бормотание, после чего в камере воцарилась тишина. Мои глаза уже полностью привыкли к плохому освещению, и я принялся рассматривать своих товарищей по несчастью. Здесь не оказалось никого из моей роты, зато был один парень из батальона, которого я знал в лицо. Все лица были похожи выражением брюзгливой подавленности, характерным для жертв незначительных наказаний, городских подростков или лишившихся иллюзий дилетантов, и не было похоже, что кто-то надеется на волшебное избавление. Кроме этого общего для всех выражения лица и кроме постоянного сетования на офицеров и сержантов, засадивших невинных за решетку, или пылких, но совершенно не страшных обещаний мести, не было ничего, что отличало бы обитателей гауптвахты — корабельных крыс — от людей на свободе. Здесь были те же самые морские пехотинцы, только попавшие в беду.

Тени все еще стояли вдоль стен, никто не садился, и я спросил у парня, переминающегося с ноги на ногу рядом со мной, почему.

— Они поливают палубу, — сказал он, указав на пол. — Сидеть невозможно, если, конечно, не хочешь промочить и застудить задницу.

Пол еще был мокрым, когда в камеру вошел рядовой и начал выплескивать воду из ведер на пол. За ним стоял еще один рядовой с винтовкой наготове.

— Расслабься, — шепнула тень рядом со мной. — Привыкнешь. Гауптвахта — не загородный клуб. Они всегда поливают пол, если застукают кого-то здесь курящим.

— Курящий?

Он кивнул, а я попытался проследить за направлением его взгляда.

Как только дверь захлопнулась, две тени напротив нас раскурили бычок сигареты. Чтобы спрятать огонек спички, казавшийся очень ярким в темноте, они соорудили над головой одного из них некое подобие палатки из двух курток. Они делали неглубокие затяжки, выдыхали дым вниз и старательно разгоняли его, размахивая руками. Это была настоящая карикатура, которая, однако, никому не казалась смешной.

Вокруг раздавались приглушенные возгласы недовольства, но курильщики их игнорировали и продолжали подвергать опасности всех в помещении, получая ни с чем не сравнимое удовольствие только от того, что они нарушают правила. Поскольку от такого способа курения иного удовольствия получить нельзя.

— Это долгосрочники, — пояснила стоящая рядом тень. — Каждому еще по двадцать — двадцать пять суток, а то и больше сидеть, поэтому им наплевать, если их застукают. Парой суток больше — парой суток меньше, какая им разница?

— А откуда у них сигареты?

— Дело в том, что долгосрочники получают нормальную пищу — полный рацион — каждые четверо суток. Когда их отводят обедать с обычными арестантами, кто-то передает им сигареты. Они их прячут в волосах или между пальцами, иногда даже во рту. Но тогда им приходится ждать, пока табак высохнет.

Дверь распахнулась, и я съежился, ожидая еще воды. Но оказалось, что подошло время приема пищи.

— Цып-цып-цып, — дурашливо закричал один из охранников, — цыплятки, идите покушать, —втолкнул в комнату большой деревянный ящик и захлопнул дверь.

Они набросились на него, как стая голодных волков. Они прыгали вокруг ящика и рвали буханки хлеба с яростью черни, алчущей крови поверженного тирана. Одним бесшумным прыжком они налетали на вожделенную коробку, боролись, тянули, отпихивали и, только урвав желанный ломоть и жадно пережевывая его, отступали к степам. Там, сжавшись, как загнанные в клетку звери, они молча жевали свой корм. При этом их глаза горели злостью и подозрением, а позы выражали решимость защищать свой кусок. Иногда одна из теней вставала и наливала себе кружку воды или брала щепотку соли, небрежно рассыпанной по дну ящика.

Такова была хлебно-водная диета.

Так повторялось трижды в день — утром, днем и вечером. Я, впервые увидев эту сцену, в ужасе отошел подальше и в результате нашел в ящике только маленький сухарь. После этого я быстро научился бросаться вперед при первых же звуках насмешливого голоса охранника.

Ночь на гауптвахте начинается сразу. Здесь нет сумерек. Когда умирает последний слабенький лучик света, наступает кромешная тьма. И ты сразу чувствуешь, как сильно устал. Вечерний ящик с хлебом уже принесли и опустошили, больше ждать нечего, только близящегося дня освобождения. Лучше уснуть, забыться, провалиться в благословенное небытие и проснуться на один день ближе к свободе.

Охранники пришли с одеялами — но два на человека: одно — чтобы постелить на все еще влажный цемент, другое — чтобы укрыться. Как разбойники Робин Гуда, мы укладывались на сие жесткое ложе и сразу засыпали. Нам, заключенным, повезло больше, чем тюремщикам. Пока мы спали, за дверью должен был

находиться охранник. Мы мирно спали, а охранник стоял без сна — ведь кто-нибудь из заключенных может перехитрить всех и скрыться. Но мы спали.

Утро приносит тоску. Мы стояли или сидели на корточках — безликие и бесформенные, ожидая ящика с хлебом, тоскуя о ночи и страшась рассвета, считая дни и проклиная медленное течение времени. Минуты складывались в часы, часы в дни, а четыре коротких дня составили целую эпоху. Мы ругали офицеров, изобретали всевозможные способы мести и так глубоко проваливались в не имевшую дна бездну жалости к себе, что весь мир переворачивался, терял привычные очертания. Одеяла и хлебный ящик становились самыми значительными вещами на свете, они занимали все наши мысли, временами мы теряли способность думать о чем-либо другом, окутанные мраком черного отчаяния, несущим зло.

Но в конце концов наступает утро, которое приносит свободу. И снова за вашей спиной охранник с винтовкой, сопровождающий вас в лазарет и штаб роты, — и, наконец, долгожданное освобождение. За вами захлопывается железная дверь, и полумрак камеры, где заключенные получают только хлеб и воду, и движущиеся по ней безликие тени остаются в прошлом.

Посещение гауптвахты не прошло бесследно. Казалось бы, всего пять коротких дней, а они оставили в душе шрам. Осталась память об унижении, которую можно разделить со всеми птицами, у которых подрезаны крылья, со всеми живыми существами, сидящими в клетках, с попавшими в тюрьмы бродягами.

Тем не менее человек, вышедший с гауптвахты, куда он попал впервые, если у него хватит духа и воли извлечь выгоду из неприятностей, оглянется на несколько страшных дней и улыбнется. А потом и рассмеется. Теперь ему сам черт не страшен. Он прошел через камеру хлеба и воды!

Когда я вышел на свободу, Хохотун ожидал суммарного трибунала, и его защитник вызвал меня в качестве свидетеля. Бегун тоже должен был выступить свидетелем.

В день процесса мы все дрожали от страха. Хохотун — из-за тяжести предъявленного ему обвинения, в результате которого он вполне мог попасть под военный трибунал высшей инстанции, Бегун — потому что его лояльность к Хохотуну могла ненароком вскрыть его собственные грехи, я — по той же причине, многократно усиленной тем фактом, что я уже побывал на гауптвахте.

Мы были напуганы ещё и потому, что на первый взгляд суд показался нам жалкой пародией на правосудие.

Я говорю, на первый взгляд, поскольку по его составу и ведению он мог показаться именно таким, хотя на деле и пародии не было, и заключение суда было не столько справедливым, сколько практичным.

Юрист, конечно, мог утверждать, что процесс над Хохотуном был пародией. Юрист мог на-смешливо взирать на защитника нашего друга, молоденького второго лейтенанта[10], даже младше нас, только что прибывшего с ускоренных курсов правоведения в нью-йоркском колледже, которому на роду было написано стать политиком, а не адвокатом. Юрист мог презрительно фыркать над ведением процесса и судьями, подобранными из числа лейтенантов и капитанов, которые всего лишь два года назад еще были студентами разных колледжей, и самым серьезным вопросом, который им приходилось решать, был вопрос, на что потратить карманные деньги: на книги или пиво. Таким был суд, которому предстояло решить судьбу Хохотуна. Он закончился разжалованием из капралов в рядовые и помещением на десять суток на гауптвахту общего режима. Никто, и меньше всего сам Хохотун, не ожидал такого милосердного решения.

Жаль, что память меня начала подводить и я не могу описать процесс подробно.

Помню, как обвинитель прервал защитника Хохотуна, когда тот допрашивал меня о моей дружбе с подзащитным.

— Это к делу не относится, — резко заявил он.

Защитник, в первый момент удивившись, какое отношение имеет эта фраза, часто звучащая в суде, к нему, единственному человеку в зале, имеющему хотя бы какую-то юридическую подготовку, изобразил на лице выражение сокрушительного презрения и продолжил допрос.

Судья, понимая, что защитник юридически подкован лучше всех, отклонил возражение.

Итак, Хохотун лишился шевронов и провел десять суток в относительном комфорте гауптвахты общего режима. В отличие от меня, выйдя на свободу, он смог пожаловаться только на одно обстоятельство: на гауптвахте он попал к офицеру, который получал удовольствие, сбривая волосы с головы своих подопечных, делая их гладкими, как колено. Хохотун, выйдя на свободу, поблескивал совершенно лысым черепом и, продемонстрировав неведомое нам дотоле тщеславие, носил на нем пилотку до тех самых пор, пока его роскошные светлые волосы не выросли снова.

2

Военная полиция была на удивление многочисленна. Мы все дружно ненавидели черные нарукавные повязки с белыми буквами МР[11].

Когда мы поднялись на борт австралийского корабля «Маноора», готовящегося к выходу на маневры в Мельбурнском заливе, военная полиция была поставлена охранять ворота порта. Парни с черными повязками стали нашим кошмаром. Только по-настоящему умный и ловкий человек мог проскользнуть мимо них.

Нам всем очень хотелось сойти на берег — корабль мы ненавидели всей душой, даже его название казалось чрезвычайно неприятным, даже отталкивающим. Мы ненавидели тягучую скуку — постоянную спутницу нашего пребывания на борту. Что хорошего в тупом ожидании начала маневров, да еще если этому невеселому занятию сопутствуют такие обстоятельства, как рубец и вареная картошка на завтрак, сон в гамаках в трюме и постоянная полировка бесконечных покрытых лаком деревянных поверхностей «Манооры».

Как-то ночью прошел слух, что военных полицейских отозвали, и у ворот остались только гражданские охранники. В течение часа на корабле не осталось ни одного морского пехотинца. Они перелезали через забор, отделявший портовую территорию от города, а самые смелые шли прямо через ворота: все равно пожилые гражданские охранники не могли их задержать.

Мы отправились вчетвером: Хохотун, Бегун, я и еще один парнишка из Луисвилла, кузен Джентльмена, получивший за нежный возраст — в то время ему не было и девятнадцати — прозвище Цыпленок. Мы вышли через ворота, уже стало известно, что гражданским на нас плевать.

Мы зашли в первый же ресторан, который попался по дороге. Безвкусная пища, которой нас потчевали на «Манооре», настолько приелась, что нам снились традиционные австралийские бифштексы с яйцами, которые так приятно запивать вином или пивом. А еще — кувшины со свежим, жирным молоком и тарелки, наполненные австралийским хлебом — молочно-белым, по вкусу напоминающим сдобный пирог, тонко нарезанным и намазанным толстым, как сыр, слоем масла.

Ресторан представлял собой одно просторное помещение, окруженное галереей или балконом, куда можно было подняться по лестнице. В дальнем конце комнаты виднелись двери, ведущие на кухню. Налево шла маленькая столовая для рядовых, в которой я заметил круглый стол и несколько жестких стульев.

Мы съели ужин и приступили к возлияниям. Хохотун успел

позвонить своей девушке, и она должна была приехать, чтобы повидаться с ним, но свидание планировалось только через час. Так что мы спокойно потягивали спиртное, как и полдюжины других групп морских пехотинцев. Среди них был высокий красивый темнокожий парень из роты E — ротный парикмахер, то есть человек, способный подстричь волосы немного короче, не изуродовав их обладателя. Он был заметно пьян.

Несколько морпехов были с девушкам, они танцевали под мелодии из музыкального автомата. Через открытую дверь была видна мостовая, едва освещаемая падающим из окна тусклым светом. Весь день моросил дождь, и мокрая мостовая слегка поблескивала.

Возле открытой двери резко затормозил джип. Он появился совершенно неожиданно — никто не видел, как он подъехал. Просто только что улица была пустынна, а теперь там стояла машина. Из нее выскочила четверка военных полицейских и вбежала в ресторан. Мы заметались, как перепуганные овцы. Панику усугубил грохот переворачиваемой мебели. Забавно, но при этом не было слышно человеческих голосов, даже девушки молчали.

Я припустил в сторону лестницы, ведущей на галерею, за мной устремились полицейские. Пробегая по коридору, я увидел открытую дверь, из которой падал свет, вбежал внутрь и запер ее. Не дожидаясь, пока в дверь начнут ломиться, я одним прыжком преодолел комнату и оказался в ванной, где увидел полуодетого австралийца, который брился перед зеркалом, — лицо покрыто мыльной пеной, в руке бритва. Он явно не испугался, но очень удивился.

— В чем дело, янки? — поинтересовался он, пока я лихорадочно озирался в поисках пути к спасению.

— За мной гонится военная полиция, — тяжело дыша, ответил я.

— Ах, эти... Ты сможешь уйти, янки. Смотри — из этого окна ты попадешь на крышу — и вперед! Они не побегут за тобой. Шевелись, янки, я постараюсь их задержать.

Я выскользнул на крышу, слыша за спиной тяжелые удары в дверь. Я осторожно подполз к краю, съехал вниз и повис на руках. Через мгновение я услышал возбужденные голоса полицейских, которым что-то отвечал австралиец, — слов я не разобрал. Затем услышал, как открылось окно, и увидел мечущиеся в темноте лучи карманных фонариков. Потом окно закрылось, и наступила тишина. Край крыши, за который я цеплялся, больно резал пальцы. Почему-то мне показалось, что еще несколько минут, и мое тело оторвется и полетит вниз, а руки так и останутся висеть.

Втянуть туловище обратно на крышу представлялось мне работой для супермена. И в то же время я не мог позволить себе упасть, поскольку шум падения выдал бы мое местонахождение полиции. Я боялся вертеть головой, чтобы рассмотреть, что там происходит внизу, и продолжал висеть, стараясь не обращать внимания на боль, которая становилась нестерпимой. Наконец я услышал, как заработал мотор джипа, и машина уехала.

Только тогда я спрыгнул. Правда, мой прыжок больше походил на падение, но это уже мелочи. Я приземлился на улице — окна австралийца выходили именно туда. Если бы полицейские потрудились поднять голову, они бы меня наверняка увидели. Я прятался в тени, пока не убедился, что ни один из них не остался в засаде, после чего вернулся в ресторан.

Я снова начал пить, с нетерпением ожидая, когда же появятся Хохотун, Бегун и Цыпленок, но их все не было. Зато возвращались другие морские пехотинцы, со смехом обсуждая подробности своего бегства от полицейских.

— Эй, рота Е, — спросил я парней, среди которых был знакомый мне парикмахер, — вы видели ребят из роты Н? Их поймали полицейские?

— Полицейские никого не поймали, — рассмеялись те в ответ. — Они все рванули наверх за тобой. Как, черт возьми, тебе удалось уйти?

— А я и не думал уходить. Я им сказал, что служу в роте Е, и они меня пожалели, — ответил я.

— Щепок, — отреагировал кто-то.

— Рота Е никогда не отступает. Это в роте Н каждый старается спрятать подальше свою задницу.

Некоторое время мы продолжали обмениваться оскорблениями. Назревала драка. Помешало только то, что темнокожий цирюльник, допившись до беспамятства, свалился со стула. Товарищи наклонились, чтобы ему помочь, и как раз в это время в комнату снова вбежали полицейские. Они появились так быстро, что пути к отступлению не оказалось. Я направился было в сторону столовой для рядовых, но был перехвачен.

— Куда, интересно, ты идешь?

— За своим головным убором.

— Головным убором? Скажите пожалуйста... Пошли-ка со мной, парень.

Другие полицейские пытались поставить на ноги цирюльника. Его голова болталась, как у сломанной куклы. Остальные представители доблестной роты Е ускользнули, оставив своего бесчувственного товарища и меня на растерзание полицейским. Один из захватчиков напялил на голову

цирюльника шапку и, поддерживая его под руку, повел к выходу. Я обернулся к полицейскому, стиснувшему мое плечо:

— Так как насчет моего головного убора?

— Где он?

— В той комнате. Мне нужно его взять.

— Ладно. Но только я иду с тобой.

Я не спеша подошел к двери, открыл ее, переступил через порог, после чего резко захлопнул дверь за своей спиной, двумя прыжками проскочил комнату, влетел в другую дверь и оказался в кухне, крича:

— Быстро: где здесь выход?!

Проследив за взглядом официантки, указавшим куда-то в угол, я распахнул еще одну дверь и попал на задний двор. Чуть поодаль виднелась высокая кирпичная стена с колючей проволокой поверху. Слыша топот бегущих за мной по пятам полицейских, я пулей пролетел пространство, отделяющее меня от стены, подпрыгнул, ухватился за край, подтянулся на руках — вот... еще немного... теперь одну ногу... другую... Я уже почти на свободе!

Выстрел!

Сукин сын! Он же стреляет в меня!

Спрыгнув вниз, я не устоял на ногах и упал на колени. Руки сильно кровоточили — должно быть, я их разодрал о колючую проволоку. Одежда тоже была разорвана. Но я мог думать только о выстреле и чувствовал, как меня охватывает холодная ярость.

Но теперь мне пришлось защищаться от своры собак, которые собрались вокруг, как только я приземлился в переулке. Они громко тявкали, тем самым сообщая всему миру, где именно я нахожусь. В домах по обеим сторонам начали освещаться окна.

Я пробирался на ощупь вдоль заборов, отбиваясь от собак.

В доме слева от меня зажегся свет. Дверь распахнулась, и мне в спину ударил луч фонаря. Я присел, но не сумел от него скрыться.

— Кто здесь? — позвал женский голос.

— Я — американец, морской пехотинец, — ответил я, здраво рассудив, что было бы глупо притворяться, что меня здесь нет. Тем более, что собаки уже окружили меня и, судя по всему, собрались нападать. — Меня преследует военная полиция.

— Иди сюда. А вы убирайтесь отсюда, чертовы дворняги. — Последнее относилось к собакам.

Женщина отогнала их ярким светом фонаря, и я смог проскользнуть в ворота. Свет фонарика осветил мои окровавленные руки.

— Ты ранен, идем, я перевяжу. Я раньше работала

медсестрой.

Я прошел за ней в дом. Она промыла царапины, смазала их дезинфицирующим раствором и забинтовала. Я молча наблюдал за ее ловкими, умелыми руками. Это была простая женщина со строгим, волевым лицом. Судя по всему, ей было около пятидесяти. Она была одна в доме, но ей даже в голову не пришло испугаться.

— Почему ты бежишь от этих кровожадных ублюдков? — спросила она, закончив перевязку.

— Они всю ночь меня преследуют. Мы сейчас на борту «Маиооры», и много наших сегодня отправилось на берег. Но у нас нет увольнительных, и к тому же мы не должны разгуливать по городу в рабочей одежде.

— Я так и думала, — улыбнулась она. — Мне показалось странным, что ты так небрежно одет. Вы, американцы, всегда такие аккуратные, все у вас наглажено, начищено и сверкает.

Я последовал за ней через низкий темный коридор. Женщина вела себя совершенно спокойно, словно у нее вошло в привычку каждую ночь спасать от полиции и перевязывать беглецов. Я остановился за занавеской, отделяющий коридор от кухни.

Она открыла дверь.

Два выстрела прозвучали громом средь ясного неба.

Она захлопнула дверь.

— Опа, — сказала она. — Они подстрелили одного из твоих товарищей.

Ее голос был абсолютно спокойным, словно она сообщила о том, что, наконец, прекратился дождь, а не о том, что полицейский подстрелил беднягу цирюльника. Пуля 45-го калибра, как я узнал позже, пробила ему бедро.

— Он бежал по улице, а когда я открыла дверь, послышались выстрелы, и я увидела, как он упал. Ш-ш-ш, они рядом.

Я инстинктивно сделал шаг назад, пытаясь раствориться в темноте. А она снова осторожно приоткрыла дверь.

— Ну, все, — вздохнула она, — уехали. Слышишь? Их машина удаляется. А с твоим приятелем, я думаю, все в порядке. Во всяком случае, он жив. Они увезли его в своей машине.

Я приблизился и с замиранием сердца выглянул на улицу.

— И часто они так делают? — спросила она.

— Нет, — прорычал я, — никогда раньше не слышал ни о чем подобном. Они его действительно подстрелили?

— Да, я сама видела, как он упал.

— Они об этом пожалеют, — пообещал я.

— Что ты имеешь в виду?

— Я бы не хотел быть этим полицейским, особенно когда

товарищи подстреленного узнают, кто это сделал.

— Надеюсь, они устроят ему хорошую трепку, которую он никогда не забудет. Подумать только — стрелять по своим!

Я поблагодарил добрую женщину и выскользнул на улицу.

Слева от себя я видел дорогу, идущую вдоль берега, и слабые лучи, пробивающиеся сквозь облака над водой. Я шел к причалу, намереваясь разыскать Хохотуна или Бегуна и вернуться на борт «Манооры». Мне уже надоели игры в прятки с военной полицией, которые к тому же стали слишком опасными. Я вышел на дорогу, увидел освещенную дверь ресторанчика и внимательно огляделся. Полицейских нигде не было видно. Я перешел дорогу и по деревянным ступенькам спустился на берег.

Хохотун должен был быть где-то здесь вместе со своей девушкой. В такой одежде ему просто некуда было больше пойти. Мягкий песок заглушал звук моих шагов, поэтому я громко свистнул, чтобы не наткнуться на парочку внезапно и не напугать. Продолжая насвистывать, я сел около вытянутой на берег лодки. Через десять минут Хохотун вынырнул из темноты и сел рядом.

— А где Хоуп? — спросил я.

— Уехала домой. Пошли, нам лучше поторопиться.

По пути к причалу мы наткнулись на Цыпленка. Заметив нас, он радостно заулыбался:

— Черт бы тебя побрал, Счастливчик, я бы мог поклясться, что полицейские сцапали твою задницу.

Я чуть не подавился, когда увидел, как ты улепетываешь вверх по лестнице. Я тоже побежал, но не мог удержаться от смеха. Знаешь, они поймали Бегуна.

— Бегуна?

— Точно. Они его первым схватили. Я сам видел.

Хохотун весело рассмеялся:

— Наконец и Бегун побывает на гауптвахте.

— Это точно. Теперь он станет членом нашего клуба.

К воротам мы приблизились молча. Перед ними прогуливался древний австралиец, этакий реликт, одетый в форму гражданской охраны. Он жестом подозвал нас к себе и прошептал:

— Даже не думайте. Дежурный офицер следит за воротами и арестовывает всех входящих.

Мы тепло поблагодарили старика и удалились на совет. Было решено перелезть через забор. Это нам удалось довольно быстро, но тут обнаружилось, что плавучий причал находится в десятках метрах от берега и добраться до него можно только в одной из маленьких шлюпок, стоявших на якоре здесь же.

Прячась в тени причала, мы подобрались к одной из свай, и Хохотун с Цыпленком сноровисто поползли вверх. Они двигались настолько бесшумно, что я слышал казавшийся мне очень громким плеск воды, бьющейся о сваю. Я потихоньку окликнул их, но ответа не получил. Опасаясь привлечь внимание часового, я больше не стал подавать голос, а привязал шлюпку и последовал за ними.

Когда моя голова показалась над причалом, глазам предстала странная картина. Хохотун и Цыпленок стояли рядом, высоко подняв руки над головой, а часовой в каске целился в них из винтовки. Я хотел было скрыться, но часовой меня уже заметил. Он повелительно махнул винтовкой, и я присоединился к товарищам, приняв аналогичную позу. Судя по поведению часового, он был новичком, только что прибывшим из Штатов. Ни один из ветеранов не стал бы вести себя так со своими товарищами. И уж тем более ветерану и в голову бы не пришло угрожать товарищам оружием. Хохотун примирительно заговорил с парнем:

— Ружье заряжено?

— Да, — ответил часовой, настороженно следя за нами.

— Патрон в патроннике?

— Нет.

Мы перевели дух, и я, успевший за время беседы придвинуться к нему, неожиданно бросился к темному корпусу судна. Я рассчитывал, что часовой или не станет стрелять, или повернется, чтобы прицелиться, дав возможность Хохотуну и Цыпленку сбить его с ног, сбросить в воду или хотя бы побежать в разные стороны, чтобы создать ему максимум трудностей.

Однако часовой оказался быстрее и сообразительнее, чем все мы.

Он отпрыгнул назад, чтобы держать в поле зрения Хохотуна и Цыпленка, и, вскинув винтовку на плечо, дослал патрон. Услышав характерный щелчок, я замер. Мы все замерли, уставившись на часового в недоумении и ужасе.

— Ты что, сдурел, парень? Принял нас за проклятых япошек? Опусти немедленно свое ружье!

Несколько секунд часовой таращился на нас, разинув рот от удивления. Похоже, гневные слова Хохотуна упали на плодородную почву, о существовании которой парень даже не подозревал. Выражение его глаз изменилось — казалось, теперь он видел в нас совершенно других людей, не абстрактных нарушителей, которых ему было приказано задерживать, а обычных морских пехотинцев, таких же, как он сам, солдат одного батальона. Растерявшись, он начал опускать винтовку. Но

было уже слишком поздно.

Из большой темной тени, отбрасываемой судном, вышел дежурный офицер.

Увидев, что это лейтенант Рысак, я непроизвольно напряг мускулы живота, словно готовился принять пулю. Дело в том, что Рысак был самым способным, самым уважаемым и в то же время самым кровожадным из командиров нашего батальона. Его боялись больше, чем кого бы то ни было другого. Я стоял с поднятыми руками и смотрел, как он приближается, как на ходу выхватывает пистолет и зовет охранника-капрала. Мне уже приходилось видеть его раньше, правда, издалека. Он шел по нашим позициям на Гуадалканале и практиковался в выхватывании пистолета, спрятанного за спиной. Он учился быстро выхватывать оружие и стрелять, причем, вполне возможно, с этим же пистолетом, который он сейчас держал в руке и дуло которого упиралось мне в живот.

Он взглянул на меня из-под каски, но никакие эмоции не отразились на его уверенном, бесстрастном лице с большим носом и маленькими, широко расставленными глазами.

— Обыщите их, — приказал он и сильнее вдавил пистолет в мой многострадальный живот.

— Зачем вы хотите меня обыскать? — спросил я. — Вы же меня знаете, лейтенант, я вовсе не из пятой колонны.

— Обыщите их, — повторил лейтенант, и охранник подчинился. Ему явно было стыдно.

— Дайте нам шанс, лейтенант, — заговорил Хохотун, чем чрезвычайно меня удивил. Но потом я вспомнил, что Рысак прошел весь путь от солдата до офицера, и предположил, что Хохотун взывает к нему именно по этой причине.

— Сегодня никаких шансов, — заявил Рысак. Его голос был строг и сух. — Вам следовало думать, когда вы сбегали с корабля на берег без увольнительной и без форменной одежды. — Он холодно оглядел нас и сказал: — Часовой, займите место позади этих людей и прикрывайте их.

— Да ладно, лейтенант. — Хохотун не терял надежды. — Мы не сделали ничего плохого. Сегодня ночью весь второй батальон был на берегу. Нам просто не повезло — вы нас застукали.

— Далеко не только вам. Я поймал дюжину ваших, решивших пройти через ворота. И всех отпустил. Но только не вас. Я наблюдал, сколько вы проявили изобретательности, чтобы остаться незамеченными. Вы, парни, слишком уж хитры. Если бы я был на месте часового, вы бы уже были мертвецами.

Он довел нас до «Манооры», вверх по сходням, потом в носовую часть судна и вниз по трапу, в дыру, освещенную

единственной тусклой электрической лампочкой. Это было помещение для арестованных. Не каюта, а небольшой закуток, образованный в месте соединения правого и левого бортов «Манооры». Здесь были отлично видны шпангоуты — ребра судна. Здесь и одному человеку невозможно было повернуться, а троим и подавно. Нас буквально запихнули в эту дыру, а когда люк захлопнулся, мы увидели закрепленную на переборке табличку с надписью: «Это помещение сертифицировано для содержания одного матроса среднего телосложения». Мы переглянулись, пересчитав друг друга, и захохотали.

Потом мы заснули. Хохотун, как самый тяжелый, лег на палубу, я на него, а Цыпленок на меня.

Мы проснулись, почувствовав, что находимся в море. Нос корабля то взлетал вверх, то опять падал вниз. Мы, лежа друг на друге в тесной поре, ощущали эти чередующиеся взлеты и падения, наверное, лучше, чем кто-либо другой. Наша клетка содрогалась вместе с движениями «Манооры». Мы мерно вздымались и падали — иногда с головокружительной быстротой, иногда медленно, плавно. Резкое падение, когда все внутренности поднимаются вверх, было самым неприятным. Но мы не ощущали дискомфорта и даже не были огорчены. Движение судна означало, что маневры начались, следствием чего, как мы решили, будет повышенная занятость наших командиров, которым будет некогда наказывать нас за совершенный проступок.

Мы оказались не правы.

* * *

И снова хлеб и вода. В помещении гауптвахты, куда мы попали вместе с Цыпленком, было оживленно. В результате короткого судебного заседания под председательством начальника штаба батальона я лишился нашивок рядового 1-го класса, которые только недавно снова получил, был оштрафован и отправлен на хлеб и воду на десять суток. Цыпленок был наказан так же строго. А Хохотун избежал гауптвахты, вторично поплатившись парой капральских шевронов.

На гауптвахте нас приветствовали радостными возгласами:

— Вы только посмотрите, кто вернулся!

— Добро пожаловать на борт, друг!

Это было похоже на встречу выпускников. Почти все обитатели гауптвахты уже были здесь раньше, поэтому все друг друга знали. Даже охранники казались обрадованными.

Наше появление прервало выборы. Это была регулярная процедура — выборы мэра гауптвахты. Это были самые честные и справедливые выборы на моей памяти. У кандидатов учитывалось только два фактора: частота заключений и продолжительность службы. Выборы проводились всякий раз, когда у очередного мэра заканчивался срок заключения и он освобождал должность.

Один из кандидатов произнес пространную речь, изобиловавшую обещаниями страшной мести офицерам и бесчисленных привилегий для заключенных. Его соперником был наш Пень. Он был краток.

— У него короткий срок, — презрительно заявил он о своем оппоненте, — и он здесь всего лишь второй раз. А у меня, — тут он ткнул себя пальцем в грудь, — уже четвертая ходка, и еще осталось пятнадцать суток.

Пень был избран абсолютным большинством голосов.

— Мои поздравления, господин мэр, — сказал я, но достойно ответить он не успел — как раз принесли ящик с хлебом. Все рванулись к нему, я тоже не отстал. Человек быстро привыкает к лишениям.

Пень налил из крана фляжку воды, а большой ломоть хлеба разломал пополам.

— Сейчас я сделаю сэндвич, — доверительно сообщил он.

— С чем? — фыркнул я. — С воздухом?

— С солью, — серьезно ответил тот. — Я всегда делаю сэндвич с солью.

Он взял горсточку соли из ящика, рассыпал ее на одном куске хлеба и аккуратно распределил крупицы по всей длине куска. Затем он прикрыл соль вторым куском.

— В самый раз, — мечтательно заявил он. — Именно столько соли сюда надо.

Он начал жевать, периодически прихлебывая воду из фляжки, и выглядел таким довольным, что это казалось даже греховным. Если бы я не помнил, как Пень на Гуадалканале смешивал червивый рис с содержимым случайно подвернувшейся банки орехового масла и с удовольствием поглощал эту неудобоваримую пищу, я бы счел, что парень попросту спятил. Но таким уж был наш Пень. Он всегда довольствовался тем, что у него есть, и не унывал. Разве таких людей можно победить?

* * *

В ту ночь в караул заступила наша рота, а Бегун стал часовым в нашей камере. Хотя он и был пойман военной полицией во

время эпизода с «Маноорой», удача ему не изменила — его отпустили.

Когда стемнело и все мы растянулись на одеялах, Бегун извлек из недр карманов сигареты и закурил: одну сам, другую — для меня. Вскоре задымили и остальные — в темноте были хорошо видны тлеющие огоньки сигарет.

— А как насчет какой-нибудь еды? — шепотом спросил я.

— Откуда? Камбуз давно закрыт.

— Но в киоске у главных ворот всегда продают хот-доги.

Я заснул в счастливом предвкушении вкусной еды.

Бегун разбудил меня около полуночи. У него в руках был внушительных размеров пакет, наполненный едой из киоска. Я разбудил Цыпленка. Бегун вышел из камеры.

И мы стали жадно поглощать еду. Какой это был восхитительный банкет! Вожделенные хот-доги были приправлены специями риска, ароматизированы приятнейшим запахом запрета и пропитаны нектаром насмешки над наказанием.

На следующую ночь он порадовал нас таким же праздничным ужином. Все это повторялось бы и впредь, но в караул уже заступила другая рота.

На четвертую ночь нас неожиданно разбудили.

— Это он, — сказал незнакомый голос, и мне приказали встать. Аналогичный приказ получил Цыпленок.

Нас вывели на улицу. Понятно, что мы опасались самого худшего. Но оказалось, что нас освободили. Мы попали к батальонному новичку, получившему прозвище Красноречивый за пространные велеречивые рассуждения и очень выразительную жестикуляцию.

Он провел нас по коридору к главному сержанту батальона, и мы с удивлением отметили, что на свободе, оказывается, жизнь бьет ключом. Было только девять часов вечера, а мы уже два часа спали.

— Что случилось? — поинтересовался я у Красноречивого.

— Вас несправедливо засадили, — ответил он.

— Почему?

— Начштаба проявил излишний энтузиазм. Он хотел бросить в вас камень, но выбрал слишком большой. На «палубном» судебном заседании можно понизить человека в звании, или оштрафовать его, или посадить под замок. Но нельзя применить все три наказания сразу, как это было сделано с тобой.

— Ты хочешь сказать, что я получу обратно деньги и нашивки?

Красноречивый взглянул на меня с жалостью:

— Даже не мечтай. Главный сержант уже переписал бумаги, и для вас двоих все решено.

— И какое наказание?

— Разжалование и пятьдесят долларов штрафа, как и прежде.

— А как насчет четырех суток заключения на хлебе и воде?

— Этого не было.

Мы с Цыпленком остановились, охваченные бессильной злобой.

— В новом протоколе суда сказано, что вы наказаны штрафом и разжалованием, так и будет записано в ваших документах. Там не будет никакого упоминания о гауптвахте.

— Будет, — прошипел я, изо всех сил стараясь справиться с выплескивающейся через край яростью, — потому что я ничего другого не подпишу. Веди меня назад на гауптвахту, я буду досиживать свои десять суток. — Выпалив сию гневную тираду, я повернулся к Цыпленку: — А ты что думаешь? Пойдешь со мной на гауптвахту?

— Нет, Счастливчик. — Цыпленок смотрел на меня робко и заискивающе. — Я не хочу. Да и зачем возвращаться, если можно остаться на свободе. И как мы сможем отказаться, если главный сержант прикажет подписать документы? Мы не можем бороться со всем миром.

— Вот это слова разумного человека, — важно проговорил Красноречивый.

— Ты называешь это разумным? — взорвался я. — Чертов главный сержант совершает ошибку, а мы должны за нее платить? Мы просидели четыре дня, которые не должны были сидеть, и должны об этом забыть? Да еще подписаться под этим, чтобы ложь стала официальной. Это разумно? Да пошел ты к черту вместе со своим главным сержантом! Можешь сказать ему, чтобы он взял написанные им бумажки двумя пальцами — большим и указательным и на счет «три» засунул их...

— Ладно, ладно, расслабься. Ты взволнуешь весь Корпус Морской пехоты США. Ты совершенно прав. А главный сержант — нет. Но к сожалению, ты — совершенно правый рядовой, а он неправый главный сержант.

С ним нельзя было не согласиться. Он все правильно сказал: правый рядовой не имеет ни одного шанса против неправого главного сержанта.

— Не думай, что меня не впечатляет твоя сила духа, — сказал Красноречивый. — А в Средние века ее бы оценили еще выше. Но лично я советую тебе смириться и подписать документы.

— Пошли, Счастливчик, — сказал Цыпленок, — подпишем

эти глупые бумаги и поищем что-нибудь перекусить.

Я подписывал документы, а главный сержант в это время молча сидел за своим столом и буравил меня глазами. Я подписал их с отвращением, ненавидя каждую букву, из которых складывалось мое имя.

Меня отпустили, и я сразу направился в роту, где выяснил, что Красноречивый может одолжить фунт до дня следующей выплаты. Мы взяли его и улизнули в Ричмонд, где без ограничения ели стейки, яйца и ругали главного сержанта.

С точки зрения Корпуса Морской пехоты Цыпленок и я вовсе не служили эти четыре дня. И жалованье за них нам так и не вернули.

— Давай смиримся с этим, Счастливчик, — вздохнул Цыпленок, с удовольствием пережевывая очередной кусок стейка. — Мы идем по улице с односторонним движением.

* * *

Наше пребывание в Мельбурне подходило к концу.

— Когда вы уезжаете? — спрашивали девушки.

— Говорят, вы скоро нас покинете, — говорили нам люди, приглашавшие нас в гости. Они знали. Они всегда все знали раньше нас.

Удовольствий стало намного меньше. Не хватало девушек, мы не могли пить сколько хотели. Скоро все должно было кончиться. Засуха быстро иссушит стремительный поток наслаждений, и мы вновь окажемся в пустыне. Мы и пытались напиться впрок.

В конце сентября 1943 года нас строем привели со стадиона на причал и погрузили на корабли. Мы возвращались на войну.

На пристани собрались толпы женщин. В этой многоликой толчее наверняка были и мужчины, но наши глаза могли видеть только девичьи лица и тонкие женские руки, машущие нам вслед.

— Взгляни на них, Счастливчик, — сказал Здоровяк. — Не стоит себя обманывать. Они пришли не только для того, чтобы попрощаться с нами. Они не только машут нам руками, они ждут первого парохода с пехотинцами, который придет в эту гавань.

— Ну и что? — пожал плечами Хохотун. — Ты на их месте делал бы то же самое. Ты просто ревнуешь.

— Черт побери, ну конечно! — с горечью констатировал Здоровяк. — Просто мне очень обидно, что я нахожусь не на том судне.

И тогда, словно для того, чтобы подчеркнуть правильность

оценки сцены прощания и подвести итог большому дебушировааиию, которое теперь осталось позади и удалялось по мере расширения водного пространства между кормой нашего судна и причалом, парни на борту решили отметить прощание по-своему.

Они извлекли из карманов и бумажников очень смахивающие на шарики резиновые изделия, повсеместно применяемые для контрацепции, в которых теперь не было никакой необходимости, и надули их. После чего шарики разных размеров были брошены в воду и поплыли, подгоняемые ветром и подпрыгивая на волнах. Очень скоро водное пространство между причалом и нашим медленно удаляющимся транспортом покрылось множеством этих белых, похожих на сосиски шариков. Сначала их были десятки, потом сотни, потом тысячи. Они танцевали на ветру, подпрыгивали, сталкивались и вновь разлетались в стороны, резвились в воде, разделяющей два человеческих лагеря, которые больше никогда не должны были встретиться. Еще долго звучали хриплые вульгарные выкрики морпехов, которым отвечали тонкие голоски девушек, изображавших скорбь. Они перекликались, как птицы в лесу, исполнявшие странный, понятный только им концерт.

Расстояние увеличивалось, а шарики все еще были видны.

Здравствуйте и прощайте, женщины Запада.

Глава 6. Ветеран

1

Как и все суда типа «Либерти», наш корабль был анонимным. То есть название у него, конечно, было, но совершенно незапоминающееся. Такие слова помнишь, пока их произносишь, и тут же забываешь снова. Неудобное, темное, некрасивое, скучное судно. Оно служило только для того, чтобы перевозить нас с одного места на другое, как паром. Здесь и речи не было об интересе, индивидуальности, приключении, короче говоря, оно было никаким.

Это было первое судно типа «Либерти» на нашем веку, но далеко не последнее. Обо всем непрезентабельном семействе этих морских транспортных средств Хохотун выразил свое мнение следующим образом. «Знаешь, — сказал он, с отвращением глядя на переполненные людьми палубы и прислушиваясь к конвульсивным подергиваниям судна, — эту штуку, наверное, сделали в конце недели. В пятницу вечером собрали в одном месте множество людей, которым нечего было делать, и как следует их напоили. А к ночи воскресенья они склепали этот шедевр». Он взмах-пул рукой, показывая, что его мнение относится не только к нашей медлительной красавице, но и ко всей длинной колонне транспортов, больше всего напоминающей стадо коров, движущейся от побережья Австралии на север.

Мы ели на палубе, здесь же справляли наши естественные потребности. Над верхней палубой был сооружен навес, где располагался камбуз, здесь же были гальюны. При сильном ветре требовалась изрядная сноровка, чтобы удержать тарелки на столах, равно как и пищу в желудке, если ветер дул со стороны гальюнов.

Мы снова начали глотать таблетки атабрина. Когда мы, получив на камбузе свои порции, выходили, держа в одной руке кружку кофе, а в другой — еду и столовые приборы, нас встречал дежурный офицер и приказывал открыть рот, куда санитар аккуратно забрасывал желтую таблетку.

— Открой рот.

— Ты же промахнулся, кретин!

— Эй, ты, осторожнее, следи за своей едой! Черт! Я же говорил, следи...

— Я же ничего не могу поделать, лейтенант, проклятое судно качается.

— Черт бы вас всех побрал, ослы! Вы же проливаете свой кофе. Двигайтесь, двигайтесь! Эй, ты там, проходи, на что ты уставился? Санитар, попрошу внимательнее, ты слишком многих пропускаешь. Внимательнее, я сказал. Внимательнее!

— Опа... Извините, сэр.

— Это не слишком сильный ожог, сэр. Он не потянет даже на вторую степень, я уверен.

— Черт, санитар, ты меня слышишь?

— Минутку, сэр. Качка опять усилилась. О... теперь воняет из гальюна, чувствуете? Осторожно, сэр, мы поворачиваем налево.

Так мы продвигались вдоль побережья Австралии, держа курс внутрь Большого Барьерного рифа. Риф располагался справа по борту, а берег — слева. Это был естественный защитный барьер, и ночью нам разрешали курить на палубе. Ни одна подводная лодка противника не стала бы забираться в такой опасный для нее лабиринт.

Мы не знали, куда направляемся. Единственное, в чем мы были уверены, это что наш курс лежит на север, а значит, обратно на войну. К этому времени японцев уже выбили с Соломоновых островов и большей части Новой Гвинеи. Мы шли на север по бескрайним водным просторам Океании. Наши мысли в основном были заняты пугающе большими потерями Таравы.

Но все-таки мы были ветеранами, поэтому не показывали страха, зато много шутили и выдвигали самые невероятные предположения о месте, куда нас везут, и о том, какие условия нас там ожидают. Впрочем, в последнем ни у кого сомнений не было. Короче говоря, мы коротали время за пустой болтовней, сидя на грязном брезенте, закрывающем люки. Если же это надоедало, мы играли в слова или придумывали всевозможные слоганы — кто лучше.

«Дурак, уснул? Это Рабул!» — говорил кто-то о неприступной японской крепости на Новой Британии. «Золотые Ворота, вас увидеть охота!» — ностальгически взывал другой, выражая тем самым общую тоску и сомнение, что мы скоро увидим Сан-Франциско. «Остаться бы в реестре, попав на Глосестер!» — вещал третий, мрачно пророчествуя, что на мысе Глосестер, на дальнем конце Новой Британии, выживут далеко не все. Что же касается перспективы вторжения в Корею, то фрейдисты, коих было немало в наших рядах, не смогли устоять против искушения срифмовать слово «Корея» с другим словом, обозначающим одно из последствий, к которому часто приводит учение Фрейда в жизни.

Если человек ленив, лишен физических нагрузок и к тому же отчаянно скучает, его очень легко вывести из себя. Раздражала

даже перспектива принятия пищи, потому что для этого надо было встать, собрать столовые принадлежности, затем постоять в очереди, а после еды неизбежными были такие неприятные процедуры, как мытье посуды и складывание ее на место, а ведь за это время какой-нибудь нахал вполне может занять удобное место на солнечной стороне палубы.

В судовой столовой можно было купить сладости, но это было не так просто и раздражало безмерно. Дело в том, что для этого надо было простоять не меньше трех часов в очереди, пока отовариваются моряки, когда же очередь доходила до нас, чаще всего оказывалось, что все самое вкусное уже разобрали, и нас постигало жестокое разочарование. Запасы сладостей всякий раз истощались как раз тогда, когда морские пехотинцы собирались что-нибудь купить, и снова, словно по приказу некоего таинственного божества, пополнялись каждое утро, чтобы моряки ни в чем не знали отказа. (Ночью члены судовой команды, поклоняющиеся этому странному божеству, продавали нам пятицентовые шоколадки по доллару за штуку и предлагали нам сэндвичи по такой же немилосердной цепе.) Мы часто и подолгу стояли на палубе и глазели на кипящие зеленые буруны за кормой. Иногда, если нос судна слишком глубоко зарывался в воду, корма приподнималась, обнажая отчаянно вращающиеся винты. Создавалось впечатление, что винты чувствовали себя неловко, будучи извлеченными на солнечный свет, и стремились побыстрее вновь спрятаться в прохладной зелено-голубой глубине. Глядя на пенящуюся воду, можно было постепенно погрузиться в приятную апатию. Тебе не нужно было думать или чувствовать, тебе не нужно было даже существовать, просто сливайся с волной и следуй, кипя и пенясь, за кормой судна. И лишь когда нос судна погружался в воду, корма поднималась и бесконечная вода исчезала из поля зрения, голубое небо над головой и жужжание винтов возвращали к реальности.

Нам разрешалось оставаться на палубе ночью, но после того, как мы вышли из-под защиты Барьерного рифа, нам запретили курить. Бывали темные ночи, которые обеспечивали безопасность не хуже, чем Большой Барьерный риф, но бывали и звездные ночи, заливающие весь мир бледным светом и освещающие нас лучше любых судовых огней.

Мы шли проливами, окаймленными зеленой бахромой джунглей, спускающихся к самой воде на окружающих нас слева и справа холмистых островах. Где-то впереди была Новая Гвинея. В бухте мы очутились неожиданно — просто в какой-то момент движение прекратилось, и мы начали выгружаться.

Один из транспортов вроде бы сел на мель в полумиле от нас

по правому борту.

— Теперь капитан, наверное, поедет домой, — предположил Хохотун.

— Да, — согласился Бегун. — Это, наверное, один из тех капитанов, которых выпускает Академия торгового флота, когда им только исполняется двадцать один год.

Но у нас не было времени развивать эту тему дальше. Предстояла высадка. Экипаж, подгоняемый грозными выкриками боцмана, уже спускал шлюпки. Мы вышли на палубу и по команде начали спускаться по висящим на борту сетям вниз. Заполненные шлюпки следовали к берегу.

Мы сразу же поняли, что остров не является необитаемым. Никаких домов не было видно, но на берегу были люди, и кто-то, наверное капитан местного порта, орал в мегафон, руководя выгрузкой. Кроме того, на берегу вытянулась длинная вереница зеленых грузовиков, на которых нам и нашим запасам предстояло ехать в глубь острова. Подошла наша очередь, и мы очутились в шлюпке, плывущей к берегу.

С берега я заметил полузатопленную рыболовную шхуну метрах в пятидесяти от берега и решил ее обследовать. Я подплыл, забрался на борт и пробрался к носу, который поднимался над водой. Находясь примерно в четырех с половиной метрах над поверхностью воды, я ощутил настоятельную потребность пырнуть и немедленно осуществил это желание.

Уже падая, я с ужасом заметил, что в метре под водой располагается коралловый риф. Я напрягся и попытался сделать погружение неглубоким, но, тем не менее, проскреб по кораллу грудью, после чего поспешно поплыл к берегу. Когда я вышел из воды, оказалось, что из нескольких глубоких царапин течет кровь, причем так сильно, что это испугало местного жителя, оказавшегося неподалеку.

Царапины были обработаны йодом — надо полагать, потому, что он больше жжет. И тут я услышал голос за спиной:

— Ты легко отделался, Счастливчик. Надо полагать, тебе не зря дали такое имя. Очень больно?

Я обернулся и увидел отца Честность. Даже не видя его, я уже знал, что это он. Больше ни у кого в морской пехоте не было такого мягкого, звучного голоса. Отец Честность был нашим капелланом, первым и единственным во 2-м батальоне. Он присоединился к нам в Австралии. Я впервые обратил на него внимание на второй день, когда заметил толпу морских пехотинцев, окруживших человека, который был намного старше всех нас. Они взирали на него с таким откровенным уважением,

граничащим с обожанием, а человек был настолько очевидно не одним из нас, что понять, кто он такой, было совсем не трудно.

— Чертовски больно, отец, — даже не подумав о том, что такие слова в беседе со священнослужителем можно расценить как богохульство. Только ненормативная лексика была запрещена в присутствии капеллана. — Но мне действительно повезло. Хорошо, что я не отрезал себе... Хорошо, что порезы не слишком глубокие.

— Да, конечно, слава Богу.

Отцу Честность было около сорока, и он с первого взгляда располагал к себе. Таких людей ирландцы называют «черный кельт». Взглянув на него, я увидел, что за время морского путешествия он довольно сильно загорел, лишившись характерной для жизни в цивилизованных условиях белизны кожи. Кроме того, лишний жир на поясе и бедрах, неизменный признак малоподвижного образа жизни, тоже начал исчезать.

— Как вам нравятся острова, отец?

— О, здесь восхитительно, — сказал он, просветлев лицом. — Я впервые в джунглях. — Он смотрел на меня, как незнакомец, сомневающийся, стоит ли попросить о помощи или лучше обойтись.

— Я могу что-нибудь для вас сделать, отец?

— Возможно. Дело в том, что во всеобщей суматохе обо мне, похоже, забыли.

— Пойдемте с нами, — предложил я. — Мы о вас позаботимся.

— Разве это будет правильно? — Он явно не знал, как поступить.

— Конечно. У нас часто такая неразбериха.

— Ладно, — согласился отец Честность, и мы вместе пошли к грузовику.

Машины тронулись в путь довольно скоро и, преодолев ряд невысоких холмов, доставили нас в середину поля, заросшего травой купай. Здесь был наш новый дом.

Вот как в морской пехоте натаскивают людей: прежде всего их следует содержать в отвратительных условиях, как голодающих зверей, и тогда они будут лучше драться. Когда их переводят с одного места на другое, нельзя жалеть усилий, чтобы сделать этот процесс как можно более болезненным. А перед тем как они прибудут на место назначения, следует послать вперед человека, чтобы из всех возможных мест он выбрал самое неудобное. Питаться они должны в основном холодным кормом, в качестве универсального инструмента использовать мачете, а если командир обладает хотя бы каким-нибудь влиянием в

небесной канцелярии, он позаботится, чтобы постоянно шел дождь.

Все перечисленное было выполнено. Шел проливной дождь, быстро стемнело, и прошел слух, что пищи не будет вообще. Я посмотрел на отца Честность. В надвинутой на глаза каске и завернутый в одеяло, он выглядел очень несчастным и почему-то был похож на ребенка, которому выдали футбольную форму, не научив играть.

— Эй, Плейбой, — окликнул я одного из новых парней-разведчиков, — помоги мне устроить отца Честность.

Плейбой с готовностью согласился, и мы вдвоем принялись вырубать траву мачете. Вскоре в поле купай появилась просека, на которой мы устроили постель из травы. Затем мы срубили в близлежащем кустарнике несколько стоек, вбили их в землю и натянули на них плащ отца Честность. Он заполз под этот импровизированный навес и лег. В травяной постели что-то зашуршало, и отца Честность с нее как ветром сдуло. Опомнившись, он виновато улыбнулся и снова лег. Через мгновение стало совсем темно.

— Вы только не беспокойтесь, отец, — сказал я, — по мы намерены раздобыть что-нибудь пожевать.

— Это было бы неплохо, — признался он. — Где?

— Я расскажу вам на исповеди.

— Ты же знаешь, что нельзя украсть у себя, — рассмеялся отец Честность.

— Конечно, мы просто хотим немного ускорить процесс распределения.

Мы вышли на дорогу и попросились на проезжавший мимо порожний грузовик, возвращавшийся на берег. Проехав километра полтора, мы спрыгнули и стали ждать, когда в глубь острова пойдет очередной грузовик с продуктами. Дождались. Свет его фар казался очень тусклым сквозь пелену дождя. Мы забрались в кузов, когда он притормозил на подъеме, доехали до своего бивуака, выбросили на землю по ящику томатного сока и печеных бобов и спрыгнули следом.

Мы разделили добычу среди друзей, а потом поспешили к навесу отца Честность. Он уже спал. Пришлось будить.

— Мы принесли вам немного еды, отец. — сказал я. — Но может быть, вы лучше сначала ее благословите?

— Что? — испуганно пробормотал он, просыпаясь. — Я не понял. О! — воскликнул он, окончательно проснувшись, и даже в темноте было видно, как отец рад. — О!

Плейбой рассмеялся, я тоже, и мы снова выползли под дождь. Пара бедных католиков, которые провели несколько блаженных

месяцев в Австралии, отправилась спать, не слишком задумываясь о десяти заповедях и в твердой уверенности, что обрели искупление в этом благочестивом подношении ворованного томатного сока и печеных бобов.

* * *

До самого утра я и не думал выяснять, где мы находимся.

— Это остров Достаточно хороший, — сказал кто-то.

— Пусть будет так, — улыбнулся Плейбой. — Будем считать, что он достаточно хорош для морских пехотинцев.

Мы приступили к работе по установке палаток. Лейтенант Большое Кино считал своим долгом нас подгонять и своими бестолковыми приказами здорово мешал.

У нас было три палатки: две для жилья и одна для работы. В третьей мы сложили все имевшееся в нашем распоряжении нехитрое оборудование для составления карт: стол, сделанный из куска клееной фанеры, установленного на опорах, несколько компасов, карандаши, калька и один или два угольника.

Разведка батальона морской пехоты почти не имела картографического оборудования. Мы были обычными разведчиками, то есть глазами и ушами командира батальона, и это все независимо от того, как сильно стремился Большое Кино преувеличить наши задачи.

Мне тоже хотелось стать настоящим разведчиком, но лейтенант Большое Кино и слышать об этом не хотел.

— Ты здесь, чтобы выпускать мою газету, — внушал он.

— Но, лейтенант, скоро мы опять будем в деле, а я даже не знаю, что такое азимут. Я же заблужусь в телефонной будке! Я только хочу научиться обращаться с компасом и читать карту.

— Тебе это не нужно.

— Но, лейтенант, когда начнутся бои, всем будет не до газеты. Что я тогда буду делать?

Лейтенант, который уже два месяца как мой командир, взмахнул рукой, всем своим видом выражая неодобрение. Эту манеру он приобрел еще на Гуадалканале, когда в один прекрасный день сержант Большое Кино оказался единственным из всего разведывательного подразделения, сумевшим объяснить командиру батальона, что такое монтаж аэрофотоснимков. За это он и был произведен в лейтенанты.

Он махнул рукой и объявил:

— Когда начнутся бои, ты будешь вести дневник батальона.

— А это еще что такое?

— Тогда и узнаешь. А теперь давай поговорим о моей газете. Хотелось бы услышать, что ты об этом думаешь. Итак, что нам нужно, чтобы начать?

— Множительный аппарат.

— Понял. Поговори об этом с главным сержантом. Что еще?

— Бумага.

— Снова главный сержант. Что дальше?

— Наборная машина.

— К нему же. Какие еще проблемы?

— Репортеры.

— Это понятно. Я хочу спросить, сколько их понадобиться для батальонной газеты?

— В батальонной газете должны печататься новости. Причем нам придется охватить все роты. Иначе говоря, в каждой роте должен быть человек — ротный репортер.

— О чем, по-твоему, он будет сообщать?

— Обо всем, что происходит в роте. В газете будет информационное сообщение от каждого репортера, штабные новости, уголок поэта, обращение командира и редакционная статья.

— Обращение полковника! Редакционная статья!

— Да, сэр. А я потом все это размещу на странице и украшу ее. Возможно, командиру батальона понравится идея таким образом поддержать моральный дух в войсках.

— Подожди, мой мальчик, не торопись.

Большое Кино встал и нервно заходил взад-вперед по комнате. Затем он снова сел и принял позу роденовского мыслителя.

— Тебе придется быть очень осторожным, Счастливчик. Нельзя сломя голову нестись вперед. Нам надо считаться с командирами рот. Скорее всего, они не захотят, чтобы кто-то посторонний постоянно находился в роте и докладывал обо всем, что происходит. А если и согласятся, то потребуют, чтобы им показывали материалы перед отправкой в газету.

— То есть у нас будут цензоры, сэр?

— Думай, что говоришь. Просто надо проявлять деликатность. Каждый командир роты захочет лично удостовериться, что репортер ничего не исказил. Тут мы должны быть максимально внимательны, понимаешь?

— Да, сэр.

— Думаю, мы поступим следующим образом. Поговори с главным сержантом и выясни, чем он сможет помочь в плане бумаги и оборудования. А я пока прозондирую почву с командирами рот. Завтра у нас будет совещание, там все и

решим. Да... и еще одно. Что касается обращения полковника и редакционной статьи... Забудь об этом.

— Да, сэр.

Я привык выполнять приказы и поговорил с главным сержантом, который велел мне убираться из его палатки ко всем чертям.

Лейтенант Большое Кино, проведя ночь в размышлениях, на следующий день занялся своими непосредственными обязанностями. Батальонная газета была вырезана из общей картины, как нечеткий аэрофотоснимок из общего монтажа.

* * *

Дисциплина становилась все строже — командование закручивало гайки. Как-то раз в воскресенье утром мы играли в волейбол неподалеку от палатки-столовой, которую пока не посетили только командир и майор Кусок Майора — его новый и весьма непопулярный начштаба. Время завтрака уже давно прошло, но это, конечно, не касалось майора Кусок Майора, который мог есть когда ему захочется.

К игре присоединился дежурный капрал. Краем глаза я увидел Кусок Майора, он вышел из жилой палатки и направлялся в нашу сторону. Чуть позже его заметил и дежурный капрал, но сделал вид, что это его не касается. Кто-то сказал ему, что вряд ли разумно заставлять майора ждать. Однако дежурный капрал принадлежал к той особой породе некрасивых людей, которые, вероятно, стараются компенсировать свою ущербность необъяснимо сильными чувствами. И он продолжал как ни в чем не бывало играть в волейбол.

Мы начали нервничать.

Майор ждал.

Всеобщее напряжение взорвалось громогласным воплем майора.

— Главный сержант! — прорычал он, сверля разъяренным взглядом застывшего на месте дежурного капрала. — Глав-ный! Сер-жант!

Из палатки пулей вылетел главный сержант и замер, пытаясь одним взглядом оцепить ситуацию. А Кусок Майора немного согнул ноги, словно чудовищная лягушка, изготовившаяся к прыжку, и рявкнул:

— Арестовать этого человека!

И несчастного капрала увели.

* * *

Мы должны были вскоре покинуть остров. Ходили слухи, что это из-за многочисленных случаев тифа среди бойцов. Но, как позже выяснилось, мы просто находились в месте сбора, чтобы соединиться с другими воинскими соединениями и начать еще одно наступление на японцев. Война была близко. Мы с нетерпением ждали новостей о победах на Тихом океане, об успехах союзников в Северной Африке, поскольку все это приближало уже повернувшееся вспять течение к берегам противника, изнуренного затяжными боями.

За неделю до отъезда наше немногочисленное подразделение увеличилось на одного союзника, на зато какого!

— Там на дороге австралиец, — сказал лейтенант Большое Кино. — Пойди и окажи ему необходимую помощь.

Я отправился к дороге и там встретил Диггера.

Он сидел в джипе, нагруженном так сильно, что помимо воли возникали мысли о ненормальном затворнике, одержимом манией накопительства, или о многократно перегруженных грузовиках, увозящих людей и их имущество из зоны землетрясения. Там были по меньшей мере три походных котелка, весьма потрепанных сосуда, в коих любящие чай австралийцы кипятят сей напиток, флейта, ржавая британская каска и ее новенькая, блестящая американская сестра, керосиновая лампа, бензиновый фонарь, упакованная плитка, банки с чаем и сахаром, мешки с рисом, три или четыре разбухших мешка с разными предметами американской и британской военной формы, юбка из травы и труба, купленная, как мне позже объяснил Диггер, у янки за четырнадцать шиллингов. Кроме того, в джипе находился водитель, сам Диггер и четыре смущенных темнокожих меланезийца, на их могучих плечах висели объемистые тюки.

В общем, представшая перед глазами картина привела меня в полный восторг, и не только меня. Вокруг постепенно собиралась толпа. Морпехи ожидали, как будут развиваться события дальше.

— Эй, вы! — раздраженно крикнул Диггер. — Вы всегда только глазеете, когда надо помогать?

Я стал помогать ему разгружаться. Когда же содержимое джипа переместилось на землю, образовав гору средних размеров, водитель поспешил уехать, обдав нас удушливым облаком пыли.

Диггер был до крайности раздражен. Теперь это видели все, поскольку он сдвинул на затылок свою потрепанную шляпу с широченными полями и явил миру свое маленькое загорелое лицо, покрытое дубленой кожей и украшенное небольшими

черными усиками. Туземцы чувствовали его настроение. Они стояли, опасливо переступая с ноги на ногу, явно не зная, чего ждать от будущего. Мне показалось, что он наслаждается их смущением, потому что на его физиономии неожиданно появилось задумчиво-мечтательное выражение, и он принялся, глядя поверх их головы, любоваться водопадом, омывающим гору Нитулоло. Хотя, быть может, Диггер таким образом пытался скрыть собственное смущение, рассчитывая, что его задумчивый вид произведет на нас впечатление. Наконец он повернулся ко мне и сказал:

— Проводи нас, янки. Где-то здесь второй батальон. Нам нужно туда.

Я отвел его к палатке, в спешке поставленной прямо за нашей. Пока я помогал ему натягивать канаты — палатка была перекошена и провисала, не иначе ее ставил офицер, — из кустов послышалась нечленораздельная речь и подозрительный шум. Там рубили ветки. Это работали туземцы Диггера. Они всю дорогу шли за нами, но настолько бесшумно, что я о них совершенно забыл. Невнятное бормотание оказалось диалектом их племени: все они прибыли с Новой Гвинеи, а если точнее — из района Лаэ, где Диггер до вторжения японцев был плантатором. А ветки предназначались для постройки жилища для них — не могли же туземцы спать в одной палатке с плантатором. И уж тем более он не мог позволить им питаться нашей едой — мешки с рисом были привезены, чтобы они могли готовить еду.

Я помог Диггеру получить у квартирмейстера все необходимое и пообещал вернуться после ужина, чтобы показать ему реку, в которой мы купались.

Вернувшись, я был остановлен в десяти шагах от его палатки резким звуком трубы, нарушившим спокойствие острова. В первый момент он показался Визгливым и даже вульгарным, как свисток паровоза. Прислушавшись, я с некоторым трудом узнал мелодию. Звучала песня «Сегодня в старом городе будет жарко».

Я просунул голову внутрь палатки. В тусклом свете керосиновой лампы, поставленной на землю, я увидел, что он, ссутулившись, сидит на койке и изо всех сил трубит — от прилагаемых усилий его физиономия сильно покраснела. Заметив меня, он на секунду отвлекся от своего занятия, вытер рот рукой и сказал:

— А, привет, янки, садись, — после чего затрубил снова. При этом он постепенно поднимал ногу, причем довольно высоко, а опускал ее в самых трудных местах мелодии. Видимо, процесс опускания ноги помогал ему справиться с замысловатой мелодией. Это, несомненно, была знакомая всем песня «Сегодня в

старом городе будет жарко». Теперь мелодия была вполне узнаваема, правда, подпевать как-то не хотелось.

— Где ты этому научился? — спросил я, когда он закончил.

— Меня научил янки, у которого я купил эту штуку, — ответил он, наклонившись, чтобы зажечь плитку, на которой он кипятил воду для чая. Было уже слишком темно, чтобы идти на реку.

— А ты знаешь, что это американская песня?

— Конечно. Некоторые вещи вы, янки, все-таки умеете делать. Мне очень нравится эта мелодия. Хотя, конечно, она американская. Но американская музыка мне нравится. Послушай, а ты не из Техаса?

— Нет, — ответил я, — из Нью-Джерси.

— А-а-а, — протянул он и занялся приготовлением чая.

— Ты будешь с нами долго?

— Не знаю, — пожал плечами Диггер.

— Как это?

— Секрет, — подмигнул он. — Большой секрет.

— Что ты имеешь в виду?

— Только то, что сказал. Секрет. Я ничего не могу тебе рассказать. Кое-кто в Австралии велел мне сняться с места и присоединиться к морским пехотинцам. И вот я здесь. Хочешь чаю, янки?

— А твои туземцы? — поинтересовался я, не отказавшись от чашки чая.

— Они со мной. Больше тебе ничего не надо знать. В общем, дальше мы пойдем вместе. Я не знаю, к лучшему это или к худшему, но надеюсь, что к лучшему. Должен признаться, янки, мне было бы намного легче, будь я сам по себе. Вам рядом с австралийскими солдатами нечего делать.

— Черта с два нечего. Мы во всем выше австралийцев. Спроси хотя бы япошек, что они думают о противнике. Они считают американских морских пехотинцев самыми крутыми в мире. После нас идут солдаты американской армии, а уж потом австралийцы.

— Кто тебе сказал такую чушь? — хмыкнул он.

— Мне никто не говорил. Я все это прочитал в ваших же чертовых газетах.

— Иди ты! Не будь идиотом. По сравнению с австралийцами вы просто жалкая кучка школьников. — Он насмешливо взглянул и приготовился вновь наполнить большие белые кружки, которые использовал вместо чайных чашек. — Только не пойми меня неправильно, — проговорил он, осторожно наливая в них обжигающую жидкость из котелка. — Я не утверждаю, что вы не

умеете драться. Я только хочу сказать, что вам до нас далеко. — Он поставил котелок и поднял свою кружку. — Ну, давай выпьем за американские вооруженные силы. — Мы сделали по глотку, и он добавил: — И слава богу, что есть на земле австралийские войска.

* * *

Мы снова двинулись в путь через неделю. «Кое-кто в Австралии» дал Диггеру немного времени, чтобы влиться в наши ряды. Уже на следующий день после его прибытия мы получили приказ готовиться.

Мы собрали вещи, взяли оружие и двинулись по грязной дороге к берегу. Гавань была забита десантными кораблями, многие даже были вытащены на берег. Опустив широченные сходни — иначе говоря, разинув пасти, — они ожидали, пока люди и транспортные средства занимали места в их объемистых утробах.

И вот мы опять на корабле. Рампа поднялась — пасть захлопнулась, — и корабль отошел от берега.

2

Дождь.

Дождь стал нашим постоянным спутником. Фипшхафен, расположенный на юго-восточном побережье Новой Гвинеи, принял нас в свои мокрые объятия.

И снова нам пришлось доставать мачете, чтобы отвоевать у пропитанных влагой джунглей жизненное пространство.

Мы проводили время в жалкой праздности, ожидая приказа атаковать.

В кромешной тьме над нашей головой опять свистели бомбы — создавалось впечатление, что они заблудились и не могут найти дорогу к земле. И все это сопровождалось разъяренным водопадом дождя.

Происходящему радовались только туземцы Диггера. Бури часто повторял одну и ту же непонятную мне фразу, по, судя по тому, что за ней следовала улыбка, обнажавшая все его сильные зубы, она означала что-то хорошее. Улыбаясь и притопывая по грязи, он даже иногда вынимал изо рта трубку, с которой никогда не расставался.

Все они — Бури, Кимбу и двое других, чьи имена я не

помню, — были уроженцами Новой Гвинеи. Они этим чрезвычайно гордились и свысока смотрели на других меланезийцев, выходцев с архипелага Бисмарка — группы островов, расположенной в западной части Тихого океана к востоку от Новой Гвинеи. Они особенно презирали «канака из буша», которые жили в глубине острова, за пределами цивилизации, которая существовала только на побережье. Все они говорили на «пиджине» — замысловатом гибриде английского и китайского языков. За две кошмарные недели в Финшхафеие я успел выучить несколько фраз на этом варварском диалекте.

Они рассказали мне о своей жизни до войны — неправдоподобно простой жизни собирателей подножного корма, если, конечно, не считать нескольких месяцев ежегодной занятости (я чуть было не сказал эксплуатации) на плантациях вроде тех, что принадлежали Диггеру. Я сделал попытку поведать им о нашем сложном существовании, но это оказалось почти невозможно. Они понимали только, когда я говорил о постройках, да и то, наверное, лишь потому, что при этом я демонстрировал журнальные картинки.

— Здесь дом одного парня, — говорил я, тыча пальцем в нижний этаж Эмпайр-Стейт-Билдигг. — Здесь другого, третьего. В общем, тут живет много парней.

Они кивали, рассматривая диковинные картинки широко раскрытыми от изумления глазами. Иногда они демонстрировали изумление даже больше, чем следовало. Все они были прирожденными актерами и к тому же безукоризненно вежливыми.

Остановка в Фиишхафепе была недолгой — диен десять или около того. Он скуки нас спасали только периодические бомбежки. Один раз было организовано никому не нужное и совершенно бесполезное патрулирование острова, продолжавшееся больше двух суток. Во время этого патрулирования Бури однажды развлек нас, решив побаловать общество горячим чаем, добыв огонь трением двух деревянных палочек. Об этом способе он узнал из американской книжки, но, как ни старался, не сумел воплотить его в жизнь.

Вернувшись, мы обнаружили лагерь свернутым. Все было готово к отправке.

Ночной дозор, в котором участвовали парни из нашего разведывательного подразделения, был проведен под носом у противника на Новой Британии. Их перевезли через пролив на торпедном катере, а до берега они добрались на резиновой лодке. Информация, которую они привезли, — а досталась им она дорогой ценой, поскольку их катер обстреляла

тяжеловооруженная японская баржа, — была достаточно цепной. Место, где нам предстояло высадиться, почти не защищалось.

В ту ночь нас собрал командир и произнес традиционную напутственную речь, как всегда накануне боя.

Мы собрались на дороге, идущей перпендикулярно берегу. Командир говорил уверенным, но достаточно злым тоном. Он говорил так, словно всей душой ненавидел японцев. Его голос был голосом человека, лично пострадавшего от японцев и имеющего все основания для кровной мести. Он явно хотел показать, что эта война — его личное дело, а вовсе не работа. Его разглагольствования грешили показной горячностью и потому казались фальшивыми. Не было у него повода так лезть из кожи вон.

— Убивайте японцев, — говорил командир. — Я хочу, чтобы вы убивали как можно больше японцев. И еще я хочу, чтобы вы не забывали о своем высоком звании морского пехотинца. Там, куда мы направляемся, будет горячо. Там придется очень экономно расходовать боеприпасы. Поэтому, прежде чем стрелять, убедитесь, что вы видите противника. Не нажимайте на курок, пока не убедитесь, что цель перед вами. А уж потом пролейте кровь врага.

Вот так.

Мы выслушали его проникновенную речь и разошлись по палаткам.

Был канун Рождества.

Отец Честность готовился к всенощной. Под пирамидальным навесом был сооружен алтарь, и мы собрались на торжественное богослужение. Сгорбившись под дождем и стоя на коленях в грязи, мы слушали рассказ о великой жертве Христа. Окруженные уродливыми, отвратительными реалиями современной войны, мы превозносили Божьего Сына.

Святой, святой, святой...

Отец Честность говорил негромко. Он напомнил, что не все из нас доживут до следующего Рождества, и, быть может, кто-то умрет уже сегодня.

Он сказал, что мы должны горько сожалеть о наших грехах и просить у Господа прощения для тех, кто причинил нам зло. Мы должны готовить наши души к смерти.

Мы пели псалмы. Более чем девятнадцать веков назад в Вифлееме родился младенец, которого мы славили промозглой, темной ночью на затерянном в Тихом океане острове. Мы пели ему гимны и знали, что завтра наши руки обагрятся кровью.

Но мы все равно пели: одни — сдержанно, другие — с надеждой, третьи — механически, четвертые — с отчаянной

решимостью, положив одну руку на сердце, а другую — на рукоять штыка. И лишь допев до конца, мы отправились отдыхать.

Утром нам на суда.

Нас накормили восхитительным рождественским ужином. Мы разбрелись по берегу, по просторам, покрытым мелкой вулканической пылью, где виднелся лишь один ряд гигантских, похожих на наши дубы, деревьев. Нам дали индейку с картофелем, хлеб и даже мороженое на десерт. Такое изобилие не могло не порадовать накануне битвы.

Затем доставили рождественскую почту. Мы почувствовали себя царственными особами, которые, закончив банкет, величественным мановением руки призвали менестрелей для увеселения и получили их. И весь остаток дня мы провели, продолжая пикник на черном пляже.

Когда стемнело, мы поднялись на суда, которые должны были отвезти нас в Новую Британию, иными словами, перевезти через пролив Дампьер. Утром нас ожидал бой.

Плавание, начавшееся ночью, было безмолвным. Мы возвращались на войну.

3

На тенистых берегах Новой Британии, где тропический лес спускается по крутым холмам к самой воде, мы, подразделения 1-й дивизии морской пехоты, атаковали и уничтожили японцев. Здесь же мы их пожалели.

Жалеть врага — признак или безумия, или силы. Полагаю, что в нашем случае это был признак силы.

Мы испытали жалость к ним в самом конце, когда они бежали — разбитые, деморализованные, охваченные паникой. Они убегали и уползали от нас, крепких американцев, которые умеют приспосабливаться к любой ситуации, и даже в джунглях чувствуют себя лучше, чем маленькие желтолицые человечки. В этом и заключалась наша сила.

Джунгли и дождь отличали Новую Британию от Гуадалканала. Я понял, что здесь все будет по-другому, в тот самый момент, когда спрыгнул со сходней нашего десантного корабля, за несколько прыжков преодолел узкую полоску черного берега и пырнул из солнечного света в полумрак джунглей. В этот момент произошло сразу два события: пошел дождь, и мы начали преследовать противника.

Когда стих грохот канонады и рев пикирующих самолетов,

наш новый командир батальона устроил командный пункт примерно в пятидесяти метрах от кромки воды. Атакующие роты выдвинулись вперед, чтобы занять позицию по оборонительному рубежу, имевшему форму полумесяца, упирающегося острыми краями в берег. Его максимальная ширина составляла 9,5 километра.

Наше подразделение не должно было двигаться дальше. Нам предстояло остаться на этом самом месте в одиночестве, «оседлав» идущую вдоль берега дорогу, в то время как остальные будут штурмовать мыс Глосестер на северо-западе. Мы образовали своего рода оборонительный клип между нашей дивизией и противником, который, как считали, находится к югу от нас. Следующее к японцам подкрепление обязательно должно пройти мимо нас. Итак, мы оказались в полном одиночестве, без связи с основными силами, поскольку, как объяснил командир, в силу естественных причин здесь не действует радиосвязь.

Отсюда командир ежедневно высылал разведывательные патрули. С характерной для этого человека неутомимой точностью он продолжал отправлять людей на разведку неизвестной территории, начиная с момента высадки. Они уходили и возвращались; туда и обратно, на юг, запад, север и восток, постепенно углубляясь все дальше и дальше, протискиваясь, словно щупальца, органы чувств нашего батальона — военного организма, лежавшего в джунглях и пытающегося отыскать противника.

Во время одной из экспедиций в северном направлении наш патруль наткнулся на тело разведчика из роты E, считавшегося пропавшим без вести. Судя по всему, перед смертью он дрался врукопашную. На его теле было обнаружено двенадцать штыковых ран. Видимо, противники упражнялись в нанесении колющих ударов. А в рот ему они запихнули кусок плоти, срезанный с руки. Товарищи убитого сказали, что там у него была татуировка: эмблема морской пехоты — якорь и глобус. Японцы отрезали ее и затолкали несчастному в рот.

Командир был зол.

И снова происшествие на северном направлении. Там были пойманы и убиты два японских офицера, что-то вынюхивающие возле наших позиций.

Дозор роты E, обследующий территорию перед своими позициями, наткнулся на японцев численностью около взвода, которые спали прямо на земле. Спали! Их застрелили и отошли назад, не дожидаясь подхода другого взвода.

Враг был здесь, совсем рядом. Но каковы были его силы? Если те японцы, которых мы видели, вели патрулирование, их

силы были соизмеримы с нашими. Но поведение противника тоже вызывало недоумение. Они могли позволить себе спать, даже не выставив часовых. Неужели они не знали о нашем присутствии?

Очевидно, именно эти вопросы волновали командира, когда он отправил новый патруль в южном направлении. На юге пока было тихо, и никому не хотелось, чтобы такое положение изменилось слишком уж внезапно, поставив нас между двух огней.

Возглавил патруль лейтенант Коммандо[12], а я вошел в него в качестве рядового разведчика. Коммаидо, присоединившийся к нам в Австралии, был большим, сильным французом, говорившим с легким акцентом. Его язык вполне можно было принять за английский французского канадца. Но Коммапдо был уроженцем Франции. Прозвище он получил за участие в дьепском рейде. Он вдоволь насмотрелся на приемы британских десантников и стремился внедрить их у нас. Но он не принимал во внимание нашей гордости от принадлежности к морской пехоте США и не понимал очевидных различий в рельефе местности Европы и Океании. Поэтому ему часто приходилось разочаровываться, когда его замечания игнорировались.

Наш маршрут проходил по узкой тропинке, которая сначала тянулась вдоль берега, а потом отворачивала от океана в глубь острова, забиралась на холм и затем терялась в джунглях. Она извивалась и кружила, словно ее проложил пьяный туземец.

Нас было десять человек. Мы двигались друг за другом. Первым обычно шел кто-то из разведчиков, но сейчас место во главе нашей небольшой колонны занимал морпех из роты G, а мы пробирались следом. Линия строя, конечно, была не слишком аккуратной, но, тем не менее, достаточно четкой. Мы строго соблюдали дистанцию — около шести метров, — а по знаку ведущего, обычно это была поднятая рука, прятались в джунглях. Мы не курили и шли молча. Все предметы экипировки, которые могли стучать или греметь, были надежно закреплены. Оружие висело на груди — из такого положения его можно было быстрее всего задействовать: открыть огонь или упереть приклад в землю, чтобы предотвратить падение. Мой «томми» был заряжен, но стоял на предохранителе. Одним движением указательного пальца правой руки я мог снять его с предохранителя и нажать на спусковой крючок. Даже те, у кого были только винтовки, были готовы стрелять от бедра, поскольку встречи в джунглях бывают только неожиданными, ведь густота тропического леса ограничивает видимость пятью метрами. Какой смысл целиться на таком расстоянии, даже если на это есть время?

Патруль медленно продвигался по джунглям. Опасаясь

засады, мы шли очень медленно, со скоростью ползущего человека. Я не преувеличиваю. Всякий раз ногу следовало твердо поставить на землю прежде, чем поднять вторую, особую осторожность следовало соблюдать, чтобы избежать ловушек, которые в изобилии ставили японцы. Наши движения чем-то напоминали перемещение по суше крабов. Левая нога, наклон, смотришь, слушаешь, пауза; правая нога, наклон, смотришь, слушаешь, пауза. И так далее.

При такой скорости, чтобы пройти полтора километра и вернуться, потребуется целый день. Если же маршрут проходит по холмам или тропинка слишком часто изгибается, тогда еще больше. В этом патруле нам потребовалось двадцать минут, чтобы пройти один поворот, потому что изгиб находился как раз в начале подъема, а такой рельеф местности идеально подходит для засады. У противника появляется дополнительное преимущество внезапности. Он имеет возможность полить огнем ваши ряды, когда вы еще ничего не видите. Он даже может позволить вам пройти мимо себя и открыть огонь с тыла — ничто так не деморализует, как этот прием.

Мы благополучно миновали поворот, а потом и несколько небольших холмов, покрытых слоем грязи и потому очень скользких, и добрались до возвышенности. Мы находились на том, что можно назвать утесом или крутым обрывом, с которого справа от нас начинался спуск к морю. Если прислушаться, можно было услышать шум прибоя.

Тишина вокруг была такой, что это настораживало. Даже птицы молчали. В джунглях не чувствовалось никакого движения. Такое спокойствие могло быть вызвано нашим приближением или говорило о присутствии где-то рядом противника. Шел сильный дождь.

Пехотинец, возглавляющий строй, был всем хорошо виден. Мы приближались к очередному повороту. Низко пригнувшись, он осмотрелся, затем опустился на живот и прополз вперед, чтобы заглянуть за угол. Рука поднялась вверх.

Мы скрылись в подступивших к тропе кустах.

Рука снова поднялась, показав четыре пальца. Врагов было четверо.

Я лежал в высокой траве и думал, насколько далеко слышно биение моего сердца и может ли этот звук меня выдать. Потом мне пришло *в* голову, что сквозь траву я ничего не вижу. Если рядом пройдет японец, я замечу разве что его ноги, но которым и смогу стрелять. Затем я вспомнил, что парень, шедший впереди меня, спрятался с другой стороны тропы, то есть я должен проявить осторожность, чтобы случайно его не задеть. Я видел,

что тот, кто шел сзади меня, тоже бросился в кусты с противоположной стороны тропы, и понадеялся, что он будет осторожен.

После этого я подумал, что, возможно, нам вообще не придется стрелять. Нас было достаточно много, чтобы справиться с японцами без применения оружия. Быть может, стоит предложить лейтенанту взять их в плен?

Но у Коммандо были другие планы. Оглянувшись, я увидел, что тот подозвал к себе одного из ребят и что-то ему прошептал. Тот, выслушав приказ, пополз к повороту, где находился наш ведущий. Еще через минуту ведущий подполз к Коммандо. и они в течение нескольких минут о чем-то совещались. Потом я увидел незнакомого пехотинца, который приготовил гранатомет.

К нему приблизился Коммандо.

— Около сотни метров слева, — прошептал он.

Пехотинец кивнул.

Ведущий вернулся на свое место.

Он поднял руку.

Гранатометчик выстрелил. Потом еще раз и еще. Всего он выпустил пять гранат — я слышал пять взрывов.

Вернулся ведущий.

Коммандо требовательно взглянул на него.

Ведущий пожал плечами. Его плечи оказались более выразительными, чем данные шепотом объяснения.

— Черт его знает. Может быть. Они спускались с холма. Четверо. Кажется, мы достали первого парня. Сейчас все залегли.

Радость, озарившая было физиономию Коммандо, быстро погасла. Он на мгновение расслабился, после чего на его лице отчетливо отразилось раздражение. Я сделал попытку поймать его взгляд, но он меня игнорировал. Он меня игнорировал с самого начала, и я напомнил себе о необходимости скорректировать ту ложь, которую он наверняка сообщит в штабе по возвращении.

— — Не знаю, лейтенант, — снова повторил ведущий и замер в ожидании.

Физиономия Коммандо снова просветлела.

— Четверо, да? — спросил он, делая акцент на последнее слово. — Прекрасно. — Он наклонился и похлопал гранатометчика по плечу. — Отличная работа, — заявил он, после чего пронзительно взглянул мне прямо в глаза. Я понял, что он прекрасно знал, что я здесь и кто я такой. От меня будут ждать подтверждения обмана.

Неожиданно я почувствовал холод. Дождь проник сквозь одежду и неприятно холодил тело. Застывшая шея ныла, и голова

поворачивалась с трудом. В этот момент парень, занявший место ведущего, поднял руку.

Ведущий заторопился обратно. Потом он вернулся, посовещался с Коммандо и снова занял свое место.

Мои зубы клацнули, когда ведущий открыл огонь, а гранатометчик снова приступил к стрельбе гранатами.

Когда ведущий пробежал мимо меня, пригнувшись и широко расставляя ноги, как жокей, а парень, второй в строю, тоже поспешно отступил, я понял, что происходит.

Лейтенант Коммаидо играл в командос.

Это была техника уличного боя. Один человек стреляет и отходит, прикрываемый вторым, который теперь ведет огонь. Затем он тоже отступает, его прикрывает третий и так далее по линии. Так может продолжаться до бесконечности или, по крайней мере, до тех пор, пока подразделение не отойдет на нужные позиции или пока не кончатся патроны. Нет никакого сомнения: тактика превосходна для городов, но возможности ее применения в джунглях ограничены примерно так же, как возможности использования лыжников в Сахаре, так же и наш способ ползания по джунглям неприменим. Такая тактика годится при недостаточном количестве или полном отсутствии укрытий. Но уж чего-чего, а укрытий в тропических лесах Новой Британии более чем достаточно.

Мое презрение к неуместной тактике лейтенанта Коммандо только усилилось, когда последний пехотинец передо мной выстрелил и побежал мимо меня.

— Чертова задница! — прошипел он. — Выродок! Сукин сын! — Он посмотрел на меня и добавил: — У Коммаидо все мозги в заднице. Он на них сидит.

Увидев, что это не кто иной, как доблестный Сувенир, я почувствовал, что мое собственное мнение о лейтенанте поддержано не менее как Верховным судом.

Еще мгновение — и Сувенир оказался позади. Теперь настала моя очередь стрелять. Я встал на колено и открыл огонь от бедра, крепко ухватившись за ружейный ремень левой рукой, чтобы дуло не задиралось вверх. Я быстро опустошил магазин — достаточно большой — тридцать патронов — в направлении противника и повернулся, чтобы бежать, мимоходом ощутив жгучую ненависть к безумной трескотне, разорвавшей тишину джунглей и сделавшей мою позицию такой уязвимой.

Фарс продолжался до тех самых пор, пока мы не достигли следующего поворота. Там мы перевели дух, огляделись и отправились домой, на этот раз передвигаясь значительно быстрее, поскольку уже не опасались засады.

Дождь прекратился, но в тропическом лесу продолжало течь и капать. Уже на подходе к рубежу мы обогнули очередной поворот, и я увидел над головой идущего впереди парня гигантского паука, перебирающегося по своей паутине. Это было одно из кошмарных черно-красных созданий с мохнатыми лапами, растущими прямо из туловища размером с кулак взрослого мужчины. Через долю секунды монстр сорвался с паутины и шлепнулся прямо на каску моего товарища. Тот в ужасе сорвал каску с головы и отбросил далеко в сторону. Я подождал, пока он отыщет каску в кустах, на всякий случай прикрывая его, после чего мы догнали остальных. Лейтенант Коммандо и я вместе проследовали на командный пункт. В это время из штабной палатки выходил другой патруль. Судя по тому, что у ребят на груди висели автоматы, им предстоял бой. Командир был в палатке. Он беседовал с молодым офицером из роты F. Увидев нас, он заметно расслабился, а когда увидел, как Коммандо показал ему четыре пальца, даже улыбнулся. Даже в царившем здесь полумраке было видно, как торжествующе блеснули глаза Коммандо.

— Ничего страшного, — закончил он беседу с молодым офицером и сразу же повернулся к нам. — Рад вас видеть, лейтенант. Мы слышали стрельбу. Что это было?

— Мы наткнулись на огневую точку противника в районе Тауали, сэр, — ответил Коммандо. Он вытащил из кармана карту, развернул ее и показал то место, где мы стреляли в белый свет. — Их было четверо, сэр. Мы их уничтожили огнем из стрелкового оружия и гранатометами.

— Нашли что-нибудь интересное на телах? — с надеждой спросил командир.

— Нет, сэр, — не задумываясь ответил Коммандо. — У нас не было времени их обыскивать. У нас создалось впечатление, что это была небольшая часть основных сил.

Я удивленно взглянул на Коммандо из угла палатки, куда предусмотрительно удалился. Я смотрел на него и не верил своим глазам. Он был самим воплощением уверенности.

Командир пожал плечами:

— Это плохо. У нас почти нет информации. Ну что ж, — сказал он и засмеялся, — если нет, будем ее добывать. В конце концов, наша главная задача — убивать маленьких желтолицых ублюдков, и вы ее отлично выполнили. Если я не ошибся в своих прогнозах, что-то назревает, причем в самое ближайшее время. Ну ладно, — снова улыбнулся он, продемонстрировав ровные белые зубы, — вы можете быть свободны, лейтенант. Хорошая работа.

Коммандо поблагодарил командира и ушел. Наблюдая за ним, я вдруг понял: он вовсе не лжец. Он действительно верит в то, что говорит. К тому же он совсем не трус: я видел, как он вел себя в минуту опасности. Все-таки Сувенир прав: Коммандо сидит на своих мозгах.

К счастью, доклад Коммандо никак не повлиял на действия командира. Мы все так же пребывали в состоянии двадцатичетырехчасовой готовности, ожидая возможного нападения японцев.

Но в ту ночь они так и не появились.

Утром я снова отправился в патруль, получивший приказ обследовать дорогу к Тауали. На этот раз его возглавил лейтенант Мята. В этом патруле я занял место ведущего, принадлежащее мне по праву, но это, должно быть, только потому, что я единственный был на этой территории раньше. Лейтенант Мята был человеком достаточно разумным, чтобы этим воспользоваться.

Мята был очень способным, очень спокойным и очень разумным офицером. Он был произведен в офицеры из рядовых, как и многие наши командиры, но не возгордился и не задрал нос. Очевидным признаком апломба перед лицом столь явной удачи — мы считали подобное несомненной благосклонностью богов — было то, что Мята продолжал жевать жвачку.

Лига чистого белья — так мы именовали офицерский корпус — не смогла заставить его переменить манеры, и даже сейчас, когда он объяснял нам поставленную задачу, его челюсти совершали медленные, размеренные движения.

— Не забудь, Счастливчик, показать мне место, где вы наткнулись вчера на противника.

Шел дождь, дорога была более скользкой, чем обычно, поэтому мы продвигались вперед еще медленнее, чем накануне. Справа от нас периодически доносился шум океана, но все остальное заглушал дождь.

Мне передали по цепочке, что лейтенант хочет переговорить, и я направился к нему. Он сидел на корточках на обочине дороги, расстелив на коленях карту. Одной рукой он придерживал над головой плащ, чтобы карта не промокла. Он махнул мне рукой, и я опустился на корточки рядом с ним.

— Где мы находимся? — тихо спросил он.

Простой вопрос поверг меня в состояние шока. Я настолько сосредоточился на благополучном прохождении многочисленных поворотов, что совсем перестал следить за направлением. Я беспокоился о противнике, а не о направлении движения.

Я затаил дыхание и прислушался к шуму океана.

Если я смогу его услышать справа от себя, значит, мы движемся в нужном направлении. Если же я не услышу его вообще или услышу слева, значит, мы заблудились.

Я его услышал. Океан находился именно там, где ему полагалось быть, — справа от нас. Я взглянул на масштаб карты, произвел в уме нехитрые подсчеты и уверенно указал в точку на карте.

Мята кивнул, а я внимательно вгляделся в его лицо. Это было сосредоточенное лицо умного, думающего человека. Я увидел, как его покинуло выражение озабоченности, вновь ритмично задвигались челюсти, и понял, что все в порядке. Поэтому я молча подчинился, когда он жестом предложил мне вернуться на место.

Дождь прекратился. Пока мы шли на плато, где имело место фиаско под руководством лейтенанта Коммандо, умытые джунгли поблескивали зеленой листвой. Мы вышли на открытый участок — небольшую поляну, покрытую низкой травой, расположенную под дырой в крыше джунглей. За ней начинался невысокий холм, противоположный склон которого находился уже за пресловутым поворотом.

На склоне этого холма мы заметили отчетливый след ноги. Нога определенно была босой, широкой и имела сильные, цепкие пальцы. Это была нога туземца, который шел нам навстречу. Заметив след, я забеспокоился и немедленно доложил о находке Мяте. Я хотел обсудить с ним план дальнейших действий, но он нервно отмахнулся и сказал:

— Пошли скорее. Надо забраться на холм. Здесь неудачное место.

Мы пошли вперед, но двигались очень медленно — было слишком скользко.

Думая о странном следе, я почти забыл сказать Мяте, где произошло наше столкновение с противником. Вспомнив, я поспешил исправить ошибку.

— Лейтенант, именно здесь мы вчера на них наткнулись.

Мята выглядел очень сосредоточенным.

— А как насчет следа?

Он задумчиво посмотрел на меня, сдвинув каску на затылок. Его челюсти двигались ритмично и без остановок, словно из куска резинки, находившегося у него во рту, он черпал свою силу.

— Что? — повторил он больше самому себе, чем мне. — Ну, есть он там, ну и что? Что мы можем с этим поделать? — Он пожал плечами и задумчиво уставился на меня. — Мы лучше остановимся здесь на некоторое время. Ты будешь охранять подходы с тыла.

— Но, лейтенант, — запротестовал я, стараясь скрыть обиду, — я должен быть впереди.

— Выполняй, — спокойно ответствовал он, — делай то, что я сказал. Подходы с тыла.

Я подчинился, чувствуя себя разжалованным.

Сделав несколько шагов вниз с гребня холма, я укрылся в кустах. Сломав несколько веток неизвестных мне растений, загораживавших обзор, я устроился со всеми удобствами. С моего места было видно весь склон, так что я не опасался ничего проглядеть, только все равно чувствовал обиду за то, что меня незаслуженно сослали в тыл. Дождь прекратился, и было очень тихо. Сюда не доносился даже шум океана.

Хрустнула ветка.

Я поднял глаза и увидел четырех человек. Они приближались ко мне.

Они держались вместе.

В первый момент я подумал, что это наши, и удивился, зачем Кусок Майора послал сюда еще один патруль и с какой это радости сам решил его возглавить, — идущий впереди человек довольно крупной комплекции был очень похож на майора.

Они подошли ближе, я увидел напоминающие шляпки грибов каски и понял, что это японцы. Я залег и сказал себе: «Подожди, подпусти их поближе, и тогда ты сможешь их снять одной очередью».

Они спускались вниз по склону. Крупный мужчина, возглавлявший эту маленькую группу, шел наклонив голову и размахивая руками. В тот момент, когда я нажал на спуск, он мне показался еще более похожим на Кусок Майора. Одно лицо!

Они упали.

Первым упал большой человек. Он схватился за винтовку, пронзительно вскрикнул, повернулся и упал. Остальные тоже упали и тоже кричали, причем один покатился вниз по склону холма. Он долго катился, пока не скрылся из вида навсегда.

Я опустошил большой магазин, рассчитанный на тридцать патронов. У меня остался еще один — на двадцать выстрелов. Я не имел ни малейшего представления, есть ли в окрестностях еще японцы и сколько их, поэтому покинул свою позицию и побежал назад. Первый из наших парней, которого я увидел, уставился на меня, широко открыв глаза и разинув рот.

— Оставайся здесь, — велел я, не снижая скорости, и поспешил к лейтенанту Мяте.

Он не выглядел взволнованным, хотя, конечно, пальба в тылу не могла оставить его равнодушным.

— Что там? — спросил он.

— Японский патруль, — выдохнул я. — Их было четверо. Кажется, я достал всех. Но может быть, там есть и другие.

Ждать мне не пришлось. В ту же секунду лейтенант Мята уже был на ногах, жестом приказал еще одному пехотинцу следовать за нами, а остальным оставаться на месте и быть начеку.

— Пошли, — сказал он.

Мы вернулись на гребень холма.

— Кого-нибудь видел? — спросил я у парня, который остался за меня.

Тот покачал головой. В этот момент я услышал стоны.

— Посмотреть, что там? — спросил я у лейтенанта.

Тот кивнул.

Я опустился на живот и медленно пополз по склону. Большой человек лежал на том же месте, где упал. Он был мертв. Немного поодаль лежали еще двое. Когда я приблизился, один из них начал уползать.

Раздался оглушительный грохот. Пехотинец, который остался с лейтенантом Мятой, дорвался до своего «томми». Звук оказался таким громким, что у меня заложило уши. Решив, что приближаются новые силы противника, я поспешил обратно.

— Он почти достал тебя! — воскликнул парень, сжимавший в руках автомат.

— Кто меня достал?

— Японец, которого я накормил свинцом. Он целился в тебя.

Парень был в полном восторге. Когда он говорил, его густые усы шевелились. Я взглянул на лейтенанта. Он был явно обеспокоен. Безопасность вверенных ему людей в такой ситуации не могла не вызывать тревогу. Я подумал: «У этого парня не все дома. Здесь единственный живой японец — это раненый». Но тем не менее, я поблагодарил его за спасение своей драгоценной особы.

Со склона раздался стон, а потом звук какого-то движения.

Совместными усилиями мы прикончили раненого. Я стрелял короткими очередями, чтобы не остаться без боеприпасов.

— Послушайте, — обратился к нам лейтенант Мята. — Вы двое останетесь здесь. Я думаю, надо прорываться в сторону океана. Нет смысла возвращаться тем же путем, что мы сюда пришли. Японцы могут быть за нами. Как только увидите последнего из наших, идите следом.

Воцарилась тишина. Мне показалось, что внизу, у подножия холма, и было какое-то движение, но вскоре все стихло.

Зато наш патруль, двигающийся через кустарник в сторону моря, производил шума больше, чем надо. Очевидно, люди так стремились оказаться подальше от проклятого плато, что не

утруждали себя сохранением тишины. Они топали и крушили все на своем пути, как стадо мастодонтов. Увидев замыкающего, мы пошли за ним, но напоследок мой товарищ полил склон длинной автоматной очередью. Миновав заросли кустарника, мы поняли причину шума. Спуск к морю был выстлан гладкими, скользкими камнями.

Весь путь до кромки воды — а это было все-таки несколько сотен метров — мы скользили, съезжали и скатывались по склону, каждую секунду ожидая нападения противника. Это было не слишком удачное фланговое движение, но оно вывело нас из окружения, в котором мы оказались. Или думали, что оказались.

Мы долго шли по усыпанному галькой берегу, перебирались через залитые водой участки, взбирались на выдающиеся в серое море темные скалы, а когда Мята решил, что мы уже достаточно оторвались, вернулись на тропу.

Отдав все необходимые распоряжения, Мята подошел ко мне:

— Тебе следует вернуться на рубеж и рассказать все, что там произошло.

Я повернулся, чтобы идти выполнять приказ, но лейтенант неожиданно положил мне руку на плечо.

— Да, я забыл тебе сказать. — Он улыбнулся и махнул рукой в том направлении, откуда мы пришли. — Хорошая работа.

Он все-таки неплохой парень!

До наших позиций было уже недалеко, и я ходко потрусил по джунглям, стремясь как можно скорее сообщить грандиозные новости и насладиться восхищением товарищей. Неожиданно мне преградил дорогу часовой одного из наших передовых постов. Я довольно ухмыльнулся и показал ему четыре пальца.

— Блеск, — восхитился часовой. — Кто завалил их, Счастливчик?

— Я, — сообщил я, пробегая мимо, и был чрезвычайно польщен, услышав за спиной потрясенное: «Да иди ты!»

К тому времени, как я добрался до позиций, во мне заговорила совесть, я вспомнил о необходимости всегда говорить правду и только правду и стал показывать встречным только три пальца. На командном пункте я тоже рассказал правду.

Командир немедленно отправил еще одну патрульную группу, приказав ей отыскать людей лейтенанта Мяты и совместно обследовать территорию на юге. Необходимость этого была совершенно очевидной.

Они ничего не нашли. Были обнаружены только тела трех японских солдат и следы того, что четвертый, раненый японец, скрылся. Возможно, их было даже пятеро, но пятый тоже скрылся. Даже след босой ноги туземца смыло дождем. Мы так и не смогли

объяснить, каким образом вражеский патруль оказался позади нас. А мрачная дымка тропического леса окутала инцидент покровом тайны.

* * *

Той ночью произошла стычка с японцами.

Они высыпали из кромешного мрака джунглей, материализовались из ночной темноты. Их атака показалась даже более яростной, чем была на самом деле, поскольку сопровождалась оглушительным воем ветра, набравшим силу урагана.

Лично я в стычке не участвовал. В действительности в ней приняло участие лишь двадцать или тридцать морских пехотинцев. Японцы появились на участке роты G, которая занимала центральный возвышенный участок периметра. Эта высота окружала командный пункт со всех сторон, кроме западной, так что наш штаб находился в центре подковы, возвышающейся над ней.

Атака началась в два часа ночи, когда поднялся яростный ветер, быстро набравший силу урагана. Тьма была наполнена его пронзительным воем, треском ломающихся веток, грохотом падающих деревьев. Океан тоже бесновался, ревел и стонал, словно от боли.

И непрерывно шел дождь.

В такую ночь обо всем происходящем вокруг можно судить только по доносящимся снаружи звукам. Вокруг нас пули не летали, отчего можно было сделать вывод, что мы пока не терпим поражение. Но ничего больше мы не знали.

Я сидел в штабной палатке в полной боевой готовности, ожидая инструкций или от командира, или от майора Кусок Майора. При мне была термическая граната, которую я должен был применить для уничтожения всех наших бумаг, если японцам удастся прорваться. Другим разведчикам тоже нашли дело — они подносили боеприпасы, а я все время оставался в палатке, лишь изредка с любопытством выглядывая в темноту.

Я слышал, как чертыхались подносчики, пробегая мимо штабной палатки с тяжелыми ящиками на плечах. Иногда я их даже успевал увидеть в мгновенной вспышке света, вызванной взрывом снаряда или молнией. Некоторые даже всхлипывали от горькой, бессильной злобы, в который раз съезжая со скользкого склона вниз и терпя сильные удары от своей нелегкой поклажи. Потом им приходилось вслепую разыскивать отлетевшие при

падении в сторону ящики, ползая во мраке и грязи, и только после этого делать очередную попытку подъема.

Но нашим печным трубам нужны были боеприпасы. Насколько я мог судить по звукам, они расширяли сектор обстрела и делали обрушивающийся на него град мин более плотным. Когда они открыли огонь, адский грохот заглушил даже шум непогоды. Пулеметный огонь прекратился. Не было слышно даже отдельных очередей. Иногда были слышны винтовочные выстрелы. Но ничего не свидетельствовало о приближении противника. Судя по всему, сражение постепенно умирало. Вовсю рявкали минометы. Мы победили.

При первых проблесках рассвета мы узнали, что произошло.

Один японский офицер и четверо солдат были взяты в плен и доставлены на командный пункт. От них мы узнали, что третья рота 53-го полка 17-й японской дивизии была отделена от главных сил на мысе Глосестер и отправлена к Тауали, чтобы противостоять нашей высадке.

Их маршрут пролегал через непроходимые джунгли, поэтому они задержались и прибыли на место только через двое суток после окончания нашей высадки. Тем не менее они атаковали. Имея в своем распоряжении около сотни солдат, они напали на нас — 1200 морских пехотинцев — и были полностью уничтожены за исключением нескольких пленных.

Кем они были: храбрецами или фанатиками? На что они надеялись? Неужели японский командир действительно верил, что рота японских солдат сможет одолеть батальон американских морских пехотинцев, опытных, отлично обученных, уверенных в себе, лучше вооруженных и занимающих гораздо более выгодную позицию? Почему он не увел своих людей домой? Не потому ли это, что ни один японский солдат не может потерпеть поражение, тем самым «потеряв лицо»?

Ни на один из этих вопросов я ответить не могу. Мне остается только удивляться этому таинственному, такому жестокому и в то же время такому отважному противнику. Бессмысленный фанатизм японцев достиг такой степени, что поневоле вызывал уважение и заставлял собрать все силы, чтобы защитить себя.

Мы потеряли убитыми шесть человек, среди которых был смелый и немного бесшабашный Оби, которого я в последний раз видел в Мельбурне таким пьяным, что он не мог стоять на ногах. Его огневая точка была захвачена при первой, внезапной атаке японцев. Оби участвовал в контратаке и помогал выбить противника, посылая в него попеременно то пули, то проклятия, напирал до тех пор, пока не получил пулю в лоб. Да упокоится он

с миром.

Трупы японцев лежали грудами на склоне холма и в окопе, где было установлен пулемет Оби. Между ними шныряли охотники за сувенирами, срывая с рубашек знаки различия, снимая с пальцев кольца и вытаскивая пистолеты. Здесь же находился и Сувенир. Он методично переходил от тела к телу, вооруженный щипцами и специальным фонариком, используемым в зубоврачебной практике, который он предусмотрительно купил в Австралии.

Я молча стоял среди мертвых тел. Они лежали искалеченные, бесполезные, как сломанные куклы. Жизненные силы их покинули. Пуля или осколок снаряда проделал дыру в хрупком сосуде, и его содержимое вытекло. В этих бесформенных комках плоти некогда жило таинство Вселенной, дававшее каждому неповторимую индивидуальность, выражавшуюся по-разному: у одного это была особая походка, у другого — манера говорить, у третьего — способность выражать свои мысли на бумаге или наносить штрихи на холст. Они были такими разными и вдруг стали ничем, кучками ничего. Как смогла пуля или крохотный осколок нанести такой сокрушительный, непоправимый вред? Неужели эта великая, таинственная сила, жившая в каждом, я имею в виду душу, вытекает на землю вместе с кровью? Нет, такого быть не может. Она где-то есть, я это точно знаю. Ведь этот желто-красный кусок плоти, на который я сейчас смотрю, еще недавно был человеком, и то, что вдохнуло в него жизненную энергию, Слово, которое дало «эфирной пустоте» жизнь и имя, слово от высшего Слова, все это не может быть уничтожено клочком горячего металла. Таинство Вселенной покинуло его, не стоит говорить, что загадка разгадана и тайны больше нет — она поменяла местонахождение. То, что заставляло раздуваться эти ноздри, давало крепость руке, из которой теперь так сильно течет кровь, продолжает существовать и, как и прежде, обладает силой заставить ноздри раздуваться, а кулаки сжиматься. Даже если это ушло, никто не может сказать, что оно не вернется. Даже если вы скажете, что это еще никогда не возвращалось, вы не сможете с уверенностью утверждать, что так будет и впредь. Это богохульство — утверждать, что осколок разогретого металла может оборвать жизнь, так же как и было бы слишком самоуверенно заявлять, что, поскольку жизнь исчезла, она уничтожена. Стоя среди груд мертвых тел, я понял, нет, я почувствовал, что смерть — это звук, который мы издаем, чтобы выразить то, что пока не знаем.

Я пошел вниз с холма. По пути я остановился, чтобы поболтать с Диггером. Он и его туземцы устроились на высотке за

позициями роты Е. Он был рад меня видеть. Он приготовил чай и сказал, что потрясен происшедшим.

— Где, черт возьми, вы, янки, научились так стрелять? — спросил он. — Надо же, какую канонаду устроили прошлой ночью! Должен признаться, вы заставили меня слегка понервничать. — Он выпил чай несколькими большими глотками и взглянул на меня. — Морпехи чертовски хороши. Почти так же хороши, как мы.

Это было посвящение в рыцари.

* * *

К утру шторм утих. Он потопил два танка-амфибии и один из десантных кораблей. Но никто не осмеливался выйти на небольшой черный пляж, потому что появилась новая опасность. На рассвете хорошо замаскированное вражеское орудие начало попытки достать нас с холмов. Установить его местонахождение никак не удавалось. Все снаряды пока падали в воду недалеко от берега.

* * *

Теперь я каждый день возглавлял патрули. Я так и не знал, что такое азимут, да и карту мог читать с большим трудом, и все-таки продолжал возглавлять патрульные группы, используя в качестве ориентира шум старого доброго друга — океана.

Мы обследовали территорию в основном к северу от наших позиций в направлении так называемого Дорф-Пойнт. Там вдоль пляжей выстроились обломки барж, которые противник использовал для подвоза запасов, пока ночные перевозки не были прекращены нашими торпедными катерами, базировавшимися на Новой Гвинее. Во время одного из таких патрулирований под командованием долговязого и очень добродушного лейтенанта Свояка из роты Е мы набрели на группу хижин туземцев. Внутри было пусто и пахло рыбой — этот запах у нас ассоциировался с японцами. Я тронул рукой постель, на которой явно недавно лежали, — она была еще теплой. Был повод забеспокоиться.

— Она еще теплая, — сказал я лейтенанту Свояку. — Они только что ушли.

Он кивнул и приказал начать преследование.

Но уже было поздно, и мы не могли удаляться от позиций, не рискуя оказаться застигнутыми ночью в джунглях. Поэтому мы

повернули на юг.

Я отошел назад к лейтенанту, а мое место во главе колонны занял другой парень. И почти сразу же он поднял руку.

Мы бросились врассыпную. Но раньше, чем мы успели очистить дорогу, на ней появился, материализовавшись из придорожных кустов, молодой и сильный туземец. Он откозырял нам — в британском стиле — и застыл, ухмыляясь, словно радовался нашим неуклюжим попыткам избежать обнаружения.

Свояк и я смотрели на него в немом изумлении. Лейтенант жестом предложил ему подойти, но туземец остался на месте. Мне показалось, что у него имеются причины не двигаться. Похоже, он кого-то или что-то охранял.

— Давайте я подойду к нему, лейтенант, — предложил я. — Может быть, он говорит на пиджине?

— Попробуй, — согласился тот.

Его нежелание двигаться с места стало понятным, когда я подошел ближе. Позади него находилась самая жалкая, самая страдающая, самая неосторожная и самая улыбчивая процессия из всех, что мне когда-либо доводилось видеть. Их было человек пятьдесят. Одни ковыляли на самодельных костылях, другие, самые старые, путешествовали на носилках, третьи шли, поддерживаемые более крепкими представителями этого странного коллектива. Длительный голод превратил их всех — и старых, и малых — в обтянутые кожей скелеты, причем ребра у них выпирали так сильно, что грозили при резком движении проткнуть кожу. Их тела были покрыты язвами, наверняка причинявшими сильную боль, и, тем не менее, все темные, изможденные лица улыбались. Мне еще не приходилось видеть таких светлых, радостных улыбок.

Их предводитель тоже улыбнулся, и в тот момент, наполненный доверием и красотой, мне захотелось его обнять.

— Ты говоришь на пиджине?

— О да, масса. Я — бой из миссии.

Я приветливо помахал рукой людям, прислушивавшимся к нашей беседе.

— Откуда эти люди?

— Варемо. Они живут в Варемо. — И он показал в сторону деревни, которая находилась километрах в двух на севере. — Они все хорошие люди. И не любят японцев.

— Ты говоришь мне правду?

— О да, масса, чистую правду. Я же из миссии. — Он взглянул на меня очень торжественно. — Отец Маре всегда говорил нам, что мы должны говорить правду, всегда и всем.

Мне показалось, что он хочет мне что-то рассказать, и я

ободряюще кивнул ему.

— Два Рождества назад пришли японцы. Канака не любит японцев. Японцы убивали. Канака прятался в буше. — Туземец махнул рукой в сторону гор, лежащих в глубине острова. — Пришли японцы. Они поймали отца Маре. Ему отрезали голову. Канака прятался. Пришли вы. Японцы убежали. Канака ушел из буша. Деревня Варемо принадлежит ему. Ясно?

Я кивнул и предложил ему последовать за мной к лейтенанту. В двух словах я объяснил лейтенанту Свояку, что произошло. Туземцы хотели вернуться в свою деревню. Можем ли мы им это позволить? Лейтенант пожал плечами:

— Возможно, следует взять их с собой.

— Но у нас мало еды — самим едва хватит. Свояк снял каску и почесал затылок.

— Тогда пусть идут в деревню, — сказал он, — а этот парень останется у нас в качестве заложника. Он может поговорить с Диггером. В конце концов, это его прямая обязанность — реорганизовать туземцев.

Значит, вот в чем заключается миссия Диггера, подумал я, а вслух сказал:

— А как насчет японцев, которых мы преследуем? Они могут расправиться с этими людьми, причем без особого труда. — Я повернулся к туземцу и спросил его о японцах.

Он улыбнулся.

— Японцы бегут, — гордо заявил он.

Я взглянул на лейтенанта. Он тоже улыбался.

— Послушай, — сказал я туземцу. — Янки номер один, — я показал на лейтенанта, — говорит, что канака пойдет домой в Варемо, а ты пойдешь с нами, хорошо?

— Да, масса, — снова улыбнулся он. Туземец — его звали Коло — вернулся к своим людям. Когда они пошли мимо, наши парни стали предлагать им сигареты, сладости, пайки — все, что было в карманах. Туземцы принимали дары с благодарностью и достоинством.

Я заметил, что среди них есть и дети, их маленькие животики вздулись от голода. Один из старцев на носилках посасывал побег бамбука и помахал им в качестве приветствия.

Они ушли — скрылись за поворотом, а Коло остался рядом со мной. По безмолвной команде лейтенанта патрульная группа возобновила движение.

Мы вышли к ручью, пересекавшему тропу в том месте, где она сворачивала к морю. Он был шириной три метра и меньше полуметра глубиной. Я закатал штанины, готовясь форсировать эту неожиданную водную преграду, когда чьи-то сильные руки

подхватили меня, и через мгновение я оказался, совершенно сухим, на противоположном берегу. Я возмущенно обернулся и встретился взглядом с улыбающимся Коло.

Когда мы вернулись к рубежу, Коло отвели к Диггеру. На следующий день Диггер в сопровождении своих парней и хорошо вооруженной группы морских пехотинцев отправился в Варемо. Стало ясно, с какой целью он был прикомандирован к морским пехотинцам. Англичане или их собратья австралийцы не были намерены оставлять этот источник дешевой рабочей силы без внимания и подвергать его разрушающему влиянию американской щедрости.

Но Коло остался с нами, точнее — со мной.

Он стал моим ординарцем.

Он спал на земле под моим гамаком и даже стирал мою одежду.

Через два дня после нашей случайной встречи в джунглях я сидел на берегу, а туземец стирал мою форму. Это был один из ставших большой редкостью солнечных дней.

Джунгли активно испаряли влагу, и мокрая одежда тоже заметно парила. В такие дни мы стирали нашу одежду в океане — сначала окупали ее в воду, потом долго терли об абразивный песок, потом тщательно полоскали и отжимали. Когда она слегка подсыхала, мы надевали ее, надеясь, что тепло тела успеет окончательно ее высушить раньше, чем пойдет дождь.

Берег был заполнен голыми морскими пехотинцами, стирающими свою одежду в океане. Их тела казались неправдоподобно белыми — повышенная влажность, дождь и отсутствие солнца убили все краски. На их фоне блестящее тело Коло было угольно-черным. На него посматривали с откровенным любопытством. Когда он принес мне одежду, я услышал издевательский смех, а потом восторженный вопль Хохотуна:

— Вы только посмотрите на него! Это же наша тыловая крыса! Ублюдок обзавелся денщиком!

Сегодня же напишу его старику, чтобы тот срочно выслал сюда его голубую форму!

Когда парни с Хохотуном во главе, смеясь, окружили меня, Коло ретировался.

Я не успел достойно ответить, потому что небо стремительно потемнело, и снова хлынул дождь. По пляжу пронесся вопль отчаяния. Несколько минут мы сидели без движения — прятаться было негде, потом Здоровяк взмолился.

— Пристрелите меня, — завопил он. — Я так больше не могу жить. Кто-нибудь, пожалуйста, проявите милосердие и пустите мне пулю в лоб. — Он с тоской взглянул на океан, покрывшийся

рябью от дождевых капель, потом перевел взгляд на небо, затянутое свинцово-серыми тучами, и в конце концов на свою так и не успевшую высохнуть одежду. — Черт знает что! — воскликнул он. — Чего еще ждать! — И побежал к воде.

Утром я лишился своего верного денщика. Офицеры забрали Коло, чтобы он прислуживал в офицерской столовой, которую они устроили для себя чуть ли не в тот самый день, когда мы обосновались на позициях. Офицерская столовая — самый верный барометр военных успехов. Пока офицеры теснятся с солдатами, существует вероятность поражения. Но как только появляется офицерская столовая, независимо от того, как она выглядит, — это может быть палатка, или навес, натянутый на колышках, или даже просто воображаемая линия, на пересечение которой наложено табу, — это событие знаменует восстановление касты, а значит, и победа за нами.

В то утро наши 81-миллиметровые минометы обстреливали участок в восточном направлении, где, как считалось, располагалась японская артиллерия. Их орудия замолчали навсегда.

Наши патрули пробирались все дальше и дальше во всех направлениях.

Во время одной из вылазок на восток лейтенант Рысак — тот самый, кто поместил Хохотуна, Цыпленка и меня на корабельную гауптвахту «Манооры», — убил японца.

На юге лейтенант Коммандо наткнулся на огневую точку противника с 20-миллиметровым пулеметом и убил двоих.

Лейтенант Либерал, наш новый офицер, убил двоих японцев, тоже во время южного патруля.

Следуя в этом же направлении, патрульная группа из пятидесяти морских пехотинцев уничтожила вражескую засаду из трех человек. Это событие произошло после того, как глупые япошки прокричали по-английски: «Идите сюда, пожалуйста».

Опять же, продвигаясь на юг к Car-Cary, наша патрульная группа миновала плато, где я вел огонь по японцам, и нам пришлось задержать дыхание, проходя мимо зловонной кучи, в которую за несколько дней превратились их тела.

Спустя несколько дней лейтенант Рысак встретил патруль главных сил, закрепившихся на мысе Глосестер, и привел к нашему рубежу.

Забравшись далеко на юг, лейтенант Коммандо был ранен японским снайпером во время перестрелки между его патрулем и силами противника, куда входили японские солдаты и туземцы, вооруженные луками и стрелами. Он был слишком тяжел, и его невозможно было нести обратно тот десяток километров, что

отделял место перестрелки от наших позиций. На командный пункт был отправлен посыльный. Когда он прибыл, я как раз находился в палатке.

Мы отправились выручать Коммандо на транспортере-амфибии. Нас сопровождали косяки макрели, а над скалами слева от нас гомонили птицы, разыскивающие падаль. На обратном пути Коммандо лежал в носовой части палубы с перекошенным от боли лицом. Возможно, у Коммандо все мозги в заднице, но в бою он никогда не прятался. Спустя четверо суток, то есть 11 января, мы покинули полиции и пошли по тянущейся вдоль берега дороге к мысу Глосестер. Мы шли мимо обломков барж, через пустые деревни к участку берега, усыпанному гладкими белыми камнями, к аэродрому, к теплу и комфорту дивизии.

4

Ночь я провел в туземной хижине, защищенный от вездесущего дождя, и если и не совсем сухой, то, во всяком случае, не насквозь промокший.

Проснувшись, я обнаружил, что почти ничего не вижу. Что-то случилось с глазами. Создавалось впечатление, что веки слиплись. Я выбрался на свет и сквозь узкие щелочки, оставшиеся от нормальных глаз, стал пытаться разглядеть товарищей. Они как раз просыпались и поднимались с влажной земли. Закутанные в длинные перемазанные плащи, они чем-то напоминали киношных джиннов, обретающих форму из предутреннего тумана. Мне удалось понять, что они тычут в мою сторону пальцами и смеются.

Я ощупал свое лицо. Губы распухли и слегка вывернулись, как у женщин Убанги, веки и нос тоже. Кто-то принес зеркало, из которого на меня глянула уродливая горгулья.

Через полчаса моя физиономия обрела прежние черты, я приписал случившееся укусу какого-то местного жучка и выбросил это из головы.

Но сейчас я вспоминаю прошлое и понимаю, что этот случай был очередной вехой в войне с джунглями.

В результате нашей миссии на побережье японцы были разбиты. И хотя самое жестокое сражение — взятие 7-м полком высоты 660 — оставалось еще впереди, нашим главным противником теперь стали джунгли, а не японцы.

Моя распухшая физиономия стала символом таинственной отравы этого ужасного острова. Упомянув о тайне, я хотел

подчеркнуть, что остров Новая Британия был воплощением зла, темного, тайного зла, врагом рода человеческого. Этот враг растворял, разлагал, отравлял людей, высасывал из них жизненные силы. Остров наступал на человека густым туманом, зеленой плесенью и непрекращающимися ливнями. Он опутывал человека корнями, лозами и лианами, отравлял зелеными насекомыми, зловонными жуками и корой деревьев. Джунгли не допускали солнце к человеческим лицам, а радость — к их сердцам. Дождь, слякоть и плесень проникали в каждую живую клетку, раздирали ее на части, словно маленькие ручки, обрывающие лепестки с цветка. Они растворяли человека, превращая его в неразумную, бесформенную, аморфную субстанцию, словно разбухшая от воды, размягченная земля, в которую так легко провалиться при ходьбе. Слоп-чмок, слоп-чмок — так звучало ничто, монотонная песнь джунглей, где все распадается и растекается по велению главного владыки — дождя.

Этому ничто не могло противостоять. Письмо из дома следовало прочитать, перечитать и выучить наизусть, потому что оно разваливалось на части меньше чем через неделю. Пары носков хватало на такой же срок, а пачка сигарет становилась влажной и потому бесполезной, если ее не выкурить в течение дня. Лезвия карманного ножа ржавели и слипались намертво, а часы отмеривали срок собственного упадка. Дождь превращал пищу в омерзительный мусор, карандаши разбухали и крошились, авторучки засорялись, а их перья ломались. Стволы винтовок покрывались голубоватым налетом плесени, их приходилось носить дулом вниз, чтобы защитить от всепроникающего дождя. В магазинах слипались пули, и пулеметчикам приходилось ежедневно выполнять дополнительную работу — вынимать, смазывать и снова вставлять патроны в лепты, чтобы предотвратить выход из строя пулемета в самый ответственный момент. Короче говоря, все без исключения было или влажным, или насквозь промокшим, отвратительно вязким на ощупь и распространяло вокруг зловонные испарения, столь характерные для джунглей, — этот особый запах разложения, исходящий от растительности, столь роскошной и буйной, произрастающей так пышно, что, кажется, ее распад начинается уже в момент рождения.

Через день или два после марша из Тауали в Саг-Саг мы попали в зеленый ад. И здесь началась наша битва с тропическим лесом. Люди оказались вовлечены в конфликт куда более опасный, чем наша война с японцами, — здесь велась борьба за существование.

Война была забыта. Кто мог постичь это? Кому было дело до этого? В сутках всего двадцать четыре часа, и наши мозги были заняты куда более важными вещами: как, к примеру, обеспечить хотя бы относительную сухость, раздобыть нормальной еды или — о, это было бы чудесно! — чашечку горячего кофе. Кстати, пара чистых сухих штанов тоже оказалась бы весьма кстати. Часы тянулись бесконечной чередой в ожидании того момента, когда перед наступлением темноты можно будет зажечь небольшой костер, использовав для этой цели бережно завернутые в презерватив спички, вскипятить воду, подкрепиться, выкурить по сигарете и приготовиться к встрече холодной черной ночи.

* * *

После того как мы перешли на новые позиции, ничем не запоминающиеся, кроме разве что симпатичного маленького ручейка, протекавшего мимо командного пункта батальона, я постепенно начал привыкать к ужасной мысли, что буду мокрым ровно столько времени, сколько мы проведем на Новой Британии. Причем мне предстоит быть мокрым не только из-за дождя — все-таки он иногда прекращался, а временами был не слишком сильным, и кроны вековых деревьев, образовавшие некую крышу в джунглях, его задерживали. Дело в том, что у меня вновь обострилось заболевание, которое началось из-за тяжелых условий на Гуадалканале, прекратилось в период цивилизованной жизни в Австралии и снова дало о себе знать на достаточно хорошем острове, Новой Гвинее и Новой Британии. Позже я узнал, что врачи именуют его энурез. Оно проявляется в том, что, когда ты спишь, мочевой пузырь самопроизвольно опорожняется.

Опять возобновилось патрулирование. Японцы бежали, и наши патрули были заняты уничтожением небольших групп противника по мере их встречи в джунглях.

Небольшие, непродолжительные стычки стали обычными. То один патруль уничтожил полдюжины японцев, иногда потеряв одного-двух человек убитыми или ранеными, то другой внезапно атаковал большую группу деморализованных желтолицых вояк, то третий сталкивался с засадой. Велась война на истощение. Живую силу противника, говоря словами Здоровяка, перемалывали.

Дни, наполненные беспокойством из-за постоянного патрулирования, сменялись тревожными ночами: а вдруг под покровом темноты в лагерь проберутся вражеские лазутчики?

Нельзя сказать, что японцы были очень уж кровожадными и жили только жаждой убивать. Скорее вызывал опасение полный развал их войск, в результате которого некоторые из них действительно могли попытаться ночью, минуя часовых, проникнуть в наш лагерь в поисках пищ, а уж будучи обнаруженными, они, конечно, стали бы отчаянно защищать свою жизнь.

Именно мысль о крадущихся в наш стаи японцах не давала покоя во время ночных дозоров.

Как-то раз ночью был сильный ураган. Я только что сменился с караула, заполз в гамак и устроился поудобнее. Я долго лежал в полудреме, держа в расслабленной руке нож, когда неожиданно услышал вскрик всего лишь метрах в двух от себя.

Я повернулся посмотреть, что случилось, и при вспышке молнии увидел две темные фигуры, наскакивающие друг на друга. Наступившая темнота скрыла от меня поле сражения.

На командном пункте воцарилось смятение. Отовсюду доносились крики, возбужденные голоса. Я услышал, как кто-то завопил очень знакомым голосом:

— Японцы на КП!

— Японец только что чуть не убил меня! — раздался другой голос, тоже принадлежавший кому-то из наших.

Я вылез из гамака, зажал нож в левой руке, правой потянулся за мачете и заорал:

— Сюда! Я их вижу!

В воцарившейся на мгновение тишине отчетливо прозвучал бас майора:

— Не стрелять! Работайте штыками!

Вслед за этим *я* услышал совершенно отчетливое клацанье — майор взвел курок.

Конечно, ну как же, не стреляйте, парни, работайте штыками, вы можете задеть своего майора.

Я вернулся в конку и прислушивался к бестолковым приказам, раздававшимся вокруг меня, вою ветра и шуму дождя, пока не заснул.

Утром выяснилось, что два человека из нашего подразделения, которые заявили, что вступили в схватку с японцами, попросту сцепились друг с другом. Они недолюбливали друг друга и до сего печального инцидента, а уж после него дело у них дошло до кровной вражды.

В конце концов мы выбрались из зловонного болота и перешли на новые позиции. Для этого нам пришлось некоторое время тащиться по реке жидкого и липкого месива, когда-то бывшей просто грязной дорогой. По пути к нам присоединился Красноречивый, с которым мы познакомились, когда он вел

Цыпленка и меня с гауптвахты. Теперь он двигался с тыловым эшелоном батальона на мыс Глосестер.

Он рассказал, как некий первый сержант во время пребывания на Достаточно хорошем острове застрелился. Однажды ночью он впал в глубокую депрессию, сунул в рот дуло своего «томми» и нажал на спусковой крючок. Довольно грязный конец, ничего не скажешь. По нашему мнению, если уж хочешь свести счеты с жизнью, следует выбрать что-нибудь более пристойное.

Теперь мы находились в резерве. Нам больше не надо было оборонять свой участок фронта. Зато у нас появился новый враг — деревья.

Наши новые позиции находились в глухом лесу, над которым изрядно потрудился человек, причем результат получился настолько мрачным и зловещим, что поневоле вызывал мысли о страшных сказках или лунных пейзажах, как их изображают в фантастических романах. Японцы именно в этом месте оказали ожесточенное сопротивление, которое было подавлено огневым валом. Наши снаряды почти уничтожили этот лес, ранее состоявший из гигантских деревьев. Одни из них лежали поваленные, бесстыдно выставив напоказ хитросплетение корней, другие остались стоять, но лишились — кто верхушки и теперь остались без головы, кто — части веток, рук, а кто и всей кроны. Некоторые были расщеплены, словно ударом молнии, многие наклонились, ослабленные осколками снарядов, и так и стояли, обливаясь слезами дождя.

И днем и ночью этот гротескный, причудливый лес оглашался треском падающих деревьев.

Под ними было задавлено насмерть не менее двадцати пяти человек. Примерно такое же количество получило ранения. А когда мы начали подрывать опасно наклонившиеся деревья динамитом, то быстро доказали, что плохое лечение может быть не менее вредным, чем сама болезнь. Парень спокойно сидел возле своей койки, когда на него свалился огромный сук и убил его наповал.

Мы все его жалели, поскольку он был невольным батальонным клоуном. Он был самым толстым человеком, который принадлежал к Корпусу Морской пехоты. Причем, строго говоря, Крикун не был жирным. Он был плотного телосложения, имел тяжелый подбородок и круглое лицо, обтянутое младенчески гладкой кожей розоватого оттенка, что обычно характерно для очень тучных людей. У жирного человека нет шансов. Их не было и у Крикуна, хотя он был довольно разумным человеком. Над ним постоянно насмехались, а когда он пытался

спастись от нападок, приняв высокомерный, многозначительный вид, подтрунивания и издевки всегда обращали его глупое тщеславие против него же.

Он любил делать вид, что выше всех банальностей и опасностей нашей повседневной жизни, и часто повторял: «Что касается меня, я буду в роте В. Я буду здесь, когда вы уйдете, и буду здесь, когда вы не вернетесь. В следующей войне, парни, всегда будут недосчитываться двух человек: меня и военного полицейского, которого отправят за мной».

Итак, сук оборвал жизнь, а с ней и веселое хвастовство этого человека. Мы жалели Крикуна, неприкаянного, нелепого человека. И другие погибли под падающими деревьями, которые мы прозвали «поставщиками вдов», но никто не впадал из-за этого в уныние. Однако в случае с Крикуном это казалось несправедливым. Крикун так и не стал настоящим военным, он был больше зрителем, чем участником событий. И умер он нелепой смертью, как если бы из него вышиб мозги мяч, запущенный битой игрока. Он спокойно сидел возле своей койки, а упавший сук лишил его жизни.

* * *

Последний патруль был долгим — он растянулся на несколько дней. Нас отвезли на катере довольно далеко от позиций в местечко, называемое Олд-Натамо, и там высадили на берег.

Очевидно, здесь было много японцев, но теперь все их огневые точки и прочие оборонительные сооружения были пусты. Те же японцы, которых мы обнаружили, находились в тяжелейшем состоянии. Нескольких человек мы нашли ползущими куда глаза глядят — идти, а тем более бежать, они уже не могли. Здесь были больные гангреной — у них чернели и гнили ноги, дистрофики, находившиеся в крайней степени истощения, — они весили не более сорока килограммов. У них не было оружия, еды и одежды, но остался боевой дух, который не смогли сломить лишения. Именно высочайший боевой дух — неотъемлемая черта японской императорской армии — делал плохо обученного и слабо вооруженного солдата опаснейшим противником.

Они все сопротивлялись, и все были уничтожены, в основном заколоты штыками, поскольку стрелять во время патрулирования неизвестной территории опасно. Один из этих бедолаг был задушен одним из самых молодых наших солдат — Дитем. Этот

юноша, хотя и успел побывать на Гуадалканале, вряд ли знал, что такое бритва. Спустя два месяца он сошел с ума.

Так мы зачищали территорию.

Ночью разразилась настоящая буря, и мы все спрятались под навесом, который построили на берегу.

Утром все еще шел дождь, но море приготовило для нас сюрприз. Ливень вызвал небольшой потоп в лесу «поставщиков вдов», где находились наши товарищи, и водой унесло все их продовольственные запасы на берег, где они тотчас же были проглочены морем. Как видно, позабавившись, море выплюнуло их обратно прямо нам под ноги.

Мы не отказались от этих нежданных даров Нептуна. Несмотря на то что еда была в общем-то обычной — яичный порошок, сухое молоко, сахар, кофе, сушеные овощи, — мы восприняли этот восхитительный подарок с восторгом. Ведь эти продукты можно было не экономить! Знали ли мы, что это потерянные запасы наших товарищей? Нет, но, если бы знали, наслаждались бы еще больше. Мы ели блины и целый день пили кофе. Все равно патрулирование было прервано непогодой.

На следующий день во время короткого патруля в глубь острова я нашел японский сундук и с помощью Плейбоя приволок его. Он был прочным и надежным и потому очень подходил для моих пожитков и книг, которые мне теперь регулярно присылал отец из Штатов. У меня уже было около дюжины книг, среди которых словарь и справочник-ежегодник, — два труда, обеспечившие мне репутацию батальонного мудреца. Ко мне и моим умным книгам обращались для разрешения споров, что я и делал с уверенностью, такой же необоснованной, как и тщеславие, возникшее в результате. Пока велись боевые действия, мои книги путешествовали вместе с остальным имуществом роты. Когда же нас вывели с передовой, я потребовал свою собственность и вот теперь присмотрел для нее удобное вместилище.

* * *

Катера подошли за нами на следующий день, и мы поднялись на борт. Плейбой и я несли сундук. По возвращении мы обнаружили, что батальон поспешно снимается с места и без всякого сожаления прощается с мрачным лесом. Нас перевели в лагерь, где уже стояли палатки, обещавшие жизнь в относительном комфорте.

Последнее привлекло к нам незваных гостей. Как-то утром

Артист потянулся за своим плащом, лежавшим под койкой, и обнаружил там свернувшуюся кольцами змею. Не растерявшись, он схватил карабин и застрелил нахальную тварь. Она была длиной около трех метров и обладала очень красивой головкой, правда, эта красота была зловещая, смертельно опасная.

Спустя неделю после прибытия на новое место лейтенант Большое Кино явился в нашу палатку и реквизировал мой сундук. Он забрал его в мое отсутствие. Я бы с большим удовольствием употребил термин «украл», но я уже сказал «реквизировал», что по сути то же воровство — правда, официальное. Скрипнув зубами, я отправился к Большому Кино.

Состязание обещало быть неравным, да и, собственно говоря, это не могло стать состязанием вообще. Я могу только приводить доводы, а он — командовать, и в итоге я все равно лишусь своего сундука, из которого Большое Кино вытряхнул мои книги и личные вещи на койку. Но я не мог отказать себе в желании посмотреть этому ворюге в глаза.

— Артист сказал, что у вас мой сундук, — дипломатично начал я.

Он презрительно взглянул на меня, но не снизошел до ответа.

— Вы его просто одолжили, сэр?

— Я его взял. Он необходим в штабе для упаковки имущества роты.

Я проследил за его взглядом и увидел открытый сундук. Там действительно лежали некоторые картографические инструменты, но большая его часть была занята одеждой Большого Кино. Меня охватила холодная ярость. Плющ украл сигары, Кусок Майора — бекон из батальонного рациона, офицеры увели Коло, а теперь еще Большое Кино стащил мой сундук.

— Ты же знаешь, солдатам не разрешено иметь подобные вещи в палатках, — сказал он.

Что я мог ответить? Ярость, завладевшая всем моим существом, рвалась на свободу, она жаждала насилия, крови, смерти. Нечеловеческим усилием воли мне удалось удержать демона в себе, хотя я не осмеливался открыть рот, опасаясь, что он все-таки вырвется на свободу. Я мог только молча взирать на лейтенанта Большое Кино, уверенный, что мое лицо скажет все за меня. Я бы мог его убить, но я ушел.

Уже на следующий день все картографические инструменты были выброшены, а сундук переместился в палатку Большого Кино. В нем разместились его личные вещи, и еще осталось место. Сундук стал моей навязчивой идеей. Злость и обида

клокотали во мне, требовали возмездия. Я начал поговаривать об убийстве Большого Кино, хотя все-таки проявлял осторожность и держал рот на замке в присутствии его приближенных, которые непременно передали бы мои слова ему.

Конечно, все это были разговоры, пустая болтовня, но, тем не менее, они произвели желаемый эффект. Через несколько дней Большое Кино отправил в нашу палатку эмиссара. Он сделал мудрый выбор, поскольку его представителем стал Игрок — парень, которого очень любили в батальоне. В покере ему не было равных, и за игровым столом он не знал компромиссов, но во всем остальном был приятным человеком и как никто другой умел сглаживать острые углы.

— Чем вы тут занимаетесь, парни? Что это за глупые разговоры об убийстве Большого Кино? — Он весело рассмеялся, давая понять, что воспринимает это как веселую шутку.

Я тоже улыбнулся:

— Кто тебе сказал?

— Кто мне сказал? Не смеши! Ты, можно сказать, написал большими буквами у себя на спине «Я достану Большое Кино». — Тут его тон изменился, он заговорил серьезно: — Послушай, парень, ты не должен так говорить. Кто-нибудь воспримет твои слова всерьез, и ты заработаешь кучу неприятностей на свою задницу. Да и Большое Кино с ума сходит.

— Надеюсь, он действительно воспринимает меня всерьез. Небось трясется, поджав хвост, ублюдок.

— Что ты против него имеешь?

— Он спер мой сундук.

— Что значит спер? Откуда ты его взял?

— Я понимаю, что ты хочешь сказать, — разозлился я. — Но только японцы имели право прийти и забрать его в любое время. А Большое Кино его нагло спер, и тут нет смысла подбирать более литературные выражения, суть все равно не изменится. Он сказал, что берет его для имущества роты, а сам сложил туда свою одежду.

Даже получив предупреждение, что Большое Кино может принять меры, я оставался при своем, иначе говоря, уперся, как осел. Когда пришла смена, я в компании Плейбоя и Красноречивого отправился поплавать в водопаде.

Водопад находился в верхнем течении узкой речушки, протекавшей мимо наших палаток. Вода падала с высоты более четырех метров в глубокую, пенящуюся заводь. На полтора метра выше в скале имелось небольшое углубление. Туда можно было забраться и пырнуть в водопад.

В тот момент, когда ты попадаешь в стремительный поток, он

подхватывает тебя, вынуждая камнем падать в холодную заводь, вниз, в темноту, в неизвестность. Когда же нехватка воздуха становится ощутимой, тебя охватывает страх, ноги вроде бы самопроизвольно начинают работать, отталкиваться от воды и прерывают падение, после чего ты устремляешься вверх, где много хорошего чистого воздуха, наполненного грохотом падающей воды и восторженными воплями друзей.

Но в тот день — это был мой первый опыт — я почувствовал внезапную боль в нижней части живота. Возможно, это была небольшая грыжа или же свидетельство о ее грядущем появлении — не знаю. Я уже испытывал нечто подобное на Гуадалканале, когда таскал тяжелые ящики со снарядами. Но там на лечение рассчитывать не приходилось, и я боль игнорировал. Теперь все повторилось, и я почувствовал беспокойство.

Мне было тяжело идти. Ощущение, прямо скажем, не из приятных. Плейбой помог мне добраться до палатки. Мне не хотелось обращаться в госпиталь, поскольку я надеялся, что боль пройдет. Но, войдя в палатку, я передумал.

— Тебя хочет видеть Большое Кино, — сказал дожидавшийся Артист. — Тебя отправляют на камбуз. Что случилось?

— Кажется, у меня грыжа.

— Так чего ты радуешься?

— Тому, что не отправлюсь на камбуз, конечно. Не могу дождаться, чтобы сообщить это радостное известие Большому Кино.

Я поковылял в лазарет. Доктор осмотрел меня и начал что-то писать на голубом листке бумаги.

— Что это, сэр? — полюбопытствовал я.

— Приказ об эвакуации. Здесь мы ничего не можем для вас сделать. Я эвакуирую вас на Новую Гвинею. Вам надлежит быть здесь с вещами утром.

Надо же, сколько радости может доставить клочок бумаги голубого цвета! Подольше бы так воевать! Наверное, в тот момент я выглядел как заключенный, ожидавший жестокой кары и неожиданно получивший помилование. И я направился в палатку Большого Кино в весьма приподнятом настроении.

— Вы хотели меня видеть, сэр? — почтительно спросил я. В тот момент я был олицетворенное уважение!

— Да! — Его физиономия была суровой, а голос непреклонным. — Вам надлежит явиться на камбуз.

— Но, сэр, — столь же уважительно продолжил я. — Я думал, что персонал разведывательного подразделения освобождается от выполнения обязанностей на камбузе. Вы мне обещали именно это, когда предложили перейти к вам.

Он не смотрел мне в глаза, но, судя по голосу, был преисполнен желанием отомстить любой ценой.

— Больше нет. Отныне и впредь мы должны будем посылать своего человека на камбуз. Вы будете там работать в течение марта.

— Да, сэр, но только в марте там придется находиться кому-нибудь другому.

— Что? — Он, наконец, взглянул мне прямо в глаза, его физиономия перекосилась от гнева.

— Я не могу выполнить ваш приказ, сэр. Меня отправляют в госпиталь.

Он был так откровенно разочарован, что это не могло не порадовать меня. Я почувствовал себя отомщенным и, торжествуя, ждал, когда ему надоест испепелять меня взглядом и я смогу уйти.

— Какого черта? Что значит отправляешься в госпиталь? Кто сказал? Пока еще я твой командир!

— Доктор в лазарете сказал, что у меня грыжа, — сообщил я, благоразумно придержав информацию об эвакуации на Новую Гвинею. Зачем зря рисковать? Скажу батальонному главному сержанту завтра утром. — Возможно, даже придется делать операцию, — добавил я, чтобы укрепить свои позиции.

Теперь лейтенант Большое Кино взирал на меня с неприкрытой ненавистью, даже несколько странной для человека, привыкшего командовать.

— Ладно, — процедил он сквозь зубы, — я позабочусь о тебе, когда вернешься. Ты, наверное, думаешь, что победил меня, но тут ты глубоко ошибаешься. Ты все равно будешь работать на камбузе как миленький.

— Да, сэр, — ответил я. — Разрешите идти?

* * *

Большой транспортный самолет с ревом прокатился по взлетно-посадочной полосе на мысе Глосестер и взмыл в воздух. Я удобно устроился на отведенном мне месте. Выровнявшись, самолет пролетел над проливом Дампьер и взял курс на Новую Гвинею. Оказалось, что джунгли сверху похожи на плотную брюссельскую капусту.

Самолет приземлился на мысе Судест. Там нас ожидала санитарная машина, окрашенная в цвет хаки. Теперь мы находились в руках армии. Мы направлялись в один из армейских стационарных госпиталей. Он располагался в сборном доме из

гофрированного железа. Медсестра — первая женщина, которую я увидел за последние шесть месяцев, — выдала мне пижаму и проводила к койке. Два или три дня пролетели незаметно и показались мне сущей идиллией — лежишь, читаешь, трижды в день получаешь горячую пищу, вечером идешь в кино. Потом настал день осмотра. Врачи решили, что такую операцию не стоит делать в тропиках, но почему-то не приняли решение отправить меня в Австралию или даже в Штаты.

Невозможно выразить, как я был разочарован. Неужели придется возвращаться на мыс Глосестер к мстительному Большому Кино, простившись с прекрасной библиотекой, обнаруженной мной в госпитале? Но ночью ситуация опять изменилась. Меня свалил жесточайший приступ малярии.

Даже в самых страшных ночных кошмарах я не предвидел такого ужасного избавления. Я был далеко от камбуза и мстительного лейтенанта, но зато все мое тело жгло огнем, и я бы предпочел год провести на камбузе и иметь десяток командиров вроде Большого Кино, но только выбраться из адского пламени, в которое угодил. Нет, конечно, я не стремился ни к чему подобному. Я только хотел, чтобы меня отпустила яростная лихорадка, безостановочно сотрясавшая тело. И если бы смерть оказалась единственным избавлением, что ж, пусть будет смерть.

Лежать на спине было пыткой, лежать на животе — мукой. Я ложился на бок, но даже в такой позе у меня болело все тело, словно попало в гигантские тиски. Я не мог есть, я не мог даже пить воду. Питание мне вводили внутривенно — не знаю, как долго, должно быть, дней десять или две недели. И все время я лежал и жарился, запекался — не тлел, не горел, а именно пекся, словно находился в огромной печи, чувствуя, как желание жить внутри меня тоже сморщивается, усыхает. У меня не было никаких желаний — единственное, чего хотелось, это чтобы хотя бы крошечная капелька пота прорвалась наружу из моей ссохшейся, съежившейся плоти. Я слышал, что вокруг меня есть живые люди, они ходят, разговаривают и даже смеются. Я чувствовал моментальную прохладу, когда смоченная в спирте вата касалась моей руки — благословенное напоминание о мире, который я покинул. Я ничего не воспринимал, лежа на своей койке кучкой изболевшейся плоти и костей, съеживаясь в малярийной печи.

А потом жар спал, и из всех пор целительным бальзамом хлынул пот. Он принес моему телу божественную прохладу, и я бы мог смеяться, петь, кричать, если бы на это хватило сил. Я чувствовал себя неблагодарным, лежа на койке, омываемый прохладной жидкостью, вытекавшей из моего тела, и не

выказывая никаких знаков благодарности. Но я был слишком слаб, чтобы двигаться. Так атеист не имеет Бога в душе, чтобы поблагодарить за оказанную милость. И к тому же я настолько удалился от собственной религии, что не чувствовал порыва изливать благодарность в душе.

Пот промочил постель насквозь, и медсестра, обрадовавшись, что я пошел на поправку, перевела меня на другую койку — ее я промочил тоже. А потом начался озноб. Меня колотила дрожь, и на меня навалили целую груду одеял. Температура воздуха была больше сорока градусов, но меня укрыли так, словно она была раза в четыре ниже, и я все равно мерз. Но после пережитого мне уже все было нипочем. Я даже стал смеяться и часто повторял дрожащими губами: «Мне хорошо, Господи, как мне хорошо!»

В конце концов и это прошло, но потребовалось несколько дней, прежде чем я смог сесть и начать есть. Запах пищи вызывал у меня тошноту, питался я поначалу только чаем и ломтиками подсушенного хлеба. Потребовалось довольно много времени, прежде чем я стал есть с остальными пациентами, причем, насколько я помню, первую ложку пищи я поднес ко рту с большим трудом.

А еще через неделю я покинул госпиталь. Назад на эвакуационный пункт на берегу, а оттуда на мыс Глосестер, причем пролив Дампьер мы пересекали ночью на переоборудованной рыболовной шхуне. И как назло, разразился сильнейший шторм. Черная вода вздымалась над бортами судна и обрушивалась на палубу, где мы мирно спали. Пришлось спасаться в каюте, где мы и провели ночь, страдая от морской болезни.

Не буду утверждать, что по возвращении на мыс Глосестер мне улыбнулась судьба, но, по крайней мере, она не проявила излишней жестокости. Выяснилось, что большая часть моего батальона ведет патрулирование где-то в отдаленной части острова, и лейтенант Большое Кино в том числе. Главный сержант, увидев, что я очень слаб, проявил милосердие и назначил меня на легкую работу — в столовую старшего сержантского состава. Итак, мой полет на Новую Гвинею оказался, по существу, бесполезным. Грыжа осталась со мной, и я получил только небольшую отсрочку благодаря приступу малярии. Вернувшись в часть, я тут же попал на камбуз, тем самым доказав, что рядовой, рассчитывающий на свои силы, просто самоуверенный идиот.

Собственно говоря, в этом назначении не было ничего слишком неприятного. Следовало только соблюдать чистоту в палатке, смахивать крошки с деревянных столов и накрывать

столы для горстки людей, свободных от патрулирования. Пищу им доставляли с главного камбуза в оловянных контейнерах.

Через несколько дней батальон вернулся, и я был счастлив услышать, что Большое Кино перевели, а нашим новом командиром стал Либерал — довольно молодой второй лейтенант, отличившийся тем, что в первом патрулировании убил японца.

Несколько следующих недель были бедны на события. Чтобы скоротать время, мы начали играть в бридж. Мы играли увлеченно, прерываясь только на сон и еду или получение денежного довольствия. Мы превратились в завзятых игроков и оставались ими до наступления кульминационного момента, когда Игрок, раздосадованный неумелыми действиями партнера, вскочил, в сердцах разорвал единственную колоду карт и разбросал свечи.

Мы не слишком расстроились, поскольку все знали, что на следующий день нам предстоит перебазирование. Знал об этом и Игрок, поэтому и позволил себе лишнее.

Нам на смену прибыло армейское подразделение. Мы насмешливо следили, как первым делом на берег были выгружены плиты и чемоданы, а уж потом все остальное. Затем мы поднялись на борт десантного корабля — теперь уже хорошо знакомого троянского коня — и навсегда покинули проклятый остров.

Как поется в песне, мы не знали, куда идем, но мы шли.

Глава 7. Жертва

1

По пути с Новой Британии мы вели глупые, исполненные несбыточных надежд разговоры о возвращении домой. Мы рассуждали о том, что нашу потрепанную дивизию не могут снова послать в бой без длительного отдыха в Австралии, Новой Зеландии или даже в Штатах. Мы отмечали степень истощения наших тел, количество покрытыми язвами и гниющих рук и ног и доказывали друг другу, что нас по любым критериям просто обязаны признать негодными к боевым действиям. Мы строили воздушные замки, гадая, какое место занимает наша дивизия в хитросплетении правительственных планов перегруппировки войск, и очень рассчитывали на тот бесспорный факт, что уже отслужили требуемые два года за границей.

Наши сердца пели в предвкушении скорого возвращения домой, а в результате мы получили Павуву.

— Что это? — удивленно спросил Красноречивый, впервые услышав название острова от лейтенанта Либерала. — Что это за название такое? Может быть, какая-то хитрая тропическая болезнь?

— Павуву, — усмехнулся лейтенант, — пишется с заглавной буквы П.

— Ну и что?

— Так называется место, куда мы направляемся. Остров Павуву — один из Соломоновых островов.

— Поэтическое название, — мечтательно протянул Плейбой.

— Наверняка, — хмыкнул Красноречивый. — Ветер едва колышет ветви пальм, белые пляжи млеют под нежными поцелуями голубого моря, полуобнаженные островитянки выходят встречать нас с песнями и экзотическими цветами...

— Эй, вы там, где обнаженные красотки?

— Это будет волшебная сказка, — продолжил Красноречивый, проигнорировав реплику. — И когда же мы туда прибудем, лейтенант?

— Завтра.

* * *

Мы вышли на берег под проливным дождем, поднялись по

скользкому, покрытому жидкой грязью склону в рощу кокосовых пальм и стали осматриваться. Это был наш новый дом. На Павуву нас доставили для отдыха. Здесь мы должны были подготовиться к участию в следующей военной кампании.

Вместо уже привычных мачете нам выдали ведра и лопаты. Здесь не было зарослей высокой травы и кустарника, которые следовало вырубать, зато повсюду, насколько хватало глаз, была грязь, которую было необходимо засыпать тоннами кораллов из открытого карьера на холме прямо напротив нас.

Мы делили Павуву с полчищами крыс, с которыми тоже приходилось справляться традиционным для американцев способом. Довольно скоро запасы отравы подошли к концу, а кучи маленьких тушек в разной стадии разложения стали доставлять больше беспокойства, чем стаи живых грызунов, совершавших периодические набеги *на* наши палатки.

Когда темнота прекращала наши сражения с грязью и крысами, мягкое шуршание пальмовых ветвей возвещало о появлении более экзотического противника — летучих мышей, бесшумно расправлявших крылья на ветру.

В итоге справились мы только с грязью. Крыс мы оставили в покое, да и летучих мышей старались не беспокоить, лишь иногда недоумевая, откуда появляются крысы, и если из пальмовых ветвей, как мы предполагали, то как они уживаются со своими молчаливыми соседями — летучими мышами.

Еда была отвратительной, а палатки — гнилыми и дырявыми. Не было и питьевой воды, если не считать того количества, что за ночь набиралось в каски. Мы купались, выскакивая голыми под дождь, торопливо намыливаясь, поскольку дождь мог в любой момент прекратиться и, значит, существовала опасность остаться на неопределенный срок намыленным. Одежду мы кипятили в баках дождевой воды. Разъеденные язвами ноги болели немилосердно, и нам приходилось часто снимать ботинки и носки и ложиться, подставив ноги солнцу.

Но мы все это выдерживали раньше, могли вытерпеть и теперь. Только плохая еда и дырявые палатки не могли повлиять на боевой дух моих товарищей, гибель надежд — вот что нас сломило.

Надежда существовала всегда: надежда на подход свежих частей, на солнце, на победу, на выживание. Когда же нам сказали, что нас не отправят домой для замены личного состава, мы задушили в себе надежду и превратились в деревянных солдатиков. Будущее у нас ассоциировалось с бесчисленными занятыми противником островами, которые предстояло отвоевать, а мы уже давно успели заметить, как после каждой

операции уменьшается число ветеранов — тех, с кем мы были в Нью-Ривер. Люди считали ситуацию безвыходной, и некоторые даже сводили счеты с жизнью.

Мы лежали, прислушивались к шуму дождя или топоту крысиных лапок, и думали ни о чем.

А потом все изменилось.

Нам сказали, что половина из ветеранов может отправляться домой.

Сначала была огромная радость, а потом, когда был обнародован способ отбора счастливцев, столь же безмерная злость. Будет проведен жребий, лотерея, в которой из шапки будут вытягивать бумажки с именами, но будут написаны имена только тех, кто ни разу не подвергался наказаниям.

Я был среди тех, чьи имена не были написаны на вожделенных бумажках, так же как и имена Хохотуна, Здоровяка, Цыпленка, Сувенира и многих других. Получилось, что ветеранов 2-го батальона 1-й дивизии разделили на хороших и плохих парней.

Мы все были в ярости. Теперь я знаю, как себя чувствует осужденный, которому припомнили все прошлые грехи. Мы оказались в группе «плохих» парней именно из-за прошлого. И никто не принимал во внимание, что мы уже понесли наказание, причем не единожды. У нас все проблемы привыкли решать одним методом — выбирая «корабельных крыс» для особенно грязной работы и лишая их заслуженных привилегий. И тот факт, что мы отлично проявили себя в боевых действиях, ничего не менял. Еще хуже, должно быть, было представителям третьей группы, имевшим столь редкие профессии, что без них нельзя было обойтись, независимо от того, хороший это был солдат или плохой. Подозреваю, что любой приговор, вынесенный Артисту, был бы отменен только потому, что его работу не может выполнить никто другой. Без Артиста нет картографического отделения. Точно так же я не сомневаюсь, что кто-то в нашем командовании был приверженцем теории о том, что частые обитатели гауптвахты должны отдуваться за все.

Сейчас, оглядываясь назад, мне легко простить моим командирам такое отношение. Но тогда ситуация была совсем иная. Мы чувствовали себя несправедливо приговоренными к казни. Вопиющая несправедливость потрясла меня настолько, что я едва владел собой, с трудом справляясь с негодованием. Когда после отъезда счастливчиков наступил период ужесточения дисциплины, я решил убраться с Павуву туда, где можно отдохнуть и восстановить душевный покой.

Разве есть для этого место лучше, чем госпиталь?

Эпизод с лейтенантом Большое Кино показал, что побег в госпиталь может решить множество проблем. Почему бы не попробовать этот метод снова? Из-за дождя, который шел беспрерывно, хотя дождливый сезон уже вроде бы закончился, у меня обострился энурез. Возможно, заболевание усугубилось волнением. Парни, живущие со мной в одной палатке, уже давно настаивали, чтобы я обратился к доктору. Так я и сделал.

Доктор, который уже знал меня, дал направление в госпиталь на Банике. Мне предстояло уехать рано утром.

Обратно из лазарета я шагал с чувством мрачного удовлетворения. Войдя в палатку, я увидел, что на моей койке сидит Резерфорд. Неожиданно пальмы и тропическая ночь исчезли, и я снова оказался перед банком на Стейшн-сквер. Дома. Как часто мы там стояли — Резерфорд, я и другие парни, обсуждая игру футбольной команды. Он вступил в морскую пехоту одновременно со мной и попал в 5-й полк. После Нью-Ривер мы не виделись.

Он радостно заулыбался, а я спросил:

— Почему тебя не отправили домой?

— Я оказался не слишком хорошим парнем, надо полагать.

— Я тоже, — сказал я и на мгновение замолчал, увидев, что он вытаскивает из-под куртки большой японский пистолет. — На кой дьявол тебе это нужно?

Он быстро оглянулся и засунул его под одеяло.

— Сохрани его для меня, пожалуйста. Я стянул его сегодня у командира роты, и он там всех на уши поставил. Обещает даже обыск устроить. А он мой по праву. Этот наглый капитанишка отобрал его у меня, воспользовавшись своим положением. Я взял его у японского майора на Талазеа. Он застрелился из этой пушки.

— Давай, — согласился я. — Завтра я еду в госпиталь на Банике и возьму его с собой.

— Прекрасно! — Его глаза радостно блеснули. — Пусть обыскивают хоть весь этот греба-пый остров, все равно ничего не найдут.

Резерфорд, несомненно, почувствовал большое облегчение.

Утром я закрепил пистолет Резерфорда под мышкой при помощи белой ленты, накинул кур тку, взял сумку с личными вещами и отправился в дивизионный госпиталь. Оттуда десантный корабль перевез меня на Банику.

* * *

Баника была роскошным местом. Баника была большим городом. Баника была Бродвеем. На Баннке были женщины, дома из стали и дерева, дороги, моряки, кинотеатр, электрическое освещение и множество магазинчиков со сладостями. И конечно, на Банике было пиво.

Следуя вместе с остальными от причала в сторону военно-морского госпиталя, я чувствовал себя деревенщиной, впервые попавшим в Нью-Йорк. По дорогам сновали машины, поднимая почти позабытые клубы пыли. На причале гудели крапы, производящие погрузку и разгрузку судов. Военные полицейские патрулировали вдоль высокого забора, за которым сновали женщины — медицинские сестры и сотрудницы Красного Креста. Все были сытыми и спокойными. Воистину Баника была даром небес.

Мы, худые и беспокойные, с неудовлетворенностью на лицах и нервным нетерпением в руках, здорово выбивались из общей картины. Идя по улице, я подумал, что, скорее всего, именно образ Баиики, а не Павуву будет подан Америке как символ войны в Тихом океане. Я вспомнил певицу, которую знал до войны и которая приезжала к нам в Нью-Ривер. Она попросила разрешения встретиться со мной, и мы вдвоем пошли гулять по пустой базе.

— Что ты об этом думаешь? — поинтересовался я.

— Не слишком роскошно, — ответствовала она, очевидно вспоминая о других базах, на которых успела побывать, сияющих показательным глянцем начищенного металла, с удобными домами и военными балами. Так что наати бедные палатки и деревянные бараки ее не впечатлили.

Павуву, как и Нью-Ривер и все остальные места, где нам приходилось бывать, был «не слишком роскошным». Но Баника! Ах, Баника! Здесь любая роскошь была к твоим услугам. Америке будет сказано, что именно такой была война на Тихом океане.

Санитар провел меня в палату и через нее в маленькую клетушку — боковую комнату.

— Снимите вашу одежду, — холодно сказал он, швырнув мне комплект больничного одеяния. Работа была для него явно неприятной.

Я начал раздеваться.

— Дайте мне ваш ремень и лезвия, — сказал он.

Приказ был довольно странным, но я подчинился. Продолжая медленно раздеваться, я огляделся и обнаружил, что окно зарешечено. Ремень? Лезвия? Решетки? Где я, черт возьми? Санитар перехватил мой взгляд и снизошел до объяснений:

— Это временная палата. Сейчас в той палате, куда вас нужно

положить, нет места.

Я кивнул, ни на минуту не поверив ему, и стал исподтишка рассматривать парня. Кожа на его лице была белой и необветренной — очевидный признак жизни в цивилизованных условиях. Он был очень молод и, скорее всего, только недавно приехал из Штатов. И еще у него был насмешливый и слегка презрительный взгляд моряка, который находит для себя унизительным иметь дело *с* сухопутными крысами. И тут я вспомнил, что у меня под мышкой пистолет Резерфорда. Я раздевался очень медленно и дождался того момента, когда санитару надоело стоять столбом, он взял мой ремень и бритвенные принадлежности и повернулся к двери во «временную палату». Тогда я сбросил остатки одежды, выхватил пистолет, навел его на моего недруга и негромко окликнул:

— Эй, ты!

Он раздраженно обернулся, увидел наставленный на него огромный пистолет и застыл. Я в свою очередь молчал и не двигался. Было очень приятно видеть, как с его физиономии исчезло выражение превосходства, как он нервно облизал губы. Если я был в палате для психов (а я находился именно в ней) и раз уж меня считали ненормальным (а такими считали всех морпехов), я сыграю свою роль до конца и получу удовольствие. Голый псих угрожает здоровому кретину.

— Что я должен с этим делать? — выдержав паузу, поинтересовался я.

Он был слишком перепуган, чтобы ответить, поэтому я, подождав еще немного и в полной мере насладившись своим превосходством, продолжил:

— Вы бы лучше это взяли и поместили вместе с моими вещами.

Санитар, молча и очень осторожно, взял пушку и вышел. Дурачок, ему даже не хватило мозгов проверить, заряжен пистолет или нет, а он был не заряжен.

Облачившись в блеклую пижаму и красный халат, я вошел в палату. Первый же пациент, которого я увидел, остановил меня и попросил:

— Сегодня я собираюсь на вечеринку, и мне просто необходимо почистить мозги. Вас не затруднит подержать их, пока я оденусь?

Теперь у меня не осталось никаких сомнений. Временная палата!

— Конечно, — не стал спорить я, — давай.

Он поднес руки к голове, сложил ладони чашечкой и сделал движение, будто перекладывает что-то мне в руки. Потом он

сделал несколько шагов в сторону, вернулся с носовым платком, забрал свои «мозги», выпалил «большое спасибо» и вышел из палаты в небольшой коридор, где принялся размахивать платком, что-то бормоча себе под нос.

Я несколько минут наблюдал за ним, ожидая, что ему надоест придуриваться. Но ему не надоело. Это был самый настоящий, неподдельный псих.

В углу залитой солнцем палаты стояли столы, где пациенты могли читать, писать письма или играть в настольные игры. Там сидели два парня и играли в карты. Я подошел и сел рядом.

Выждав несколько минут, я качнул головой в сторону «чистильщика мозгов» и спросил:

— Что, черт возьми, *с* ним такое?

— Псих, — хором ответствовали они, не отрываясь от игры.

Молчание.

Я снова заговорил, впрочем, не слишком уверенно:

— А что это за палата?

— Палата «Р-38», — снова ответили они, но теперь уже с нескрываемым раздражением.

Насколько я понял, такое обозначение было введено для палат, в которых многие пациенты были уверены, что умеют летать. Игроки прекратили игру и теперь внимательно рассматривали меня, словно ожидая, что я буду делать. Я не порадовал их и не стал возмущаться, а только встал и направился в другой конец палаты, где в стеклянном кубе сидела медсестра. Она выглядела такой стерильной, недружелюбной и холодной, что у меня не возникло ни малейшего сомнения в том, что она и пальцем не пошевельнет, чтобы помочь страждущему. В госпиталях всю работу выполняли санитары, а медсестры вели записи. В войне на Тихом океане медсестры в военно-морских госпиталях вовсе не были ангелами милосердия — назвать их так не повернулся бы язык ни у одного пациента. Они были скорее бухгалтерами. Они взирали на нас с высоты собственного величия, как будто были не сестрами милосердия, а лейтенантами, презрительно поглядывающими на срочнослужащих. Мы всегда посылали надменных сестер к черту — они не делали ничего полезного, только мешали санитарам и раздражали пациентов.

Когда я приблизился, возле нее как раз топтался круглолицый мужичок и уговаривал взглянуть на порнографическую картинку, подаренную ему каким-то доброхотом. Позже я узнал, что этот пациент свихнулся именно на почве секса. Кстати, похожие проблемы были у многих. Она сделала вид, что восхищена увиденным, и поспешила отделаться

от бедолаги. Потом она подняла глаза на меня. В ее взгляде было столько холодного презрения, что я опять решил позабавиться.

— Сестра, — сказал я, пристально уставившись на нее, — верните мои лезвия.

— Зачем? — поинтересовалась она.

— У меня имеется зуб кое на кого.

Она взглянула на меня в немом изумлении, но я был сосредоточен и серьезен. Она что-то записала, причем с таким видом, словно вносила запись о смертном грехе в Книгу Судеб, а я, полностью удовлетворенный, ретировался. Ну их всех к дьяволу! Если они считают меня психом, значит, я им и буду... По крайней мере, до того, как увижу психиатра.

Я увидел его на следующий день. Он насмешливо следил, как *я* вошел в кабинет и сел напротив него.

— Что там насчет лезвий?

— Что? Это же была шутка, сэр.

— Я знаю, — укоризненно сказал он, — по больше так не шути, пожалуйста. Ты расстроил сестру.

— Да, сэр. — Довольно трудно не дать выхода досаде, если тебя помещают в палату «Р-38», а не в то место, где вероятность вылечить слабые почки хотя бы немного выше. Но я хранил молчание, пока доктор Кротость осматривал меня, проводил тест с помощью молоточка. Каким-то образом удар металлического молоточка чуть ниже коленной чашечки пациента, когда он сидит, скрестив ноги, демонстрирует скорость рефлексов.

Доктор сосредоточился на осмотре, и я имел возможность без помех наблюдать за ним. Широкоплечий. Сильный. Он был весь широкий, массивный — плечи, руки, голова, и в каждом его движении чувствовалась сила. С другой стороны, мягкость манер и речи, казалось, была почти женской, и впечатление женственности усиливалось плавными движениями и добрым выражением лица. Но на его мягкость вряд ли стоило рассчитывать, очевидно, доктор Кротость выработал ее специально, чтобы пациент расслабился и выболтал больше, чем хотел.

Он начал задавать вопросы, из которых явствовало, что доктор является фрейдистом. Большинство его вопросов и тестов касалось секса. Он старался найти хоть какую-нибудь аномалию. Затем он подробно расспросил меня о детстве. Через пятнадцать минут интервью завершилось, и, поскольку я продолжал смотреть на доктора с напряженным вниманием обвиняемого, ждущего вердикта судьи, он сказал:

— Не волнуйся. Ты пробудешь здесь около месяца, во всяком случае, не меньше. Вероятно, нам придется периодически

встречаться. Так что расслабься и старайся воспринимать события с юмором. Насколько я могу судить, ты в порядке. Быть может, немного излишне вспыльчив, по...

— Что вы имеете в виду? — нарочито удивился я.

Он улыбнулся, и я бы почувствовал себя полным идиотом, если бы не видел юмор ситуации. Я сам себе напоминал человека, который, охваченный бешенством, бегает взад-вперед и кричит: «Кто тут волнуется? Кто волнуется?» Я всю жизнь отрицал факт своей вспыльчивости и теперь испытывал облегчение, признав его.

Он долго расспрашивал меня о войне. Мой рассказ заставил его несколько раз тяжело вздохнуть и укоризненно покачать головой. Насколько я понял, он пребывал в уверенности, что не только меня, но всю мою дивизию в полном составе следует отправить к психоаналитику. Потом мы немного поговорили о книгах — он оказался достаточно начитанным — и о философии.

Неожиданно он прервался на полуслове и спросил:

— Кем, ты говоришь, там был?

— Разведчиком, — гордо сообщил я. — И пулеметчиком.

— Но это не место для человека такого калибра, как ты!

Я был откровенно шокирован. Разве не виновно наше правительство, избаловав призывников с высоким коэффициентом умственного развития, — словно они слишком умны, чтобы сражаться за свою страну? Неужели доктор Кротость не заметил, что я гордился своим положением разведчика, а до этого — пулеметчика? Продолжай в том же духе, Америка! Объясняй молодому поколению, что грязь и опасность войны — это только для тупых и слабоумных. Пусть они знают, что только дураки способны на самопожертвование, что Америку должны защищать люди примитивные, а наслаждаться ее благами — высокие интеллектуалы! Продолжай превозносить голову выше сердца, и очень скоро голова станет считать любую драку грехом и отдаст все сокровища первому же попавшемуся бандиту, у которого хватит духу их потребовать.

Но доктор Кротость, похоже, не услышал в моих словах поток гордости, поэтому я запнулся и довольно неловко пошутил, надеясь сменить тему.

— Кстати, — вдруг вспомнил он, — у меня твой пистолет. Как ты смотришь на то, чтобы продать его мне? Я бы хотел послать его домой в качестве сувенира.

— Извините, сэр, не могу. Он мне не принадлежит.

— Жаль, — вздохнул он и встал, — но если передумаешь, дай мне знать. Мои родные в Австралии будут в восторге. — Он задумчиво посмотрел на меня. — Мы почти ничего не можем

сделать с твоим энурезом. Ночью санитар будет тебя будить через определенные промежутки времени. Тебе не ограничено передвижение по госпиталю, как другим пациентам. Можешь ходить в кино и в общую столовую. И пожалуйста, больше никаких шуток относительно лезвий.

В ту ночь санитар будил меня каждый час, на следующую ночь тоже, потом еще одну. На четвертую ночь меня не беспокоили, и энурез поспешил доказать, что он никуда не делся. Меня снова начали будить, потом без предупреждения прекратили. Эффект тот же. Я отлично понимал, чего добивались врачи. Они просто хотели установить, действительно ли я болен. Слишком уж велик был поток симулянтов.

Такому обращению подвергались все, поэтому я не протестовал, а вскоре и вообще перестал обращать внимание на мелкие неудобства. Как бы там ни было, а жизнь в палате «Р-38» была несравненно приятнее, чем на Павуву. Здесь происходило немало интересного, если не сказать странного.

Пожалуй, самым странным был капитан Полночь.

Он вставал с койки, вытягивал в стороны руки, словно крылья, выгибал спину и начинал бегать по палате на цыпочках, поднимая и опуская «крылья» и наклоняя тело, как самолет, и при этом монотонно жужжал.

— Капитан Полночь вызывает аэродром, — выкрикивал он. — Капитан Полночь вызывает аэродром!

Пациенты тотчас включались в игру:

— Эй, капитан, будь осторожен, у тебя Зеро на хвосте!

— Внимание, капитан! Зенитки!

— Хорошая работа, капитан! Ты отправил Зеро к праотцам!

Рядовой Дитя сидел за решеткой, отделявшей нас от буйных пациентов. Я был очень удивлен, заметив его там. Он робко посмотрел на меня и попросил чего-нибудь сладкого. Я дал ему конфет и не мог не обратить внимание на его руки — ведь это был тот самый Дитя, который задушил японца! У него были короткие, широкие руки художественной мощи. Интересно, подумал я, как это прошлое деяние связано с его безумием? Была ли это кара? Раскаяние? Или тут не было никакой связи?

Я спросил о Дите у санитара.

— Он дошел до предела, — сказал санитар. Парень побывал на Павуву и знал, что говорит. — Помнишь дорогу, что идет вокруг острова? Там еще всегда стоит маленький аэроплан. В общем, этот парень однажды вышел на дорогу и забрался в аэроплан. Его схватили, когда он уже запустил мотор. На вопрос, куда он собрался, тот ответил: «Домой, мне надо домой! Я должен вырваться из этого ада!» После этого его привезли сюда.

Его привезли на Банику. Это, конечно, не дом, куда ему так хотелось попасть, но здесь, по крайней мере, не было войны. И в конце концов он обязательно попадет домой. Для Дитя война закончилась. Он отправится домой и, быть может, вновь обретет рассудок. Интересно, а сколько еще смог} выдержать я?

С тех пор как я перелез через борт «хиггинса» на Гуадалканале и увидел разлапистые ветви пальм над головой, больше всего я боялся именно безумия. Все, что угодно, — смерть, плен, но только не безумие. Но я всегда считал: безумие приходит не изнутри — от давления обстоятельств на человеческий мозг, а снаружи — от пули, кусочка шрапнели, контузии. Иными словами, я считал его причины физическими, а не умственными.

Здесь, в палате для душевнобольных, я понял, что был не прав. Я увидел, что может сделать с человеческим разумом отчаяние.

Я думаю о больных маниакально-депрессивными синдромами. Они — настоящие сыновья отчаяния. Я их видел. Я чувствовал, насколько подавлен, угнетен их дух, и никак не мог себе представить, что могло случиться с человеком, чтобы превратить его в безмолвное привидение, разгуливающее по палате со стиснутыми губами и пустыми глазами.

Баника, конечно, была раем, и, как в любом уважающем себя раю, здесь существовал запретный плод, во всяком случае для срочнослужащих — медицинские сестры.

— Здесь нет ничего личного, — объяснил мне санитар, рассказавший грустную историю Дитя, — просто они женщины, а женщины здесь могут принести только несчастье. От них слишком много неприятностей. — Он сделал паузу и продолжил: — Знаешь, когда мы прибыли на Банику, здесь не было никаких медицинских сестер. Только доктора и мы. — Он тяжело вздох-пул. — Хорошее было время. Доктора всегда делились с нами полученным спиртным, да и всем остальным тоже. Мы жили как одна большая семья. Еда была отличной, и доктора не обижали. Они никогда не пользовались служебным положением. Мы и так все исполняли. Мы отлично уживались вместе. — Он еще раз вздохнул, и его лицо заметно помрачнело. — А потом прибыли медсестры, и все сразу переменилось. Мы стали плохими парнями. Больше не было хорошей выпивки, еды и дружелюбной атмосферы. Сестры говорили только с докторами, а доктора — с Богом. Беда в том, что работы не стало меньше, и она не стала легче. Более того, она стала тяжелее, и намного. А посмотрите, во что сестры превратили базу! Для них возвели настоящее укрепление, которое

теперь охраняет чуть ли не батальон военной полиции. Представь, что чувствуют простые парни вроде нас, когда видят офицера, раскатывающего в джипе с медицинской сестрой? У него же в кобуре пистолет! Что это значит? А то, черт возьми, что он собирается защищать честь этой женщины от посягательств черни, то есть нас! Мы — главные враги, которых нужно опасаться! — Его голос звенел от обиды. — Это безумие! Это неправильно! Несправедливо! Женщинам здесь нечего делать! Если нельзя прислать сюда женщин для каждого, пусть все сидят дома!

* * *

В госпитале была приличная библиотека, и чтение стало моим отдохновением. Я проглатывал по две-три книги в день, пренебрегая вечерними киносеансами. Часто, когда выключали свет, я продолжал читать, сидя в туалете.

Но, в конце концов, удовлетворив потребность к чтению, поначалу казавшуюся мне ненасытной, я все-таки пошел в кино. В моей душе пробудилось некое новое чувство, нечто сродни стыду. Меня начала угнетать праздность моей жизни в госпитале. Я начал сравнивать свое безбедное существование со спартанским режимом моих товарищей на Павуву и сам удивился, ощутив презрение к себе. Мой протест против несправедливой лотереи исчез, и я уже начал забывать истинные причины своего побега в госпиталь.

Книги мне наскучили, а с ними и все окружающее. Поэтому я решил пойти в кино. Я присоединился к группе пациентов палаты «Р-38», которую сопровождал туда санитар. Наше появление вызвало оживление и любопытные взгляды — как же, психов привели. Мы заняли места в амфитеатре, наскоро сколоченном из бревен кокосовых пальм. Вскоре прибыл комендант острова, и фильм начался.

Вскоре он был прерван.

Была включена система оповещения, и чей-то радостный голос объявил: «Войска союзников высадились в Северной Франции. Второй фронт открыт!»

Ночь наполнилась восторженными криками, которые через некоторое время стихли, и фильм продолжился.

Я встал и покинул амфитеатр, чувствуя, как сильно колотится сердце. Мое волнение было трудно понять. В нем, несомненно, присутствовал элемент гордости, однако преобладало чувство тревоги. Мне неожиданно пришло в голову,

что произошло великое событие, война теперь будет быстро двигаться к победному копну, а я, напялив дурацкую пижаму и халат, отсиживаюсь в госпитале. Внезапно на меня нахлынула такая тоска, что я заплакал и поспешил по дороге в госпиталь. Я хотел быть вместе со своими товарищами.

Мне не пришлось долго ждать.

Меня вызвали в кабинет доктора Кротость. Рядом с ним сидел начальник госпиталя. Я заметил на столе пистолет Резерфорда и понял, что на Банике долго не задержусь.

— Мы почти ничего не можем для вас сделать здесь на острове, — сказал начальник госпиталя. — Мы не располагаем возможностями для лечения. Все, что вам нужно, это перемена климата и покой.

— Вы имеете в виду, что меня отправят обратно в Штаты, сэр? — спросил я.

Он грустно усмехнулся:

— Обычно мы так и делаем. К сожалению, с вами, морскими пехотинцами, все не так просто. Поэтому мы вернем вас обратно в вашу роту и предложим вашему командиру поручить часовому будить вас ночью.

Я рассмеялся. Он тоже. Да и доктор Кротость от нас не отстал. В этом смехе не было ни горечи, ни упрека, потому что они знали, так же как и я, что это невозможно. Можно только пожалеть часового, которому хватит безрассудства ночью ощупью пробираться по палаткам, заботясь о полном мочевом пузыре своего товарища. Не поздоровится бедолаге.

— Не забудь свой пистолет, — сказал доктор Кротость. — Уверен, что не хочешь его продать?

— Извините, сэр, нет. Я же говорил, что эта вещь мне не принадлежит. И спасибо вам за все.

Он кивнул, и я вышел из кабинета. Сборы были недолгими, я с легким сердцем покинул палату «Р-38» и на первом подвернувшемся катере отбыл на Павуву.

2

На Павуву было оживленно. Я это почувствовал в тот самый момент, когда сошел на берег. Первым делом я увидел людей, купающихся в бухте. Их было не меньше сотни, они беззаботно смеялись, прыгали и резвились в прозрачной воде, как веселые дельфины. Их сильные тела блестели на солнце, а бронзовый загар казался еще более темным на фойе белого нижнего белья. Это проявлялось в безукоризненной чистоте палаток, стоявших

рядами между пальмами, в аккуратности проложенных между ними улиц, ограниченных воткнутыми в землю кокосами, в напряженности движения по единственной на острове дороге. Здесь были настоящие туалеты, душевые и волейбольные площадки. Здесь появился открытый кинотеатр и даже прачечные! Но главное то, что снова возродился дух морских пехотинцев, их непоколебимая уверенность в себе.

Такая перемена была внезапной и необъяснимой, как перемена ветра. Мрачные люди ругались, потом начали шутить, и, прежде чем успел стихнуть первый взрыв смеха, перемена произошла.

Люди стали следить за своей одеждой, чаще бриться, некоторые даже находили метлы и подметали свои палатки. Когда кто-то раздобыл ящик и смастерил из него походный сундучок, всем сразу же захотелось такой же. Мода стала повальной — все пехотинцы разбежались по острову в поисках ненужных ящиков или, по крайней мере, хороших досок. Когда же из штаба дивизии прислали мячи, тут же во всех подразделениях — взводах, отделениях, ротах — стали организовываться баскетбольные и волейбольные команды, которые соревновались друг с другом, предаваясь этому занятию со всей страстью. Короче говоря, боевой дух морских пехотинцев возродился снова, он гордо реял, как знамя на ветру гордости и славы.

Итак, вернувшись на остров, я застал совсем не ту обстановку, которая существовала до моего поспешного бегства, и к тому же, что не менее, а может быть, и более важно, нашел нового друга.

Школяр только что прибыл на остров из Штатов. Когда мой катер подошел к берегу, новичков как раз вели к палаткам. Войдя в палатки, они сменили чистую, новую камуфляжную форму на вылинявшую под южным солнцем одежду ветеранов, «просоленную» одежду, не раз побывавшую в бою. Считалось, что необстрелянные новички будут чувствовать себя более уверенно в видавшем виды обмундировании старой гвардии. У ветеранов подобных психологических проблем не было, и они быстро почувствовали золотую жилу. Прошло всего несколько дней, и «стариков», ранее отличавшихся потрепанным одеянием, можно было узнать по роскошной новой форме.

Я сидел в палатке и с удовольствием наблюдал за происходящим, когда неожиданно обзор оказался заслоненным объемистым вещмешком, который заталкивал в палатку истекающий потом новичок.

— Это палатка разведывательной группы? — немного робея,

спросил он.

— Ага, заходи, — ответил я, с интересом разглядывая внушительную поклажу. Разломив плитку шоколада, привезенную мной с Баники, пополам, я протянул ему половину. — Располагайся. Шоколаду хочешь?

Он быстро схватил свою половину, словно боялся, что я передумаю, и начал быстро жевать.

— Спасибо, — пробормотал он с полным ртом. — Мы не ели с тех пор, как сошли утром на берег.

— Слушай, а что у тебя там? — поинтересовался я, указывая на объемистую поклажу. — Ботинки есть? — Мне отчаянно нужна была хотя бы какая-нибудь обувь, но, взглянув на ноги новичка, я лишь разочарованно вздохнул. — Какой у тебя размер?

— Пять или пять с половиной. Маленький, да? — хихикнул он, и я сразу потерял интерес к его багажу. Как-то он не был похож на человека, который стал бы менять новый камуфляж на старый. Парень с любопытством огляделся и обратил внимание на мой книжный шкаф, сделанный из упаковочных ящиков. — Эй, а откуда ты взял здесь книги?

— Отец прислал.

— Здорово! — с воодушевлением провозгласил он. — У меня тоже есть с собой книги. Можно я поставлю их с твоими?

— Валяй, — разрешил я и освободил для его книг полку, а для него — место в моем сердце. Причиной тому стали не только книги — помню, у него был с собой «Жан Кристоф» Ромена Роллана и что-то из Кальдерона на испанском. 51 почувствовал в нем сильную волю, и мне очень понравилось упрямое выражение его слегка насмешливого лица. Так мы стали друзьями и остаемся ими по сей день.

После Школяра *в* нашу группу прибыло еще четыре новичка. Двое из них были вчерашними школьниками — каждому лет по восемнадцать, один — задиристый, другой — послушный, первый прибыл откуда-то со Среднего Запада, другой был южанином. Задира был довольно агрессивным и очень смышленым, послушный — робким и медлительным. Очень разные, они были неразлучными и очень скоро стали Близнецами.

Третьим новичком в нашей группе стал Белый Человек. Выходец с холмов Вирджинии, он был расистом до мозга костей, от кончиков пальцев до самой макушки его узкой длинной русоволосой головы. Он мне как-то раз заявил, что после войны займется очисткой своей земли от ниггеров, когда же с этим делом будет покончено, он и его соратники возьмутся за католиков. На это в палатке раздался взрыв смеха, поскольку только абсолютно лишенный чувства юмора фанатик мог

обижаться на наивную враждебность Белого Человека. Он был первым призывником на моем веку. Корпус теперь принимал в свои ряды призывников — немного, но достаточно, чтобы пошатнуть наше привилегированное положение элиты. Белый Человек единственный раз сумел вызвать наше негодование, когда неуважительно отозвался о добровольцах. Он самодовольно изрек, что все добровольцы — кретины, поскольку сами вызвались прийти сюда. А он — не такой дурак. Он дождался, когда за ним пришли. Наше дружное молчание выразило всю меру презрения к невежде.

Грязный Фред — четвертый новичок — был тощим, носатым и спокойным деревенским пареньком из Канзаса, знавший все о таинствах скотного двора и относившийся к жизни как задиристый петух. Он любил применять стандарты скотного двора к человеческим взаимоотношениям и был не просто скучным, а скорее даже невыносимым, часто вызывая гнев и громкое возмущение не слишком брезгливых морских пехотинцев.

После прибытия пополнения жизнь на Павуву изменилась. Теперь основной упор делался на тренировки, направленные на то, чтобы новые люди влились в дивизию. Однако многие ветераны не желали снова связываться с монотонной рутиной тренировок и заблаговременно заботились о синекуре, оправдывающей их отсутствие. А некоторые, как, например, Артист, просто держались в стороне.

Артист, как Ахиллес, мрачно тосковал в своей палатке. Часто бывало, что по утрам, часов в десять, когда я уже закапчивал свою работу с батальонным цензором лейтенантом Либералом, работу, которая заключалась в облизывании и заклеивании конвертов, я приходил в палатку к Артисту и приносил несколько кусочков хлеба, взятых на камбузе. Артист открывал баночку вкусных консервов, которыми его регулярно снабжала мать, я кипятил кофе, и мы устраивали пир.

Кофе пили и вечерами. После кино никто не проходил мимо котелка с кофе, приготовленного мной. Согретые черной жидкостью парни вели неспешные беседы, спорили и шутили, сравнивая кофе, приготовленный мной и предлагаемый сержантом, ведавшим хозяйственной частью. Мне безбожно льстили — «это лучший кофе на Павуву», — но, думаю, в мою палатку шли все-таки не ради кофе, а ради беседы. Моя кухня не шла ни в какое сравнение с кухней сержанта-интенданта. Он готовил кофе на ацетиленовой горелке, а мне приходилось пользоваться старой жестяной банкой, подвешенной над банкой от томатной пасты, наполненной бензином. Скажем так, на

стороне сержанта был вкус, а на моей — атмосфера.

Книги, принадлежавшие мне и Школяру, и в первую очередь словарь и ежегодник, превратили нашу палатку в место встречи литературного «бомонда». Своеобразной традицией стал спор с Красноречивым, который с готовностью вступал в словесную дуэль с любым противником. Кроме того, представлялось весьма привлекательным принять чашку кофе из рук «азиата». Этим термином со смесью уважения и страха именовали человека, пробывшего в тропиках слишком долго. Я научился у Красноречивого пользоваться этим определением, которое ставило человека в разряд неприкосновенных, не подлежащих критике, автоматически освобождало от всех грязных работ и таких повседневных неприятностей, как побудка и утренняя гимнастика.

Мое четырехнедельное пребывание в палате «Р-38» на Банике сделало меня «азиатом» вдвойне. В моем случае это было официальное звание. Поэтому никто не возражал, когда я каждое утро отправлялся заклеивать конверты с лейтенантом Либералом, избегая, таким образом, других обязанностей, или когда я ходил, одетый только в мокасины и полотенце, обернутое вокруг бедер. Офицеры пожимали плечами, качали головами и называли меня «азиатом».

Человек, считавшийся не таким, как другие, всегда вызывает особый интерес. Моя репутация привела к тому, что каждый вечер, когда я заканчивал печатать письма на раздолбанной пишущей машинке, приобретенной мной по случаю за десять долларов, в моей палатке собирались парни, вернувшиеся из кино и желающие получить чашку кофе и насладиться яростной дискуссией между двумя «азиатами» — мной и Красноречивым.

Иногда к нам тем или иным способом попадала бутылка виски: или купленная по совершенно безбожной цене, или, как получилось однажды, выманенная путем откровенного шантажа у лейтенанта Либерала. Он решил, что солдаты разведывательной группы должны нести караульную службу вместе со всеми остальными, и опрометчиво изрек, что сам является убежденным сторонником равенства. Вот ему и пришлось распространить свои принципы на свой рацион спиртного. Если, по общему мнению, виски заканчивалось слишком быстро, я приносил флягу «сока джунглей» из палатки Хохотуна. Если же и этого не хватало, мы выпивали лосьон после бритья или топик для волос. Однажды я хватанул ужасной зеленой гадости под названием «Дюпре», а когда утром проснулся, у меня появилось отчетливое ощущение, что мой язык сначала побрили, а потом вымыли шампунем.

Если у нас был не только кофе, но и алкоголь, мы часто

принимались петь. В нашем репертуаре были в основном блатные песни или произведения времен Первой мировой войны. Как-то мы даже пали духом настолько, что принялись хором выводить классические композиции, — падение завершилось мрачным произведением собственного сочинения, к которому нас подтолкнула новость о том, что дивизия готова снова отправляться в бой. На мотив «Фуникули, Фуникула» мы исполняли омерзительную серенаду. Окружив того или иного парня, мы затягивали:

Йо-хо, йо-хо, Плейбой вот-вот умрет,
Йо-хо, йо-хо, Плейбой вот-вот умрет.
Он умрет, он умрет, он умрет, умрет, умрет.
Тогда какого черта?
Ты все равно умрешь!

Мы спели ее всем, кроме Либерала, Артиста и Белого Человека.

Прошел слух, что следующая кампания будет короткой. Она не будет похожа на ту, что была на Гуадалканале и Новой Британии. Она будет бурной и по-настоящему стремительной. А потом «старики» отправятся домой. Мы воспрянули духом.

Резерфорд вновь обрел свой пистолет. Он пришел за ним поздно вечером, когда все были в кино, а я остался один в палатке и печатал письмо при тусклом свете фитилька, сделанного из кусочка каната, опущенного в банку с бензином. Резерфорд и его товарищ вышли из темноты с соблюдением всех правил конспирации. Я был рад избавиться от этой игрушки, поскольку все время опасался, что ее у меня украдут.

— Увидимся дома, — сказал Резерфорд и снова скользнул в ночь.

Мы покинули Павуву. Победители кампаний на Гуадалканале и Новой Британии, мы опять заходили в разинутые пасти десантных кораблей, которые должны были отвезти нас на войну. Никогда раньше мы не были так уверены в победе, и никогда снова не будет ее цепа столь высока.

3

На Пелелиу шла бойня.

Остров — плоский и безликий — был алтарем, на котором семнадцать сотен человек должны были быть принесены в жертву.

Авиация армии и флота уже основательно перепахала остров. Перед нашим прибытием к Пелелиу подошла армада тяжелых крейсеров и линкоров и несколько дней обстреливала

коралловую крепость. Маленький атолл — длиной около восьми километров и шириной около трех, причем в самой широкой части, — был скрыт облаком черного дыма. Это мрачное облако в некоторых местах розовело от пламени пожаров и временами дрожало и сверкало, как неоновая реклама. Грохот разрывов тяжелых снарядов разносился над водой на много миль вокруг.

Наш десантный корабль выплюнул наши плавучие гусеничные транспортеры в полумиле от берега. Мы выкатились из его брюха, как уродливые отпрыски монстра Мартиана, и сразу оказались среди кошмарной какофонии звуков — грохот, свист, рев, шипение, треск — в общем, казалось, что мы являемся свидетелями полного уничтожения маленького острова.

Гигантские военные корабли плавно покачивались на воде позади нас, а впереди находился противник. Самолеты над головой были только наши. Это был момент высшей уверенности, изгона страха смерти. Я окинул взглядом сцену завоевания.

Тяжелые снаряды со свистом летели в сторону берега над нашей головой. Те из нас, кто побывал на Гуадалканале, помнили, как тяжело нам пришлось во время обстрела с моря, и в глубине души сочувствовали противнику. Теперь, когда война приняла другое направление, мы могли себе позволить некоторое благородство. Изящные эсминцы и корабли с ракетными установками двигались грациозно, как породистые лошади. Когда ракетные суда производили свои смертоносные залпы, раздавался чудовищный грохот, а небо над ними темнело.

Сейчас великое безумие постепенно сходило на нет. Занавес огня поднимался. Охваченный восторженным возбуждением, я оглянулся, чтобы еще раз увидеть наш десантный корабль. На палубе толпились матросы: одни махали нам вслед, другие потрясали кулаками в сторону Пелелиу, словно зрители, следящие за представлением гладиаторов.

И вдруг как-то сразу наступила тишина.

Взревели моторы транспортеров, и мы двинулись в сторону облака дыма.

Я немного приподнял голову над планширом, поскольку находился на месте пулеметчика. В соседнем транспортере аналогичное место занял Здоровяк. Он заметил, что я на него смотрю, кивнул в сторону острова и ухмыльнулся. Я понял, что он имел в виду, и сделал жест, который должен был означать, что все идет как надо.

— Черт знает что! — крикнул я в ветер и шум.

Здоровяк еще раз ухмыльнулся, выразив полное со мной согласие. Как раз в этот момент послышался странный удар в стальной борт нашего плавсредства, за которым последовал

сдавленный звук. Воздух наполнился треском рвущейся стали, то там, то здесь показались фонтанчики и гейзеры воды.

Противник нас приветствовал! Нас встречали минометным и артиллерийским огнем. На острове Пелелиу нас ждали десять тысяч японцев, десять тысяч отважных, целеустремленных и умелых бойцов. Да, именно умелых. Падал ужасный дождь и, пока мы добрались до берега, изрядно поработал над нами.

При первом взрыве Здоровяк и я быстро нырнули под планшир, и я больше не осмеливался высовываться, пока мы не подошли на тридцать метров к берегу.

Наш транспортер находился в первой волне наступления, и, тем не менее, берег уже был покрыт разбитыми и горящими транспортерами, телами раненых и убитых. Белый песок был изрыт глубокими воронками, которые со стороны казались зелеными, — в них прятались одетые в камуфляж морские пехотинцы.

Мы остановились.

Вместе с лейтенантом Долгий Ящик из роты F, к которому я был назначен вместе с Грязным Фредом и послушным Близнецом, я перепрыгнул через борт нашего плавсредства и быстро выкопал для себя нору. Позади меня разорвался снаряд. Взрывной волной находившегося поблизости человека отбросило в одну сторону, а его ноги в высоких, зашнурованных ботинках, предназначенных специально для ходьбы в джунглях, — в другую. Это был парень, с которым мы вместе были на Новой Британии и который, когда сзади меня появились японцы, открыл огонь над моей головой. Кажется, он был жив, но война для него уже закончилась.

Лейтенант Долгий Ящик пытался что-то сказать, но я ничего не слышал и знаками показал ему, чтобы он написал все, что хочет. Он пожал плечами и отмахнулся. Значит, ничего важного. В это время впереди показался еще один морской пехотинец. Его лицо было искажено страхом. Он одной рукой крепко сжимал другую, на которой был отстрелен кончик указательного пальца, — обрубок ярко алел, как римская свеча. Это был капрал, заработавший неприязнь Хохотуна на Гуадалканале в ночь, когда произошло сражение на Типару. Тогда наш пулемет, поставленный им, шлепнулся в грязь. По-моему, на его лице, помимо страха, читался восторг и облегчение.

Мы не могли двинуться с места, но виной тому были не только минометы. На выступающем в море коралловом утесе японцы оборудовали огневую точку, откуда поливали берег пулеметным огнем. Мы нашли в утесе дыру — очевидно, это был вход в их пещеру — и забросали ее гранатами и динамитными шашками, выжигали все, что было внутри, огнеметами. И тем не

менее, яростный огонь не прекращался.

Осмотревшись, я увидел, что вдоль берега тянутся заросли кустарника, за которыми располагался желанный для нас аэродром и основные фортификационные сооружения противника, которые мы позже назвали Хребтом Чертова Носа. В кустарнике я заметил желтую бабочку, мечущуюся среди зеленых ветвей. Вдали двигалось еще что-то, на поверку оказавшееся танком — нашим танком! Наступило временное затишье, и я услышал восторженные крики, раздавшиеся, когда танк ворвался на позиции напротив коралловой крепости, державшей нас на месте. Один за другим он выпускал снаряды в дыру, его пулеметчик расстрелял целую ленту, но вражеская огневая точка каким-то чудом осталась невредимой и продолжала вести огонь.

А потом началось странное действо. В дыре неожиданно показался японский солдат. Его фигура на мгновение загородила проход, после чего тут же скрылась из вида. За ним последовал еще один. И еще один. И еще. Каждое появление противника вызывало сумасшедший огонь из всех видов имевшегося у нас оружия. Создавалось впечатление, что мы вели огонь по кроликам, — они появлялись мгновенно и украдкой, как грызуны, и так же быстро исчезали, словно крепость была большим садком. Между прочим, почти так оно и было, потому что японцы провели на Пелелиу достаточно много времени и сумели оборудовать внутри кораллов целую сеть пещер. Так что, когда японец выпрыгивал, он просто переходил на другую позицию, возможно даже при этом проползая под нами.

Только один из выпрыгивающих из пещеры защитников острова умер. Он был толстый и неповоротливый, а его рубашка и штаны были набиты рисом, как у бедняги, который пошел на корм крокодилам на Гуадалканале. Он двигался медленно, и пули, попадая в него, выбивали фонтанчики крови и риса.

Было жарко. Белый песок жег тело сквозь одежду. Это было обволакивающее, расслабляющее тепло парной. Пот стекал по лицу и попадал в рот, усиливая жажду. Вода в наших фляжках стала горячей. Выпив ее всю, я снова наполнил флягу грязной дождевой водой, скопившейся в одной из воронок. На Пелелиу не было пресной воды. Японцы собирали дождевую воду в открытых цистернах, а наши доставили ее на остров в барабанах, в которых всегда перевозили бензин, причем какой-то идиот из снабженцев не очистил их предварительно от остатков топлива. Воду, имевшую привкус и запах бензина, пить было невозможно. Немилосердное солнце палило вовсю, когда мы, ободренные прекращением огня из коралловой крепости, выползли из своих укрытий и направились через кустарник к аэродрому.

Перед началом взлетной полосы возле самого кустарника мы обнаружили большую воронку от тяжелого снаряда и заняли позиции в ней. Здесь я встретил Артиста.

— Либерал погиб, — сообщил он. — Мина достала его и Солдата.

— А как Солдат? Что с ним?

— Он лишился ног, но не бодрости духа. Война для него уже кончилась.

— Да... Жаль Либерала. Он был неплохим парнем.

— Осколок попал ему в живот. Я видел, как он сидел, прислонившись к дереву, и улыбался. Я спросил, не нужно ли ему что, но он сказал, что с ним все в порядке. Он так и умер, сидя у дерева.

Артист покачал головой и ушел. Надо же, как не повезло Либералу. Жалко парня. Его прекрасное образование, неизменное чувство юмора и добрая улыбка на приятном интеллигентном лице — все это исчезло, вытекло через некую трещину в сосуде жизни, пока человек сидел, прислонившись спиной к дереву, улыбался и строил планы на будущее, которые были вполне реальными благодаря победам союзников и его собственному временному выходу из строя из-за ранения. И вот теперь его нет. Да покоится он с миром.

Мы остались в воронке. Наступление было остановлено. Прошли слухи о наших больших потерях. Защитники острова были решительными и упорными. Морпехи начали исследовать лазы в кораллах в районе аэродрома.

В полдень я решил поесть, но не смог проглотить ни одной ложки бобов из пайка. Я так ничего и не ел на Пелелиу.

Их танки появились внезапно. Они неслись, сокрушая все на своем пути, через аэродром. Зрелище было пугающим. Они возникли из ниоткуда, а с нашей стороны им противостояли только морские пехотинцы, вооруженные винтовками и пулеметами.

Начался сильный огонь. Я осторожно высунулся из воронки. Сквозь кружево кустарника я увидел движущийся вражеский танк, снайперов в камуфляже. Я оглядывал окрестности какое-то мгновение, но успел заметить пехотинца из роты F, ветерана, явно потерявшего голову от страха. Он несся в тыл, не разбирая дороги, и, заламывая руки, вопил: «Танки! Танки!»

Выскочивший навстречу офицер остановил паникера и, развернув на 180 градусов, грубо пнул, отправив обратно на пост. А мы в воронке готовились к обороне, чувствуя себя караванщиками перед нападением индейцев. Вражеские танки прошли мимо — маленькие колеса вращались в гусеницах.

Трещали пулеметы, били базуки, в небе ревели наши самолеты, сбрасывавшие бомбы на вражеские танки.

Однажды над нашей головой пролетел торпедоносец. Он шел так низко, что, по моему мнению, по чистой случайности не задел брюхом кораллы. Справа от нас наступали наши танки. Они двигались вперед, но каждый раз, выплевывая очередной снаряд, казалось, замирали в неподвижности. А потом это кончилось.

Японские танки были уничтожены.

Я вылез из воронки и пошел к аэродрому. В двадцати метрах горел танк. Внутри него оставались мертвые японцы. Вражеские снайперы висели в своих люльках, как куклы, положенные в рождественский чулок. Я сделал еще один шаг и едва не наступил на чью-то руку. Уже открыв рот, чтобы извиниться, я увидел, что эта рука никому не принадлежит. Она не была частью тела, а лежала сама по себе, ладонью вверх, чистая, сильная. Я замер, не в силах отвести от нее взгляд. Руки — это мастеровой души. Это вторая часть человеческого триединства — головы, рук и сердца. В человеке нет ничего более выразительного, более красивого, чем руки. Было невыносимо видеть эту руку, одиноко лежавшую в пыли, словно презрительно отброшенную прочь и переставшую быть частью человеческого тела. Это было олицетворение бессмысленности войны, первобытной дикости нашей собственной техники разрушения. Люди выступали друг против друга, убивали друг друга, раздирали когтями внутренности друг друга, движимые маниакальной яростью гипертрофированной гордости.

Зрелище чрезвычайно расстроило меня, и я отдал последний долг оторванной от человеческого тела руки почтительным наклоном головы. Затем я решил идти дальше, но предварительно следовало оглядеться.

На противоположной стороне аэродрома я увидел другие танки, вокруг которых лежали трупы. Среди них рыскал Сувенир, как всегда вооруженный фонариком и щипцами. Его волнистые усы топорщились в предвкушении богатой добычи. Это был последний грабительский набег Сувенира на рты мертвых врагов. Часом позже он был убит во время наступления на позиции противника. В этой же вылазке погиб лейтенант Коммандо. Да покоятся они с миром.

Наши потери были очень высокими. До конца дня в 1-м полку они составили около 500 человек, то есть примерно 20 процентов. И это только в первый день.

Мы опять наступали. Нашей целью стал Хребет Чертова Носа. Это была высота, хорошо видная с аэродрома. Находясь на ней, противник имел все преимущества. Двигаясь по плоской

поверхности кораллового рифа, на котором не было ни одного углубления или другого естественного укрытия, мы были видны засевшим на высотке японцам так же хорошо, как глиняные утки в тире. Но другого пути не было, и нам предстояло его преодолеть. Пулеметы поливали аэродром дождем пуль. Снаряды минометов обрушивались со спокойной регулярностью автомата. Создавалось впечатление, что японцы подсчитали, при какой плотности огня убьют больше всего наших, и теперь методично и неторопливо делали свое дело, вполне удовлетворенные результатом. Морские пехотинцы падали. Они пригибались и, шатаясь, продвигались вперед. Они падали на колени и снова вставали. Их отбрасывало взрывами, no они поднимались и упрямо стремились вперед. Наступление продолжалось.

День умирал, оглашенный хриплыми криками о помощи. Порожний транспортер из другого подразделения по ошибке попал в наш сектор. Заметив его, лейтенант Рысак запрыгнул на борт и приказал водителю двигаться к линии фронта. Он хотел вывезти раненых.

Но водитель не стремился получить лавры героя и не спешил подчиняться. Он был из другой части, он устал и не видел ни одной причины подчиняться незнакомому офицеру. Он ответил, что не может выполнить приказ. Рысак заявил, что ему все же лучше подчиниться. Тогда водитель отказался открыто.

Рысак достал пистолет, прижал ствол к голове водителя и вежливо попросил поскорее отправить свою задницу туда, куда ему приказали. Водитель тут же позабыл все свои аргументы и направил транспортер в указанном направлении. Рысак получил военно-морской крест за храбрость, проявленную на Гуадалканале. За отвагу на Пелелиу он был награжден еще одним, по, к сожалению, посмертно. Он погиб во время атаки на долговременную огневую точку противника. Да покоится он с миром.

Стемнело, но первый день сражения все еще продолжался. Мы отошли назад, чтобы укрепить захваченные позиции. Вместе с Грязным Фредом мы устроились в глубокой воронке. Я снова попытался заставить себя поесть, но не преуспел в этом. Напряжение было столь сильным, что мой желудок наотрез отверг любую пищу. Воды на дне воронки больше не было, пришлось выползать и отправляться к берегу на поиски. Возможно, нам все же доставили свежую воду взамен испорченной, смешанной с бензином, от которой слишком многим людям было плохо. Я осторожно пробирался через кустарник.

С другой стороны из темноты возник Бегун.

— Цыпленок умер, — сообщил он. — Дурачок сам вытащил иголку, которую санитар воткнул ему в руку, чтобы влить плазму. Ты же знаешь, каким он был. Упрямым, как я не знаю что. — Он покачал головой. — Конечно, может быть, он бы все равно умер. Очень уж серьезно его зацепило. Но он не захотел даже попытаться помочь себе. Вот дурачок. — Бегун внимательно смотрел на меня сквозь темноту. Мне показалось, что в этот день он чем-то отличился и теперь борется с желанием рассказать мне. — Ну, знаешь, сегодня заварушка была действительно крутой, — возбужденно начал он. — Спроси Хохотуна, он не даст соврать, на Гуадалканале, если сравнивать с сегодняшним днем, мы просто хлебали жидкий чай. Бой был суровый. А нам говорили, что здесь будет легко! Ты бы видел, что было, когда на нас пошли танки! Мы остановили их, имея только пулеметы и ручные гранаты! — В голосе Бегуна явственно звучали нотки триумфа.

— А как остальные?

— Нормально. Хохотун и Здоровяк в порядке. Джентльмена ранило, но не очень серьезно — повезло ублюдку. — Выговорившись, он снова посмотрел на меня. — А как ваши парни?

Я рассказал ему о Либерале и остальных, и его лицо потемнело.

— После этого дельца нас останется немного. Между прочим, ты заметил, что здесь собрали только ветеранов?

Я молча кивнул.

Я спросил, нашел ли он воду, но он, вместо ответа, опрокинул свою флягу кверху дном. Мы пошли обратно, думая каждый о своем.

— Ты помнить, — начал Бегун, — ребят, которые дошли еще на Гуадалканале? Мы тогда считали, что все они жалкие слабаки — сдались так скоро. А ведь они счастливее нас с тобой. Им не пришлось пройти через все это дерьмо.

— Может быть, — не стал спорить я, — по они и в Мельбурне не были.

— Тоже верно, но знаешь, сейчас я меньше всего думаю о Мельбурне. Я даже стал молиться, много молиться, хотя никогда не считал себя слишком религиозным человеком.

Я никогда не видел Бегуна таким серьезным. Я вспомнил, как отец Честность крестил его на Павуву. Он тогда был совсем другим. Тогда все было другим. В прошлом остался Гуадалканал, а с ним и языческая наивность первого боя. Насколько было бы проще снова стать язычником и отказаться воспринимать вещи всерьез.

Мы простились на краю воронки. Как мне не хватало моих друзей!

Было совсем темно, и, судя по наполнявшим ночь звукам, сражение возобновилось. Го там, то здесь на позициях слышались винтовочные и пулеметные выстрелы. Неожиданно я понял, что выстрелы и очереди тоже могут звучать по-разному. Сейчас в них слышался гневный протест, словно морпехи негодовали из-за вторжения ночных незваных гостей — так фермеры изгоняют из своих владений браконьеров. Даже темнота отступила — наши стали использовать осветительные ракеты и бомбы. Точно такие же освещали нашу вторую ночь на Гуадалканале. Только тогда они были сброшены над крышей джунглей — зеленой, непроницаемой, мрачной.

Потом над нашей головой понеслись ракеты, издавая зловещее шипение. Не позавидуешь тем, на чью голову они обрушатся. Кто-то из сидящих в воронке высказал предположение, что японцы пробили брешь в наших позициях, а ракеты понадобились, чтобы «заткнуть» образовавшуюся дыру сталью. Я попытался урвать момент и хотя бы немного вздремнуть, лежа в сторонке и прикрыв каской лицо, но это оказалось невозможным. Ночь превратилась в сплошной кошмар бодрствования.

Утро мы встретили с пересохшим ртом, растрескавшимися губами и бурлящим от голода животом. Жара усиливалась очень быстро, раскалила каменистую поверхность острова и сделала воздух горячим, как дыхание дьявола.

— Пошли, — сказал лейтенант Долгий Ящик.

— Да, сэр, — ответил я и сказал Грязному Фреду и Близнецу, чтобы готовились.

Мы вылезли из воронки и направились к просвету в зарослях кустарника слева от нас, через который был виден аэродром. Было раннее утро.

Мы прошли мимо двух морских пехотинцев, крепко спавших в своих окопах. Я наклонился, чтобы их разбудить.

— Эй! — крикнул я и потряс за плечо одного из них. — Просыпайся. Пора. Мы снимаемся с места.

Он не только не ответил, но и вообще никак не отреагировал на мои слова. Тогда я перевернул его. Он был мертв, с такой дыркой в голове невозможно остаться живым. Его товарищ тоже.

Через просвет в кустарнике я видел, что рота F снова атакует. В кустах стоял Артист и наблюдал за развитием событий.

Минометы замолчали. Первая волна морских пехотинцев двигалась вдоль взлетной полосы. Они бежали, рассеявшись и низко пригнувшись, под продольным пулеметным огнем. Они

бежали и падали. Все это не могло происходить в действительности. Зрелище казалось живой картиной, кошмарной, бредовой фантасмагорией, сценой из фильма, который не хотелось смотреть. Требовалось определенное усилие, чтобы заставить себя поверить в то, что перед нами живые, реальные морские пехотинцы, создания из плоти и крови, люди, которых я хорошо знал, чья жизнь была связана с моей. Еще большее усилие было необходимо, чтобы осознать, что моя очередь следующая. В битве настал тот момент, когда возникла острая необходимость в объединяющем лозунге, боевом кличе, призыве. Сейчас над войском должно зареять знамя или зазвучать песня. Противнику необходимо открыто бросить в лицо вызов. Так было в войнах всегда. Так солдат поднимали в атаку, которая или сминала оборону и закапчивалась победой, или захлебывалась и приносила поражение. Насколько менее отталкивающей могла казаться дорога смерти, если я уже был готов вступить на нее, прозвучи что-нибудь вовсе иррациональное, вроде «Да здравствует император!» или «Морская пехота навсегда!». Вместо этого негромкий голос образованного человека как-то буднично произнес: «Ну, теперь наш черед».

Я попрощался с Артистом. Он грустно взглянул на меня из-под каски — его лицо стало еще более темным и угловатым, — потом бросил взгляд в сторону аэродрома, где все еще бежали и падали люди, и с болью в голосе произнес:

— Удачи тебе, парень. — После этого он быстро отвернулся и зашагал прочь.

Я побежал. Жар поднимался удушающими волнами. Пули то свистели мимо, то пролетали неслышно. Я бежал, низко опустив голову, каска исполняла какую-то безумную пляску, периодически сваливаясь на глаза и закрывая обзор. Временами я терял из виду лейтенанта Долгий Ящик и Грязного Фреда, и тогда казалось, что я остался один и пока еще бегу... Слева от меня люди бежали и падали. Я пробежал еще несколько шагов, бросился на землю, восстановил дыхание и снова побежал. Неожиданно на моем пути оказалась воронка, наполненная людьми, в которую я свалился, и только тогда перестал бежать.

Воронка была как оазис в пустыне. Я был уверен, что на территории аэродрома нет ни одного укрытия, и вдруг набрел на такое. Она была намного меньше, чем та, спрятавшаяся в кустах, где я провел ночь, но все-таки ее размеры позволили укрыться десятку людей.

Четверо из них были из 5-го полка морской пехоты, причем среди них был раненый лейтенант, остальные были из моего

батальона, включая командира роты F капитана Дредноута. Они молча потеснились, освободив для меня место, и тут я понял, причем это знание явилось мне, словно удар вражеского снаряда, что я нахожусь не только в единственном укрытии на территории аэродрома, но и на единственном приметном участке аэродрома, который вражеские солдаты видят и могут вести по нему огонь.

Со стороны вражеского «укрепленного района» — блокгауза из цемента и стали и нескольких бараков — по воронке велся ожесточенный пулеметный огонь. Оттуда же летели более тяжелые снаряды.

Насколько я понял, от полного уничтожения нас спасло одно. Японцы, которые вели огонь из орудий, снятых с кораблей, не могли попасть точно в наше укрытие. Они не могли ни опустить, ни поднять ствол, ни навести прицел так, чтобы снаряд приземлился точно в центре нашей группы.

С регулярностью, достойной лучшего применения, и точностью, заставлявшей наши внутренности сжиматься от страха, снаряды падали перед воронкой, за ней, по бокам... Иногда снаряд падал немного ближе, тогда нам приходилось скорчиваться на дне, чтобы не быть задетыми осколками, иногда — немного дальше.

— Этот был что-то очень уж близко, — пробормотал кто-то, после того как нас буквально оглушил грохот разрыва.

— Это точно, — ответил другой голос. — Пока пронесло.

— Заткнитесь! — зло оборвал беседующих капитан Дредноут. — Проверь, — сказал он, обращаясь к парню с уоки-токи, — сможешь ли ты заставить эту штуку работать. Мне необходимо связаться с батальоном.

Уоки-Токи сел передо мной, ссутулился и попросил меня начать вращать определенные диски. Я выполнил все, что он сказал, но это не помогло. Затем раздался свист приближающегося снаряда. Я напрягся, хотя и знал, что не следует бояться того снаряда, который слышен. Но ведь бояться того, который тебя достанет, то есть того, что ты не услышишь, все равно бесполезно.

Послышался другой голос. Раненый лейтенант из 5-го полка — потом выяснилось, что он был не просто ранен, он умирал, — разговаривал по уоки-токи со своим командиром.

— Доблестные морские пехотинцы 5-го полка прорвались, сэр, — слабым голосом докладывал он, — и достигли превосходных результатов. Мы выполнили поставленную задачу и соединились с 1-м полком.

Я внимательно взглянул на лейтенанта. Аккуратный, спортивный, развитый мальчик, наверняка из Вест-Пойнт или

Аннаполиса[13]. Ему было очень больно, и его бесстрастное лицо уже было искажено мучительной гримасой, хотя он и тщательно старался это скрыть.

Снова снаряд, мы пригнулись. Он взорвался совсем рядом, осыпав нас всех грязью и осколками кораллов. Пожалуй, ближе, чем этот, снаряды еще не падали.

— Откуда огонь? — завопил капитан Дредноут. Парни переглянулись и дружно пожали плечами. — Что за черт? — снова возвысил голос капитан. — Пропустите меня туда!

Он подполз к пулемету, установленному на краю воронки, и осторожно приподнял голову. Он внимательно осмотрел «укрепленный район» и Хребет Чертова Носа, расположенный слева от него. Затем он вернулся на дно воронки, извлек карту и сделал на ней пометку карандашом.

— Попробуй еще раз связаться с батальоном! — велел он. На этот раз контакт был установлен. — Здравствуйте, батальон, это рота Фокс. Вражеская артиллерия на 128 Джордж. Нужна огневая поддержка. Конец связи.

Невероятно! Капитан Дредноут имел не больше представления о месте расположения вражеского орудия, чем о форме носа японского командира. Когда он приподнял голову над краем воронки и бросил поспешный взгляд вокруг, он мог видеть только расстрелянный Хребет Чертова Носа. Даже если допустить, что он увидел клуб дыма, а он его не видел, определить его точное местоположение было невозможно, а уж тем более соотнести его с картой. Координаты, которые он сообщил в батальон, были откровенно взяты с потолка. Но тем не менее, он имел основания ожидать результатов огневой поддержки, потому что шанс на то, что он случайно угадал правильную точку, был так же велик, как то, что он вызвал огонь на макушку японского генерала.

Через несколько минут я услышал, что начался обстрел 128 Джордж. Я смотрел на обожженное солнцем, напряженное лицо и думал, почему он не слишком обеспокоен падающими вокруг нашего укрытия снарядами. Когда же он заговорил, я понял, что его глупость была под стать храбрости.

— Сколько здесь людей из 1-го полка? — спросил он.

Мы подняли руки.

— Шесть человек? Что ж, думаю, этого достаточно. Нам лучше занять этот блокгауз. Там засели пулеметчики. Так что, как только артиллеристский огонь прекратился, пойдем.

Вот так. Не больше и не меньше. Блокгауз без ущерба для себя выдержал обстрел с моря. Он устоял под прямыми попаданиями бомб. Совершенно очевидно, что его защищали

множество долговременных огневых сооружений. А мы вшестером вот так пойдем и возьмем его.

Быть может, капитан Дредноут и был ослом, но никто не смог бы упрекнуть его в отсутствии храбрости. Лично мне вовсе не хотелось умирать просто так. Я украдкой взглянул на ребят из 5-го полка. Они смотрели на нас с откровенным изумлением, а я им отчаянно завидовал, поскольку все они сохранили дипломатические отношения со здравым рассудком. Их командир был уже одной ногой на том свете, но пока еще все слышал. Он помахал нам рукой и слабо улыбнулся, словно хотел сказать: «Конечно, у вас ничего не получится, но в том, чтобы попробовать, большого вреда нет». Ну, разумеется, для умирающего человека вреда уж точно не было никакого.

Несколько минут было тихо. Вражеский огонь прекратился, как будто для того, чтобы укрепить веру капитана Дредноута в свое могущество.

Мы выползли из воронки и пристроились за танком, двигавшимся в направлении блокгауза. Но теперь танк стал объектом обстрела, и вокруг нас снова стали падать снаряды. Воздух гудел от невидимых смертоносных осколков. Было неразумно оставаться вблизи этого лязгающего бегемота. Но в этот самый момент командир танка, видимо, решил, что совершенно неразумно оставаться такой привлекательной мишенью, и отвел свою механическую громадину в сторону правого фланга.

Снаряды снова загнали нас в воронку. А у Уоки-Токи возникли очередные непреодолимые трудности с аппаратурой. Теперь он мог принимать, но не мог передавать. Из батальона постоянно запрашивали координаты.

— Тебе следует вернуться на КП и доложить, — сказал капитал Дредноут, обращаясь ко мне. — Только возвращайся побыстрее.

Я вылез из воронки и бросился к кустарнику. Когда я добрался до КП, артиллерийский огонь усилился. Яростный обстрел продолжался около минуты, потом прекратился. Я обнаружил Кусок Майора, сидящего в обнимку со своим ранцем. На его круглом лице застыло выражение отвращения. В метре от него сидел парень, работавший с уоки-токи, и Красноречивый, унаследовавший мою должность батальонного писаря. Я сообщил наши координаты и сел, чтобы слегка передохнуть и покурить.

— Как там, Счастливчик? — спросил майор.

— Плохо, сэр. — Больше мне нечего было добавить, поскольку мое представление о сражении пока еще было безумным смешением людей, движений и взрывов, в которое

каким-то образом оказался замешан еще и пышущий жаром аэродром. Несколько минут я молча курил, наслаждаясь кружевной тенью кустарника, потом встал и сказал: — Мне лучше вернуться обратно.

— Удачи тебе, — кивнул майор и отвернулся.

Я двинулся обратно, держась правого фланга, потому что артиллерия заговорила снова. По пути я заметил японскую винтовку, штыком воткнутую в землю. Странно. Я приблизился, чтобы осмотреть находку. Возможно, это ловушка. Я подошел довольно близко, но не успел удовлетворить свое любопытство, потому что услышал характерный звук, и мимо просвистела пуля.

Еще одна! На этот раз пуля выбила столбик пыли у меня под ногами. Убирайся отсюда, идиот, посоветовал я себе. Ясно же, что это снайперская ловушка. Он целится по винтовке. А наглый, однако же, мерзавец, забрался почти что на наш КП.

Я подошел к складу боеприпасов, устроенному на краю летного поля. Двое санитаров несли на носилках раненого. Пуля попала парню в плечо, и кровь толчками вытекала из рваной раны. Он был в приподнятом настроении, смеялся и вызывающе смотрел на санитаров, словно хотел сказать: «Я уже получил свое, а вот как вы выпутаетесь из этого дерьма?»

Я перехватил поудобнее автомат, поправил планшет и осторожно обошел груду снарядных гильз, чтобы вернуться к воронке. Это был мой последний воинственный шаг. Последний раз я обратил лицо к противнику.

В ста метрах передо мной взорвался снаряд.

Я уклонился вправо.

Еще один взрыв прямо передо мной.

Я уклонился еще правее.

Еще один взрыв. И еще один, но гораздо ближе. Еще четыре. И один уже совсем рядом. Я остановился. Очевидным был ужасный факт. Я сдуру влез между позицией вражеской артиллерии и ее целью. Возможно, ее целью был склад боеприпасов, который я только что миновал, во всяком случае, огонь велся именно в том направлении.

Спрятаться было негде. Идти вперед — значит, наверняка погибнуть. Единственным выходом было бежать без оглядки, в надежде успеть выбраться из-под обстрела раньше, чем снаряд или осколок угодит в меня.

Я повернулся и побежал.

Я бежал, и жар волнами поднимался от раскаленных кораллов, пот струился по телу, «смазывая» суставы, а страх мгновенно высушил рот. Снаряды догоняли меня, они взрывались у меня за спиной, и воздух наполнялся злыми голосами

шрапнели, требовавшими мою жизнь. Я бежал, думая о японском артиллеристе, притаившемся на хребте, который тщательно целился в меня, и каждый выпущенный им снаряд падал все ближе и ближе ко мне, стараясь настичь жертву в этой смертельной игре в кошки-мышки.

Снаряд упал в полутора метрах от меня, но не взорвался, по крайней мере, я так думаю. В такие минуты ни в чем нельзя быть уверенным. Когда ты охвачен диким, первобытным страхом, время и пространство становятся иными. Но снаряд все-таки был — полуметровый, раскаленный докрасна шар ударился о коралловую поверхность, отскочил и улетел.

Я собрал остатки сил, и как раз в этот момент японский артиллерист поразил свою мишень. Он накрыл склад боеприпасов.

На этом война для меня закончилась. Я был уничтожен. От меня осталась только сухая оболочка.

Война сделала свое дело. В мгновение ока некая гигантская соковыжималка выжала меня досуха. Контузия, перегрев, жажда, нервное напряжение — все сделало свое дело. Кажется, я некоторое время шел, не в силах произнести ни слова, потом упал на колени возле воронки, в которой сидели двое. Они явно не пришли в восторг от моего вида. Их голоса доносились до меня словно издалека и как сквозь вату.

— Он не может говорить. Как ты думаешь, что с ним?

— Черт его знает. Не похоже, чтобы он был ранен. Может быть, контузия? Эй, парень, что с тобой? Скажи что-нибудь!

(Бесполезно. Нечто подобное со мной было однажды в далеком детстве. Но тогда причиной стал сильный удар мяча, который, в полном смысле, вышиб из меня дух.)

— Как ты думаешь, что с ним делать?

— Понятия не имею. Видишь, у него автомат.

— Ага. Тут сегодня было горячо. Интересно, откуда здесь взялись японцы? Я думал, берег уже наш.

— Они лазят под землей. Прорыли себе ходы. Слушай, а хорошо бы нам тоже раздобыть автоматы. Винтовка — это не так удобно. Ты только глянь на этого бедолагу! Наверное, его надо отвести в лазарет.

— Я тоже так думаю. Парень выглядит чертовски плохо.

Они встали, взяли меня под руки и поволокли, как манекен, по песку. Я был похож на ходячую куклу, в которой сломался самый главный механизм. Меня тащили к доктору.

Санитар положил меня на одеяло и прикрепил бирку. Затем он воткнул мне в руку иглу, от которой шла трубка к подвешенной на стойке бутылке с жидкостью. Парни, которые

приволокли меня, присели на корточки рядом.

— Что с ним, док?

— Не знаю, — ответил санитар. — Судя по всему, тяжелая контузия. Я отправлю его на госпитальное судно.

Один из парней с тоской посмотрел на мой автомат. Его взгляд был красноречивее любых слов. Он, казалось, говорил: тебе все равно больше не понадобится эта штуковина, а нам она бы очень пригодилась. Я взглядом показал, что он может взять автомат. Он тут же повесил его на плечо и выглядел при этом чрезвычайно довольным. Потом парни ушли. Они сделали дело и получили награду.

Кроме меня здесь было еще около полудюжины пострадавших. Мы лежали на песке, и я лениво размышлял, сумел бы японский артиллерист все-таки попасть в меня, если бы раньше не попал в склад боеприпасов. В конце концов за нами подошел катер и с ревом повез к госпитальному судну, стоявшему на рейде.

А я почувствовал стыд. Другие были тяжело ранены, им было больно, некоторым даже кололи морфий. И тут же в уголочке лежал я — весь целый, без единой царапины. Война закончилась унижением. Мне было стыдно.

Душа покинула меня. Она хотела спрятаться от требовательных глаз, которые встретили нас, когда катер поднимали на борт. Люди в белых халатах стояли у поручней и со всем вниманием старались определить, кому следует оказывать помощь в первую очередь. Я вздрогнул от оценивающего взгляда, когда совершенно неожиданно доктор, стоявший в центре, показал на меня и проговорил:

— Вот этого давайте немедленно вниз.

Меня подхватили, раздели донага и понесли вниз по трапу, внесли в какую-то комнату, положили на стол и снова воткнули в руку иглу. В мое иссушенное тело потекла жидкость, а с ней и тепло возвращающегося самоуважения. Стыд исчез в тот самый момент, когда указующий перст выбрал меня. Я действительно был ранен. И мне была необходима срочная помощь. Сам о том не подозревая, доктор вернул мне душу.

Итак, война для меня закончилась.

Из операционной меня перенесли на койку, и через три дня ко мне вернулась речь и способность ходить.

Каждый день в течение недели я поднимался по трапу на палубу и подолгу смотрел на Пелелиу, который находился примерно в миле от судна. Там продолжались бои. До нас доносился грохот взрывов. Хребет Чертова Носа возвышался, как гора над изрытой оспинами лунной поверхностью.

Каждый день приходили новости, но они были безрадостными. Да, мы побеждали, но какой ценой?

Резерфорда убили. Я узнал это от его товарища, тощего коротышки, который приходил ко мне вместе с ним за пистолетом. Этот товарищ тоже получил ранение — в руку. Он рассказал мне, что снаряд попал прямо в Резерфорда и разорвал его на куски.

Резерфорд тогда сказал: «Увидимся дома». Но теперь мне предстояло отправиться домой одному. Да покоится он с миром.

И Белый Человек был убит. Он погиб в первую же ночь во время чудовищного обстрела. Он, быть может, и был фанатиком, но умер, глядя в лицо врагу. Да покоится он с миром.

И Артист тоже. Он был убит трусливой рукой. Возвращаясь в одиночестве с ночного патрулирования, он перепрыгнул через колючую проволоку, огораживающую КП, и был застрелен ординарцем майора, жалким трусом, которому даже не хватило храбрости до выстрела спросить пароль. И теперь Артист, храбрый человек, мертв. Да покоится он с миром.

Трое из нашей группы, кому мы не спели мрачную серенаду смерти на Павуву — Либерал, Белый Человек и Артист, — теперь были мертвы.

Это была настоящая бойня. Потери в других батальонах тоже были очень большими. Капитан Дредноут был убит пулей снайпера (сопротивление блокгауза в конце концов было сломлено прямым обстрелом линкора «Миссисипи»), от его роты остались жалкие остатки. В сражениях принимали участие и другие парни, о которых я не упомянул в этой книге, — к слову не пришлось. Но это были тоже мои друзья, чьи лица я не забыл и чья отвага и самопожертвование внесли немалый духовный вклад в развитие нашей нации. Они погибали, сражаясь на этом затерянном в океане коралловом атолле, который противник никак не желал выпускать из своих цепких рук. Да покоятся они с миром.

Корабли уходили от острова. Сражение было выиграно. Японцы на Пелелиу были уничтожены. А ведь их там было десять тысяч. Мой полк — 1-й полк морской пехоты — «зализывал раны» на берегу. От моего батальона — 1500 человек — осталось всего лишь двадцать восемь бойцов, способных держать в руках оружие, когда поступил приказ начать последнее наступление на изрезанном бесчисленными ячейками пещер и фортификационных сооружений Хребте Чертова Носа. Иначе говоря, за крошечный осколок коралла, именуемый островом Пелелиу, было заплачено очень высокой ценой. Когда поступил приказ, двадцать восемь человек встали из своих окопов, словно

тени из гробниц, и пошли в атаку. Причем именно пошли — бежать они уже не могли — и волочили за собой оружие. Но они были морскими пехотинцами, они подчинились приказу и атаковали. Их вывезли с передовой в полубессознательном состоянии.

Корабли уходили от острова. Тяжелораненых должны были переправить с нашего госпитального судна на прекрасно оборудованный плавучий госпиталь, который отправится прямо в Штаты Среди тех, кому была суждена именно такая судьба, был Солдат, которого я обнаружил на третьем или четвертом уровне под палубами. Он лежал на своей койке, очень страдая от страшных ран. Было душно. Я набрал в каску воды, чтобы смочить ему лицо, а потом привел к несчастному доктора. Тот сделал укол, облегчивший боль, и приказал сделать перевязку. Мне было очень грустно расставаться с Солдатом, но я воспрянул духом, увидев, что среди легко раненных, переведенных на наше судно, присутствует Бегун.

У Бегуна в руке все еще оставалась японская пуля, чем он чрезвычайно гордился. Увидев меня, он первым делом снял бинт и продемонстрировал мне рапу.

— Это обеспечит мне много бесплатной выпивки дома в Буффало, — хихикнул он.

Его хорошее настроение успокаивало, казалось гарантией того, что остальные наши тоже в порядке. Но я, конечно, задал вопрос:

— Ты знаешь, что с Хохотуном и Здоровяком? Как у них дела?

— Думаю, что нормально. Хотя Хохотуна довольно сильно зацепило. Здоровяка тоже ранило, но легко. Он продержался до шестого дня. А меня и Хохотуна ранило на четвертый.

— Вместе?

— Не совсем, но почти. Я расскажу. — Его физиономия сразу стала грустной, а в темных глазах зажегся огонек сострадания. — Помнишь того парня из Техаса, прибывшего на замену? Такой приятный, воспитанный паренек. Ты, наверное, не знаешь, но, оказывается, он уже потерял на войне двух братьев. И он очень боялся смерти, то есть не сам боялся умереть, а считал, что его мать не переживет гибель последнего сына. Так вот, на четвертый день нас начали обстреливать из тяжелых минометов. И этот бедняга угодил под первый же снаряд. — Бегун взглянул на меня с тоской. — Честное слово, Счастливчик, я никогда не забуду этот кошмар. Санитар сразу вколол ему морфий, но это не помогло. «Я умираю, — все время повторял он, — я умираю». Хохотун старался успокоить его, говорил, что его просто ранило, сейчас

санитар отправит его в госпиталь, где его обязательно вылечат, но тот продолжал твердить: «Я ухожу, я это чувствую». И умер. — Бегун тяжело вздохнул и после длительной паузы продолжил рассказ: — Потом минометный обстрел возобновился, и сразу ранило Хохотуна, вырвало изрядный кусок мяса из верхней части бедра. — Бегун невесело засмеялся. — Это было довольно забавно. Ты, конечно, понимаешь, о чем Хохотун подумал прежде всего? Он так перепугался, словно потерял фамильные драгоценности. «С ними все в порядке? — спрашивал он санитара. — Скажи мне правду, с ними все в порядке?» А санитар только усмехался и заверял его, что его мужское достоинство не пострадало, причем ему ничего даже не угрожало — рана была довольно далеко. Тогда Хохотун успокоился и даже заулыбался. Он явно чувствовал огромное облегчение, словно всего лишь порезал палец. Клянусь, если бы, не дай бог, случилось то, чего он так опасался, он наверняка потребовал бы, чтобы санитар его пристрелил.

Судовые двигатели завибрировали, и послышалось негромкое гудение. Мы уходили от острова. Бегун и я вместе со всеми навалились на поручни, чтобы в последний раз взглянуть на проклятый остров. Здесь же я увидел приятеля Резерфорда с перевязанной рукой. Мы молча смотрели на удаляющийся Пелелиу, расстрелянный и покрытый копотью. На Хребте Чертова Носа виднелось несколько уцелевших кустов, протягивающих свои голые ветви к небу, словно моля о прощении.

Мы направлялись на остров Мапус в военно-морской госпиталь. Там нам предстояло встретить Здоровяка и несчастного Гладколицего — его прекрасная белая кожа пожелтела и, словно пергамент, обтянула маленькое личико. У него было ранение почки. Он все время икал, что, несомненно, усиливало боль, по, тем не менее, увидев нас, радостно заулыбался. Здесь же были Эймиш и Пень, в общем, очень скоро Мапус стал местом воссоединения старой гвардии.

То же самое, только в более крупном масштабе, ожидало нас в Сан-Диего, когда мы, наконец, стали готовиться к отправке домой. Там был даже Хохотун, тяжело опиравшийся на костыль, но от этого не ставший менее смешливым. Мы снова могли стать веселыми и беззаботными, какими были в самом начале — в Нью-Ривер. Тяжелое испытание, к которому мы готовились, осталось позади, а впереди нас ждал родной дом.

Но пока мы еще не сводили глаз с Пелелиу — еще немного, и он скроется за горизонтом. Скалистый остров быстро уменьшался в размерах, пока не превратился в крошечную точку. А потом и она исчезла. Судно набирало скорость.

— Неужели это все, парни? — спросил Бегун, когда мы вышли в открытое море.

Эпилог

Я был в госпитале, когда мир оказался под тенью ядерного гриба.

Я лежал в госпитале уже в десятый раз с тех пор, как стал морским пехотинцем. Мои товарищи и я на себе почувствовали последствия того, что нацистская свастика захватила японское восходящее солнце в свои мерзкие паучьи объятия. Весь мир, как некий единый организм, в течение шести долгих лет подвергался мучительной пытке, и теперь на него опустилась зловещая тень гриба.

Все лежавшие в нашей палате военного госпиталя в Мартинсбурге, Западная Вирджиния, затаили дыхание, когда безликий голос радиодиктора произнес: «Впервые в истории человечества Америка сбросила атомную бомбу. Важный японский город — Хиросима полностью уничтожен».

Гигантское облако поднялось над Хиросимой и над всем миром — уродливая грибовидная зараза, символ нашего века и нашего греха. Рост, величина, скорость. Расти быстро, как раковая опухоль, расширь фабрику, увеличивай город, раздувай наши животы, лети на Луну, взорви бомбу, разрушь надежды людей, взорви мир.

Итак, это началось, и я содрогнулся, лежа на своей койке. Я, подобострастно склонившийся перед способным разнести тело человека на клочки взрывом двухсоткилограммовой бомбы, услышал теперь новое непонятное слово — мегатонна. Кто-то совершил грех против жизни, я это чувствовал всем своим существом.

А потом я тоже согрешил. Неожиданно, тайно, скрыто — я обрадовался. Поскольку я находился в госпитале, у меня почти не было перспектив вернуться обратно на Тихий океан. Теперь же, я это твердо знал, японцам придется сложить оружие. Война закончилась. Я выжил. И возрадовался этому, как человек, держащий в руках автомат для защиты от невооруженного мальчишки. Я выжил.

Через несколько дней война действительно закончилась, и в Мартинсбурге было устроено грандиозное празднование. Горожане дважды прошли по площади, после чего разошлись по домам. Изящный китаец, заметив мою зеленую форму среди хаки, мои лепты и нашивки, очевидно, сделал из этого вывод, что я воевал с японцами. Он подошел ко мне, когда я стоял возле пивного бара, сказал только одно слово: «Спасибо» — и с достоинством удалился. Это была победа, это был праздник —

под знаком гриба. Я вернулся в госпиталь совершенно трезвый. Через несколько недель я стал гражданским человеком.

* * *

Состоятельная женщина спросила меня:

— Что вы в результате всего этого получили? За что вы боролись?

Я хотел ответить, что за ее привилегию покупать на черном рынке мясо, но передумал. Дерзость только разозлит ее и оскорбит память моих товарищей. Я бы мог ответить, что хотел помочь сохранить статус-кво и защитить то, что я имею, но тоже этого не сделал. Такой ответ еще более укрепил бы ее материалистические позиции, а это в общем-то неправильно. Я не мог сказать ей правду, что боролся за уничтожение нацистского чудовища, за обуздание империалистической Японии, потому что такого она просто не поймет. И тем не менее, мы сделали именно это, сделали, не говоря высоких слов, как обычную, будничную работу.

Но я тогда не мог ответить на первый вопрос, поскольку понятия не имел, что я получил, и более того, что рассчитывал получить.

Сейчас я знаю. Для себя я получил память и силу, позволяющую не насовать перед испытаниями, для моего сына — бесценное наследство, для страны — пожертвование.

Последнее стоит дорого. Именно жертва — страдание тех, кто жил, и вечный покой тех, кто погиб, должны теперь быть положены на чаши весов Высшего Судьи. Эти весы склонились не в нашу сторону, когда над миром поднялся ядерный гриб. Люди идут на войну, чтобы жертвовать. Они идут вовсе не убивать — как многие ошибочно думают. Они идут, чтобы быть убитыми, чтобы рискнуть своей плотью, оказавшись на пути разрушения.

Самопожертвование — вот ответ на извечный спор о войне и мире. Мы располагаем мнением философов и теологов о том, что человек может сражаться только в справедливой войне. Еще у нас есть древняя церковная мудрость, указывающая на то, что не в силах человеческих установить истинность своего дела. Человек обязан, если верит в правоту своего предводителя, безоговорочно подчиняться ему и помогать с оружием в руках.

Но есть люди, говорящие: «Это безволие. Я не могу убивать, опираясь на казуистику. Я должен точно знать, что мое дело правое. Я буду всегда сражаться, чтобы защитить мою страну против вторжения противника, чтобы подавить агрессию или

сбросить тирана. Но я должен знать, что это действительно так, и, применяя к моему случаю ваше собственное утверждение о невозможности знать точно, я могу заявить, причем моя логика столь же убедительна, как и ваша: я не хочу проливать кровь своих братьев, поэтому я не пойду».

Но что такое самопожертвование? «Не кровь твоего брата, моего друга — твоя кровь».

Поэтому женщины рыдают, провожая своих мужчин на войну. Они не плачут об их жертвах, они плачут о них как о жертвах. Вот почему с древности прозорливое человечество придумало веселые песни и громогласные оркестры, которые играют на проводах, чтобы укрепить их сжимающиеся от страха сердца, а вовсе не чтобы усилить в них жажду крови. Вот почему нет славной жизни, а существует только славная смерть. Герои становятся изменниками, воины стареют и становятся мягкими и сентиментальными, и только жертва остается неизменной. Самопожертвование вечно.

Той Жертве, символ которой реет над миром два тысячелетия и рядом с которой в наше время встают другие, я возношу молитву и свое искреннее раскаяние. Я, всегда бывший довольно-таки непочтительным и совершенно не религиозным человеком, сегодня молюсь во имя живых — Хохотуна, Здоровяка и Бегуна, от имени Гладколицего, Джентльмена, Эймиша и Пня, Плюща и Большого Кино, а также всех тех, кто подвергался суровым испытаниям в джунглях и на морских берегах от Аицио до Нормандии. Я молюсь во имя павших — Техасца, Резерфорда, Цыпленка, Громкого Рта, об Артисте и Белом Человеке, Сувенире и Рысаке, Дредноуте и Коммандо — о них и о многих других. Великий Боже, прости нам то ужасное облако.

notes

Примечания

1

Ганни — уменьшительное от gunner (оружие), master gunner sergeant — одно из высших сержантских званий в морской пехоте США. Старше его — sergeant major, главный сержант.

2

Вест-Пойнт — место расположения училища сухопутных войск — Военной академии США, — гордящегося своими традициями и уровнем подготовки.

3

От «лиги плюща» (по изображению плюща на эмблеме) — объединение лучших университетов Новой Англии.

НВСО — находящийся в самовольной отлучке.

5

«Крекер» — прозвище белой бедноты.

6

Чарли — американское прозвище представителей желтой расы.

7

Цинциннати — город в штате Огайо.

8

Голландцы-протестанты *эймиши* — немногочисленная религиозно-этническая общность. Общины эймишей в США весьма замкнуты и не пользуются техническими благами современной цивилизации.

9

Сто пятьдесят с небольшим сантиметров.

10

Second lieutenant — второй из трех лейтенантских чинов в Вооруженных силах США.

11

MP — Military Police — военная полиция *(англ.)*.

12

Диверсант-десантник.

13

Место расположения военно-морского училища — Морской академии США.